



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

ПОДЪЁМ

Директор-главный редактор
государственного
учреждения культуры
«Журнал «Подъём»
Иван ЩЁЛОКОВ

ОСНОВАН
В ЯНВАРЕ 1931 ГОДА

Редколлегия:

АКАТКИН В.М.
АРШАНСКИЙ В.С.
БОНДАРЕВ Ю.В.
ГОЛУБЕВ А.А.
ГОНЧАРОВ Ю.Д.
ГУСЕВ В.И.
ЖИХАРЕВ В.И.
ИВАНОВ Г.В.
ИСАЕВ Е.А.
ЛЮТЫЙ В.Д.
МОЛЧАНОВ В.Е.
НЕСТРУГИН А.Г.
НИКИТИН В.Н.
НИКУЛИН С.Н.
НОВИЧИХИН Е.Г.
ОБРАЗЦОВ И.Д.
ПОПОВ Г.А.
САТАРОВА Л.Г.
СЫЧЁВА Л.А.
ТИХОНОВ В.А.

Воронеж ■ 2011

4

**ПРИМЕТЫ
ВРЕМЕНИ**

Иван АЛЕЙНИК, глава администрации
Россошанского муниципального района
Воронежской области. **У души не бывает границ** 5

ПРОЗА

Леонид ЮЖАНИНОВ. **Белая дорога**. Повесть 25
 Виктор БЕЛИКОВ. **И в лихолетье светило солнце**.
 Рассказы о детстве 63
 Виктор БУДАКОВ. **Волны**. Рассказы 91
 Михаил ШЕВЧЕНКО. **Попутчицы**. Рассказ 123
 Евгений КАРПОВ. **Хутор Эсауловка**. Рассказ 127
 Галина ПЕТРИЕВА. **Домовой. Баенник**. Бывальщина ... 133

ПОЭЗИЯ

Алексей ПРАСОЛОВ. **Мир в ощущении расколот** . 14
 Алексей ШАПОВАЛОВ. **Видно, много разлук впереди** . 21
 Светлана ЛЯШОВА–ДОЛИНСКАЯ. **И только чувства
 поднебесны** 54
 Василий КРИВОШЕЯ. **К горизонту уходит дорога** 60
 Виктор БАРАБЫШКИН. **Мы сгорели горе,
 мы сдюжили беды** 82
 Наталия ШМИТЬКО. **И в сердцах прорастают слова** . 88
 Василий ЖИЛЯЕВ. **Чтобы светом наполнилась память** ... 112
 Артур КТЕЯНЦ. **Смотри на мир, не опуская глаз** .. 118
 Марина ВЕНДЕЛОВСКАЯ. **Тишина звенит...** 121
 Рита ОДИНОКОВА. **Чтоб не спугнуть надежду у окна** 138
 Татьяна ВОРОБЬЕВА. **Со мною было всё это однажды** .. 143
 Светлана РЕДЬКО. **Я расправила крылья...** 155
 Раиса ДЕРИКОТ. **У самого края судьбы** 160

**КУЛЬТУРА
И ИСКУССТВО**

Иван КВЕТКИН. **Красота простых вещей** 147
 Виктория ДОНГАРОВА. **Где живут тайны.
 Хрупкий и прозрачный воздух**.
 (Живопись Бориса Литвинова и Надежды Радевской) .. 150

**МЕЖДУ ПРОШЛЫМ
И БУДУЩИМ**

Татьяна МАЛЮТИНА. **Родина негромкая моя**..... 165

ПАМЯТЬ

Петр ЧАЛЫЙ. **Братья и сестры** 188
 Михаил ТИМОШЕЧКИН. **Фронтовые будни
 разведчика Крымова** 195

**ДАЛЕКОЕ-
БЛИЗКОЕ**

Алим МОРОЗОВ. **Возвращение на Дон.
 Князь Игорь, легендарная Каяла и половцы** 204
 Иван ХАРИЧЕВ. **Крестьянская археология** 218

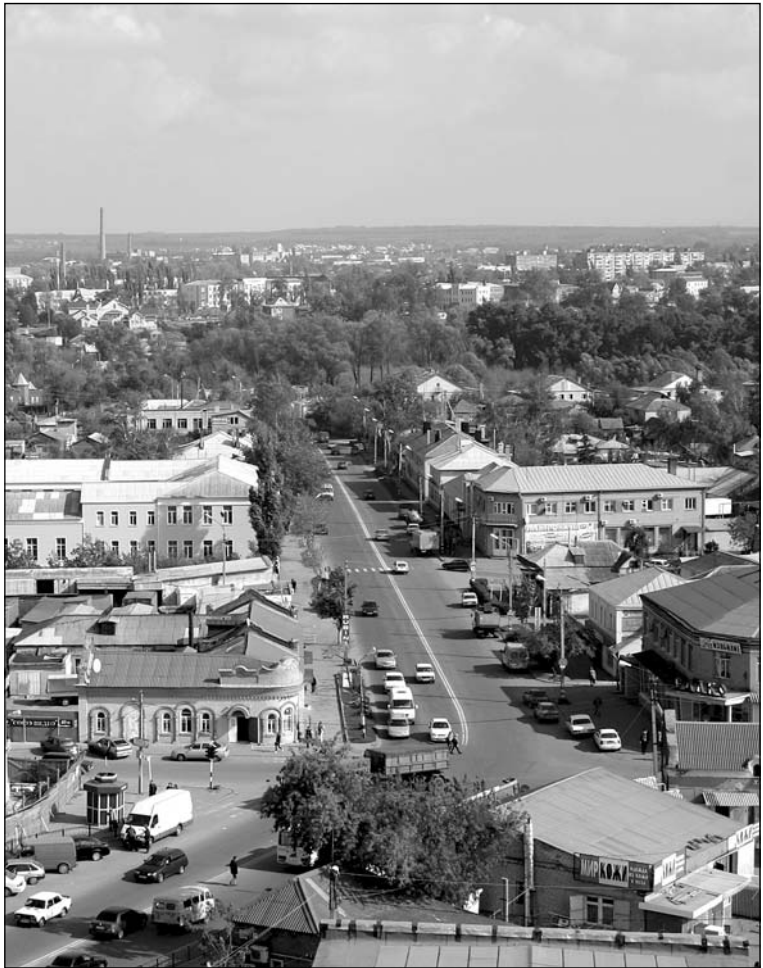
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Петр ДМИТРИЕВ. **Переяславская Рада в Харькове** .. 221

Золотой цветок подсолнуха



В лазоревом поле сверху — золотой, с черными семенами, цветок подсолнуха между двумя золотыми же головками колосьев; внизу — серебряное выгнутое опрокинутое и вписанное стропило, сопровождаемое между плечами тремя безантами того же металла — один и два; поле ниже стропила зеленое.



Пролетарская — главная улица Россоши.
Фото Ю. Паснова



Иван Алейник,
*глава администрации
Россошанского
муниципального района
Воронежской области*

У ДУШИ НЕ БЫВАЕТ ГРАНИЦ

Так уж случилось, что с юности люблю дорогу. Просто по роду деятельности мне без нее никак нельзя. Не один десяток лет проработал в Кантемировке, теперь вот судьба связала с Россошью. Бывает, в неделю несколько раз приходится ездить по делам в Воронеж и обратно. Дорога дальняя, и лучше нее ничто не располагает к раздумьям. И сколько бы ни колесил по виденным-перевиденным равнинам, посреди этой необъятной придонской вольницы, где от края и до края степь да небо и чистый воздух, но так и не надоедает, не утомляет, будто питает душу какими-то потайными силами. И не нахожу для себя ответа: за что же мне мила эта земля, каким чудодейственным зельем напоила, что не отпускает, волнует и радует? А может, все потому, что тут — моя родина, мои корни, дорогая сердцу Слобожанщина, на чьих просторах тесно переплелись славянские судьбы и моих предков, и предки моих знакомых и друзей? Это в административных хлопотах люди для удобства проводят межи и границы — между селами и городами, районами и областями, республиками и государствами. А у человеческой души границ не бывает. Она одинаково поет и плачет, негодует и радуется, ненавидит и любит. И так — от сердца к сердцу, от поколения к поколению. Из века в век... А это — уже традиция, уклад, духовная, нравственная и культурная опора. И не важно, кто ты по паспорту: русский или украинец. Важней — кто по духу, по ощущениям, по принадлежности к этим традициям и культуре, где давно все перемешалось в истории, в людской крови и памяти, в обычаях и привычках.

Не буду далеко ходить за примерами, обращусь к опыту семьи. Мою национальную принадлежность выдает фамилия. Алейник — Олейник — Олийнык. Олией украинцы называют растительное подсолнечное масло. Добывает его маслобойщик, олийнык. Все вроде просто. Не скажите.

Отец, действительно, воронежский украинец, а мама русская. Кто я? В свидетельстве о рождении записали: украинец.

У жены еще интересней. Батя из нашего села, украинец. Мама белоруска, из Гомельской области.

Молодыми наши отцы уезжали в Донбасс, рубили уголь на шахтах. Там женились. Чуть позже вернулись домой, работали в колхозе.

Сейчас наша родня на Украине, в Белоруссии. И все мы теперь оказались друг другу иностранцы.

Кем по национальности должны считать себя наши дети, внуки? На этот вопрос давным-давно так ответил составитель самого знаменитого русского «Толкового словаря», уроженец Луганска, Владимир Иванович Даль: «Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают человека принадлежностью той или другой народности. Дух, душа человека — вот где надо искать принадлежность его к тому или другому народу. Чем же можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа — мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит».

Впрочем, смешанные семьи появлялись и в самом селе. В нашей Копанной украинское население, а за горой — Татарино. Татар там нет, русское село, где тоже находили невест и женихов.

В школе, в институте иногда с юморком подшучивали: «Ты хохол!» — «А ты москаль». Хотя потри русского, обнаружишь в нем украинские родовые корни. И, наоборот, у украинца найдешь русских родичей.

Помню, как-то на эту тему говорил с ветераном войны, фронтовиком. Он вспоминал, с кем воевал плечом к плечу. В его подразделении были русские, украинцы, белорусы, казахи, узбеки. Потом вдруг бросил считать и заявил: «Знаешь, тогда для нас существовали две нации — наши и не наши. Наши — это все мы. Не наши — фашисты, гитлеровцы».

Тоже важный факт: как в тяжелейшую годину отцы разрешали национальный вопрос.

Для нас он нынче вновь оказался значимым. Живем ведь в русско-украинском пограничье. Заселялось оно в очередной раз лет триста пятьдесят назад. В 1652-м году, за два года до исторической Переяславской Рады, наши деды-працурь, днепровские козаки, вырвались из кровавой шляхетской неволи. Они ушли «под руку Московского государя Алексея Михайловича», отца Петра Первого. Воссоединившись с русскими людьми, в донской степи на берегу речки Тихая Сосна построили и обжили крепость Острогожск. Здесь первый по времени создания Острогожский слободской казачий полк встал на охрану южных рубежей государства от набегов кочевых народов.

А восьмого января 1654 года гетман Малороссии — Украины Богдан Хмельницкий выслушал мнение народа о возвращении к России после многовекового отторжения из-за золотоордынского ига, литовской и польской оккупации. От имени собравшихся на главной площади Переяславля гетман провозгласил: «Что семи веки вси едино были».

В те же годы вслед за Острогожским вдоль тогдашней границы на запад встанут новые полки — Изюмский, Харьковский, Ахтырский, Сумской.

Козаки свои поселения называли не селом, не деревней — слободами. Московский царь за пограничную и военную службу освободил их от налоговых повинностей. В слове «слобода», наверное, радостью и надеждой на достойную человека жизнь звучала мечта каждого о вольной доле — о

свободе. На исконно славянских землях между Доном и Днестром родилась Слободская Украина, воронежская слобожанщина.

Шло время. С расширением России полки упразднили. Козаки стали крестьянами. Но и сейчас, в двадцать первом веке, в воронежских селах сохраняются украинский говор, песни, в чем-то даже семейный уклад, быт. Что дорого стоит.

В 1976 году после окончания Воронежского сельскохозяйственного института меня направили на работу почти домой — в Кантемировский район. Тут на меже сходятся поля России и Украины. Я совхозный инженер. Мои новые друзья — местные, но выпускники Луганского вуза. Дорога в Луганск чуть ли не втрое короче, чем в наш областной Воронеж. Удобнее было ездить на учебу. Меня избрали председателем колхоза имени Шевченко, и само село носит имя Великого Кобзаря. С 1990 года доверяли быть первым секретарем райкома партии, председателем райисполкома, главой Кантемировского района.

В эту пору стокилометровая лесополоса на стыке Воронежской и Луганской областей разделила братские славянские народы.

Из Беловежской пущи нас известили о создании новых независимых государств, хотя ведь на мартовском референдуме того же 1991 года народы высказались за сохранение единого, обновленного государства — Союза.

Кто радовался, кто ничего не понимал в случившемся. Мы тоже не знали, как жить на границе, которой тут никогда не было. Появилась межправительственная комиссия, в нее включили и нас, как представителей местной власти. Первое время на заседаниях все улыбались. Мол, поговорим-поговорим, и останется все, как было. В голове не укладывалось, что мы — на настоящей границе. Не могло такое случиться.

Случилось.

Небольшой завод на нашей железнодорожной станции Митрофановка выпускал оборудование для животноводческих ферм чуть ли не всего Советского Союза. Сюда прекратили поставку металла из Запорожья. На Журавский охровый завод из Донбасса не стали отгружать лаки для изготовления красок. Заявки на покупку уже готовой продукции с Украины не поступали. По обе стороны лесопосадки между колхозами-совхозами усложнился привычный обмен сельскохозяйственной техникой, запасными частями к ней, семенами зерновых и технических культур, строительными материалами.

Так нас — разводили.

В комиссиях разговоры о границе зазвучали серьезнее. Что предлагали мы, руководители соседних районов Воронежской и Луганской областей? Связывают нас две асфальтовые трассы. «Между селами Бугаевка и Просяное, Новобелая и Новобилая создаем два единых пункта пропуска автомобильного, автобусного транспорта. Языковых проблем нет. Совместно российские и украинские таможенники, пограничники быстро оформляют проезд граждан». Политические лидеры не услышали нас. Было принято иное решение: пропускные пункты до сих пор строим на нашей стороне, а через сотни метров — на украинской. Двойной досмотр. Людей задерживают на часы, порой на сутки. Случается, обижают и унижают. Сколько служивых «при погонах» с приличной зарплатой. Сколько миллиардов рублей вбухали и продолжаем вкладывать в строительство капитальных приграничных «городков в степи». Возводим ангары, навесы, склады не в одной Кантемировке. Граница



Свято-Ильинский храм в центре Россоши



Детский сад, построенный итальянцами на средства первых лиц государства и простых людей Италии в память всех погибших жителей Россоши, итальянских и советских солдат.

России с Украиной протяженностью без малого в две тысячи километров.

В Кантемировском районе и Россосанском, где я теперь работаю, помимо двух асфальтовых дорог, официальных, есть еще более двух десятков сельских. Где метры или несколько километров отделяют села Бондарево и Пантюхино, Новомарковку и Красное поле, Колещатовку и Никольское, Кривоносowo и Литвиново и так далее. Почему сразу не организовали пункты перехода границы? Почему направили всех в объезд за десятки верст, вкруговую по асфальту?

По живому разрезан некогда единый край, так красиво, поэтично названный нашими предками Слобожанщиной. Границу люди справедливо называют «от лукавого». Она действительно крепко осложнила жизнь местному населению. Почти у каждой семьи есть родственники, близкие друзья на Украине. Веками ведь складывалось — женились, выходили замуж, меняли место работы и жительства. На угольные шахты, на металлургические заводы сколько народу призвали. А корни-то дома. Корни живого родового древа. Не обрубить их. И, главное, зачем обрывать не только родственные, но и экономические, социальные, культурные связи? Западную Европу всю проедешь и границ не заметишь. Там вроде тоже все страны живут независимо-незалежно.

Мы сами себе кордоны ставим. Письмо, посылку отправить — накладно. Поехать в гости — тоже непросто. Отвезти со своего огорода в город детям мешок картошки, шматок сала — проблема.

Офицеры-пограничники рассказывали, что даже в пору вооруженного конфликта на острове Даманском общение жителей приграничной территории на советско-китайской границе оставалось проще, чем даже сейчас у нас с Украиной.

Справедливые претензии люди предъявляют властям. Москва и Киев высоко. Мы же только выслушиваем, а решить ничего не в силах. Хотя все эти годы, сложа руки не сидели.

При любой политической погоде действовали и действуем силами народной дипломатии. Делегации из луганского города Рубежное приезжают в Россось, из Марковского района — в Кантемировку. Наносим ответные визиты. На таких встречах от имени общественности неоднократно принимали обращения к правительствам и президентам. «Достучались». Разработаны и приняты документы, но желаемых перемен в лучшую сторону пока, к сожалению, нет.

Заметное событие из прошлых лет, считаю, это научно-практические конференции по самой важной для земледельца проблеме: как улучшить плодородие чернозема. Не единожды встречаются практики-хозяйственники и ученые из трех соседних областей — Воронежской, Ростовской и Луганской. У нас ведь зона рискованного земледелия. Степь на всех ветрах, чаще засушливых. Поля по горам и по долам. В мае, когда посевы идут в рост, порой навещают заморозки. Природа испытывает крестьянина еще как! Надо жить с ней в согласии — подсказывает великий агроном Василий Васильевич Докучаев. Мы продолжаем развивать его идеи, опыт Каменной степи. Жаль, не с тем размахом, как хотелось, утверждается разработанная в Воронежском аграрном университете и успешно освоенная на наших полях агроландшафтная система земледелия. Суть ее в создании новой экологической структуры «поле-лес-луг-вода». Есть положительные результаты: ущерб от засухи снижается, размыв и выветривание почв остановлены. Где были овраги, там теперь лесная раститель-

ность. Меньше применяется химикатов-пестицидов при защите посевов от вредителей и сорняков. Плодородие почв сохраняется. В степи становится больше птиц, зверья.

Никто не сомневается, что за таким земледелием будущее. Осваивать его, верю, будем вместе — русские и украинцы. Восстановим прежние, крепкие хозяйственные связи.

А культурные постарались не растерять.

В декабре 2010 года самодеятельные певцы из Россоши уже в девятый раз выступали на сцене Кантемировского фестиваля российско-украинской дружбы «В семье единой». Нынче в нем приняли участие самодеятельные артисты из семи южных районов Воронежской области, из белгородских Ровенек и ростовского Чертково. Воронеж представлял государственный академический русский народный хор. А Украину — делегация в 360 человек из семи ближних районов Луганской области и города Луганска.

Семь фестивалей Слободской украинской культуры прошло в Россоши под началом газеты «Россошь».

В культурной жизни края это не рядовые мероприятия, что подтверждает классик современной украинской литературы Борис Ильич Олейник. «Седые берега Днепра и гостеприимную Воронежскую землю соединяет незримый мост дружбы между нашими братскими славянскими народами. Возрождение и сбережение традиций, обычаев наших дедов и прадедов, воспитание любви к родному краю, его истории, обращение к духовным истокам — благородные цели фестиваля».

Я тоже верю в то, что духовное поле славянского мира было, есть и будет неделимым на всех политических ветрах. Жив народ, вместе будем петь о Днепре широко и о батюшке Тихом Доне. Как сказал поэт: у русского и украинца одна судьба, одна земля. Носителем культуры, хранителем памяти является каждый из нас. Хорошим или никудышным? Зависит тоже от нас самих. Во всяком случае, наши работники на ниве просвещения, культуры, литературы сеют в души «разумное, доброе, вечное».

Особенно значимо краеведение. Его ведь неслучайно в старину называли отчизноведением. За нас историю нашего края никто не напишет. В недавние годы краеведы вернули из забвения имена наших знаменитых земляков. Мой, можно сказать, односельчанин — Николай Иванович Костомаров, вырос в слободе Юрасовка. На книжной полке его «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» стоит рядом с трудами Карамзина, Соловьева, Ключевского. Костомарова называют историком русского и украинского народов. Он друг Тараса Шевченко. А уроженец Кантемировки, выпускник Бобровской гимназии Евгений Павлович Плужник является поэтом-классиком украинской литературы.

Мой отчий край, оказывается, напрямую связан с Львом Николаевичем Толстым, Антоном Павловичем Чеховым, Тарасом Григорьевичем Шевченко, с любимым мною Михаилом Александровичем Шолоховым и даже, сам удивился, когда узнал, — со «Словом о полку Игореве».

В годы Великой Отечественной войны на среднем Дону после горьких поражений воины Советской Армии перешли в наступление. Освободили Украину. Шли на Берлин к победе.

Краеведы, поэты и писатели рассказывают об этом в стихах и прозе.

Чем не благодатный материал для того, чтобы, как когда-то говорили, поселять в гражданах любовь к Родине.

Смотри, читай, думай.



Современная архитектура улицы



Памятник паровозу,
прошедшему Великую Отечественную войну



Мемориальный комплекс в память погибших в 1941—1945 гг.



Здание железнодорожного вокзала постройки конца XIX века.
Современное фото

Жаль, понимающего читателя, слушателя и зрителя теряем на глазах. Низкопробная культура под хитроватые объяснения — спрос, мол, диктует рынок — калечит души, подменяет истинные, жизненные ценности мнимыми. Как противостоять всему этому? Бить тревогу в колокола нужно. Капли камень точат. Но и самим шагать надо в ногу со временем. Есть в школах, в библиотеках связь с Интернетом, занимаем в нем плацдармы культурным богатством, которое имеем. Без нашего участия благо не будет служить во благо. Есть автобусы в школах. Знаю учителей, которые в краеведческом путешествии знакомят детей с творчеством Толстого. Урок начинается у мемориальной доски на старинном железнодорожном вокзале в Митрофановке, куда приезжал Лев Николаевич. А завершается на бывшем хуторе Ржевск у памятного камня, под высокими каштанами на берегу пруда. Здесь, в имении друга Владимира Черткова, гостил писатель. Здесь находилось издательство «Посредник», в котором готовили к изданию лучшие и доступные в цене книги для просвещения народа. Так классик «оживает» в глазах ребят.

Наши литераторы, краеведы — частые гости в школах, колледжах, библиотеках. Они участвуют в поэтических праздниках «Воронцовая Русь» в Каменке, «Батька-Дон» в Павловске, «Удереvский листопад» в белгородской Алексеевке. У себя дома встречаются на «Калитвянском причале».

Местная власть старается поддерживать литературное товарищество.

Звания «Почетный гражданин города Россосшь» удостоены краевед Алим Яковлевич Морозов, писатель Михаил Петрович Шевченко, поэт Михаил Федорович Тимошечкин. Гордимся, что в год 65-летия Великой Победы фронтовику Михаилу Тимошечкину вручена литературная премия Союза писателей России «Прохоровское поле».

Званием «Почетный гражданин Россосшанского района» отмечен художник, скульптор Юрий Сергеевич Малинин.

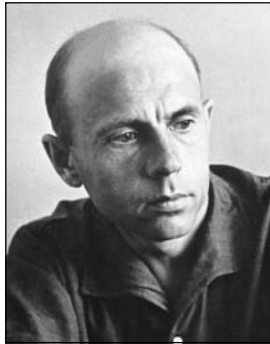
Минувший 2010-й в Россосшанском районе проходил как Год памяти земляка — большого русского поэта Алексея Прасолова. С участием литераторов из Москвы, Воронежа провели вечера, встречи с писателями, конференции, уроки, творческие конкурсы. Третий, специальный выпуск литературного, историко-краеведческого альманаха «Слобожанская тетрадь» посвятили творческому наследию поэта. Районной библиотеке присвоили имя Алексея Тимофеевича Прасолова.

Принято решение администрации об издании «Россосшанской энциклопедии». Ее пишут сейчас краеведы.

В Киеве в фонде культуры Украины представили общественности воронежские издания книг Костомарова и Плужника, а также посвященных их жизни и творческому наследию. Недавно на Международной научно-практической конференции «Пространство литературы — путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами», состоявшейся в Харькове, рассказали о литературно-исторических, краеведческих поисках и находках в русско-украинском пограничье. Все работаем на сбережение дружбы России и Украины.

Фото С. Паршиковой, Ю. Поснова





Алексей Тимофеевич Прасолов (1930—1972) родился в селе Ивановка Михайловского района ЦЧО. Окончил Россошанское педагогическое училище. Работал школьным учителем, корректором, литературным сотрудником в районных газетах Воронежской области. Автор поэтических сборников «День и ночь», «Лирика», «Земля и зенит», «Во имя твое». Среди посмертных книг — «Стихотворения», «И душу я несу сквозь годы...», «Я встретил ночь твою» (роман в письмах), «На грани тьмы и света».

Алексей Прасолов

МИР В ОЩУЩЕНИИ РАСКОЛОТ

* * *

Давно я не был здесь, давно.
И пусть никем не буду встречен.
Мне улыбнуться вновь дано
Среди цветистых летних женщин.

Я им не близок и не чужд.
Я здесь не в поисках любимой.
И с неизведанностью душ
Они легко проходят мимо.

Я слышал, женщины сильны
Непостижимой властью древней.
В ней зреют сумрак глубины
И трепет солнечного гребня.

Не знаю, может быть, и так...
Я только выстраданно верю:
Счастливый свет и горький мрак
Слепят влюбленных в равной мере.

И, сердцем их не позабыв,
Одну я вижу в это утро —
Сквозит в ней что-то от судьбы
Родной, взыскательной и мудрой.

1952

* * *

Я пел и легко и бездумно, как птица,
Но так не поется уж мне...
Иное — суровое — в сердце стучится
И зреет в его глубине.
Оно не дает мне покоя ночами,
Тревожа, волнуя, маня,
И годы, столетия — днями
Несутся тогда для меня.
И я поднимаюсь ступень за ступенью,
И кажется, больше тоске и сомнению
Не тронуть уж душу мою.
Кипят во мне силы любви и познания,
И все мне доступно тогда:
И тайны сердец, и простор мирозданья,
Где мы не оставим следа!

25 мая 1954

* * *

Когда душа переросла
Судьбой измученное тело,
Она, нетронута светла,
Его терпеть не захотела.
И отлетела, чтобы вмиг
Средь вас, живущих и поныне,
Познать своих и не своих
И поклониться той святыне,
К ногам которой притекли
Народы... Нам не надо славы.
Но мы из-под самой земли
Докажем то, в чем были правы.

1962

* * *

Итак, с рождения вошло —
Мир в ощущении расколот:
От тела матери — тепло,
От рук отца — бездомный холод.

Кричу, не помнящий себя,
Меж двух начал, сурово слитых.
Что ж, разворачивай, судьба,
Новорожденной жизни свиток.

И прежде всех земных забот
Ты выставь письмена косые
Своей рукой корявой — год
И имя родины — Россия.

1963

* * *

Так — отведешь туман рукою
И до конца увидишь вдруг
В избытке света и покоя
Огромный дали полукруг.

Как мастер на свою картину,
Чуть отойдя, глядишь без слов
На подвесную паутину
Стальных креплений и тросов.

За ней — певучею и длинной,
За гранями сквозных домов
Могуче веет дух былинный
С речных обрывов и холмов.

Скелет моста ползучий поезд
Пронзает, загнанно дыша.
И, в беспредельности освоюсь,
Живая ширится душа.

И сквозь нее проходит время,
Сведя эпохи в миг один,
Как дым рабочий — с дымкой древней
Средь скромно убранных равнин.

И что бы сердце ни томило,
Она опять в тебя влилась —
Очеловеченного мира
Очеловеченная власть.

1963

* * *

4.00. 22 июня 1941

Когда созреет срок беды всесветной,
Как он трагичен, тот рубежный час,
Который светит радостью последней,
Слепя собой неискнушенных нас.

Он как ребенок, что дополз до края
Неизмеримой бездны на пути, —
Через минуту, руки простирая,
Мы кинемся, но нам уж не спасти...

И весь он — крик, для душ не бесполезный,
И весь очерчен кровью и огнем,
Чтоб перед новой гибельною бездной
Мы искушенно помнили о нем.

1963

* * *

Здесь — в русском дождике осеннем
Проселки, рощи, города.
А там — пронзительным прозреньем
Явилась в линзах сверхзвезда.

И в вышине, где тьма пустая
Уже раздвинута рукой,
Она внезапно вырастает
Над всею жизнью мировой.

И я взлечу, но и на стыке
Людских страстей и тишины
Охватит спор разноязыкий
Кругами радиоволны.

Что в споре? Истины приметы?
Столетия временный недуг?
Иль вечное, как ход планеты,
Движенье, замкнутое в круг?

В разладе тягостном и давнем
Скрестились руки на руле...
Душа, прозрей же в мирозданье,
Чтоб не ослепнуть на земле.

1964

* * *

Мирозданье сжато берегами,
И в него, темна и тяжела,
Погружаясь чуткими ногами,
Лошадь одинокая вошла.

Перед нею двигались светила,
Колыхалось озеро без дна,
И над картой неба наклонила
Многодумно голову она.

Что ей, старой, виделось, казалось?
Не было покоя среди светил:
То луны, то звездочки касаясь,
Огонек зеленый там скользил.

Небеса разламывало ревом,
И ждала — когда же перерыв,
В напряженье кратком и суровом,
Как антенны, уши наострив.

И не мог я видеть равнодушно
Дрожь спины и вытертых боков,
На которых вынесла послушно
Тяжесть человеческих веков.

1965

* * *

Когда прицельный полыхнул фугас,
Казалось, в этом взрывчатом огне
Копился света яростный запас,
Который в жизни причитался мне.

Но мерой, непосильною для глаз,
Его плеснули весь в единый миг,
И то, что видел я в последний раз,
Горит в глазницах пепельных моих.

Теперь, когда иду среди людей,
Подняв лицо, открытое лучу,
То во вселенной выжженной моей
Утраченное солнце я ищу.

По-своему печален я и рад,
И с теми, чьи пресыщены глаза,
Моя улыбка часто невпопад,
Некстати непонятная слеза.

Я трогаю руками этот мир —
Холодной гранью, линией живой
Так нестерпимо памятен и мил,
Он весь как будто вновь изваян мной,

Растет, теснится, и вокруг меня
Иные ритмы, ясные уму,
И словно эту бесконечность дня
Я отдал вам, себе оставив тьму.

И знать хочу у праведной черты,
Где равновесье держит бытие,
Что я среди вас — лишь памятник беды,
А не предвестник сумрачный ее.

1966

ПУШКИН

Из глубины морозно-белой
Оно возникло как-то вдруг,
Лицо, изваянное смело
И обращенное на юг.

И свет задумчивости зрелой
С порывом юным наравне, —
Все, что сказаться в нем успело,
Звучит — и слышен голос мне:

— Что значит — время?
Что — пространство?..
Для вдохновенья и труда
Явись однажды и останься
Самим собою навсегда.

А мир за это,
Други, други,
Дарит восторг и боль обид.
Мне море теплое шумит,
Но сквозь михайловские вьюги...

1968

* * *

Листа несорванного дрожь,
И забытье травинки тощих,
И надо всем еще не дождь,
А еле слышный мелкий дождик.

Сольются капли на листе,
И вот, почувствовав их тяжесть,
Рожденный там, на высоте,
Он замертво на землю ляжет.

Но все произойдет не вдруг:
Еще — от трепета до тленья —
Он совершит прощальный круг
Замедленно — как в удивленье.

А дождик с четырех сторон
Уже облег и лес и поле
Так мягко, словно хочет он,
Чтоб неизбежное — без боли.

1971

* * *

Я умру на рассвете,
В предназначенный час.
Что ж, одним на планете
Станет меньше средь нас.

Не рыдал на могилах,
Не носил к ним цветов,
Только все же любил их
И прийти к ним готов.

Я приду на рассвете
Не к могилам — к цветам,
Все, чем жил я на свете,
Тихо им передам.

К лепесткам краснотубым,
К листьям, ждущим луча,
К самым нежным и грубым
Наклонюсь я, шепча:

«Был всю жизнь в окруженье.
Только не был в плену.
Будьте вы совершенней
Жизни той, что клянусь.

Может, люди немного
Станут к людям добрей.
Дайте мне на дорогу
Каплю влаги своей.

Окруженье все туже,
Но, душа, не страшись:
Смерть живая — не ужас,
Ужас — мертвая жизнь».

1971

* * *

И вдруг за дождевым навесом
Все распахнулось под горой,
Свежо и горько пахнет лесом —
Листвой и старою корой.

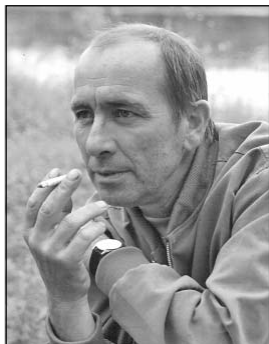
Все стало чистым и наивным,
Кипит, сверкая и слепя,
Еще взъерошенное ливнем
И не пришедшее в себя.

И лесу точно нет и дела,
Что крайний ствол наперекос,
В изломе розовато-белом —
Как будто выпертая кость.

Еще поверженный не стонет,
Еще, не сохнув, не скрипит,
Обняв других, вершину клонит,
Но не мертвеет и не спит.

Восторг шумливо лист колышет,
Тяжел и груб покой ствола,
И обнаженно рана дышит,
И птичка, пискнув, замерла.

21 января 1972



Алексей Викторович Шаповалов родился в 1954 году на хуторе Каменево Россошанского района. Окончил Россошанское медицинское училище. Служил в армии. Публиковался в журнале «Подъём», в коллективных сборниках, среди которых «Свидание», «Слово о бойце», «Шел солдат...». Автор поэтической книги «Час звезды вечерней». Живет в Россоши.

Алексей Шаповалов

ВИДНО, МНОГО РАЗЛУК ВПЕРЕДИ

* * *

Ивану Пахомову

Будь счастлив, друг, в селенье этом,
Где каждый куст — тебе родня.
Где петухи седьмым рассветом
Восславят вновь начало дня.

Где над округой лай собачий
И первый снег всегда белей.
И ты не можешь жить иначе —
Без сельских улиц и полей.

Где ты идешь. И все знакомо:
Синиц веселая возня,
Где пламя желтое соломы
Кожной прижалось у плетня...

И пусть у дальней-дальней хаты
Сутробы время намело.
Но все рассветы и закаты
По каплям сердце собрало.

И пусть несется по заречью,
Как прежде, песня соловья.
Ты — вечно будь. Как будет вечно
Стоять Гороховка твоя.

* * *

Над землей черным саваном выстелет
Ночь свое вороное крыло.
Снова прошлое к полночи выстрелит:
Вновь увижу чужое село.

С ним не связан я дружбою крепкою.
Оттого ль, словно признак беды,
Неказистою желтой сурепкою
Вслед за мной затянуло следы?

Горько видеть мне мертвые улицы.
Тишиною стреножена даль.
Тополя сиротливо сутулятся,
Да гуляет по избам печаль.

И пойду я по травам некошеным,
По ковыльным да пыльным лугам.
За селом, всем народом заброшено,
Поле с болью припало к ногам.

Ты, прости меня, полюшко вечное,
И, Господь, за грехи не суди!
Желтым цветом округа рассвечена —
Видно, много разлук впереди.

Видно, грустное что-то затеялось
На земле, где не всем повезло.
Все же сердце на что-то надеялось...
Но молчало чужое село.

* * *

Зимним утром — небо мглистое.
В даль заснеженных полей
Уносились кони быстрые —
Тройка юности моей.

Закружили вьюги белые,
И в полях засыпан след.
Что ж вы, резвые, наделали?
Нам назад дороги нет.

Но несут, меня не слушая,
Рвут полозья белый шелк.
Что кричать вам, непослушные!
Голос мой охрип и смолк.

Жизнь была как чаша полная,
Да отпил — и сам не рад...
Мчали кони в утро, помню я,
Да рванули на закат!

* * *

Настал последний час собачей жизни.
Последний лай — как эхо над селом.
И вслед за лаем громом грянул выстрел,
И дым застыл над вскинутым стволом.

И пес больной, захлебываясь кровью,
Хозяину даря последний взгляд,
С обидою смотрел, а не с любовью:
«Ну, в чем я пред тобою виноват?

Зачем же утром, всполошив округу,
С ружьем соседа ты позвал, скажи?
Ведь верил я тебе всегда, как другу,
Твой дом всегда на совесть сторожил».

И тишина. Лишь шерсть ерошит ветер.
Взглянул хозяин на летящих птиц,
Чтобы сосед случайно не заметил
Дрожащих слез, на краешках ресниц.

* * *

Невстреча наша не дает покоя.
На все земное сумерки легли.
Зачем по красноталу за рекою,
Нас не спросясь, запели соловьи?

Зачем вечерний воздух пахнет мятой?
Зачем заката огненная нить?
А сердце ждет, что ты должна когда-то
Мне радость встречи снова подарить.

А сердце ждет, а в памяти все ближе
Все тот же вечер, горький от обид.
Там у цветущих белоснежных вишен
Невстреча наша плакала навзрыд.

* * *

Цветенья миг не пропусти,
Нектаром кисти засочатся
И не захочется грустить,
И не захочется прощаться.

И этот ясноглазый день
Войдет в мои воспоминанья.
И будет пламенно сирень
Дарить свои благоуханья.

Там нежность трав и вешний сад
Влекли к себе с незримой силой.
И сердце билось невпопад
И тоже нежности просило.

* * *

Зачем так рано выпал снег,
Перечеркнув иные сроки?
Зачем все реже звонкий смех,
Все чаще — горькие упреки?

И мне уже не донести
Твоей души тепло и нежность.
Мое последнее «прости»,
Как эхо, кануло в безбрежность.

Туда, где день от вьюги бел,
И в милый профиль не взглянется,
Где вдруг пойму, что не жалел
Твое измученное сердце.

Где вдруг пойму, что не спасти
Любовь от холода и боли.
Мое последнее «прости»
Как птица, что не рада воле.

* * *

Ворвалась неожиданно в город мой
Рыжая шалунья из тумана,
Закружила в небе надо мной
Запылавших листьев караваны.

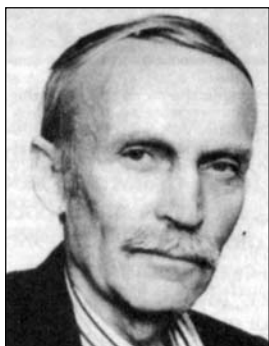
И светло по улицам идти,
С детства мне до камушка знакомым,
Радость встречи снова обрести
На крыльце родительского дома.

А над Россoshью малиновый закат.
И когда он в синих сумерках растает,
Зрелых яблок дарит аромат
Золотая осень, золотая.

А над Россoshью малиновый закат,
И деревья ярким пламенем пылают.
Дорог мне осенний твой наряд
Золотая Россoshь, золотая.

Дней погожих, осень, не жалей.
Ни к чему унынья и ненастья.
В свете твоих поздних фонарей
Ждет меня невстреченное счастье.

Дорог, милый город, вечер твой,
Потому я вновь неутомимо
На свиданье с Черной Калитвой
Тороплюсь, как к девушке любимой.



Леонид Федорович Южанинов родился в 1941 году в селе Редикор Чердынского района Пермской области. Окончил Березниковский строительный техникум. Автор семи книг прозы. Публиковался в журналах «Наш современник», «Слово», «Воин России», «Подъём», «Огни Кузбасса», «Роман-газета», еженедельнике «Литературная Россия». Лауреат литературно-публицистического конкурса «Мой XX век». Член Союза писателей России. Живет в городе Россошь.

Леонид Южанинов

БЕЛАЯ ДОРОГА

Повесть

Северный Ледовитый океан дохнул могучими легкими, и лютый мороз в один день опустился на землю, сковал реки; даже своенравный Иртыш стал. Тайга притихла, попрятались звери. Птицы прибились к жилью. Если какой-нибудь недотепа-воробей взлетал из-под застрехи, то тут же замертво падал на снег. Красное мутное солнце билось в плену стужи, тончайшие иглы сусальным пламенем горели по всей его окрестности. Белые столбы тянулись в небо. Сизая дымка застилала горизонт. Тишина, ни ветерка, ни колыхания. Лишь время от времени раздавался звук, похожий на винтовочный выстрел, это не выдерживали, трещали бревна в промороженных углах домов.

13 ноября 1919 года пять литерных поездов — штаб Верховного правителя и сам Александр Васильевич Колчак — выехали из Омска. В одном из эшелонов находился золотой запас России: двадцать девять вагонов золота и семь серебра. Отъезд сопровождался оглушительными взрывами — уничтожались склады боеприпасов, патронов, пороха.

Омск пал. Это явилось следствием проигранного сражения на Тоболе. Река Тобол была последним рубежом, где белые дали серьезный отпор большевикам, задержали их, а 3-я армия генерала Сахарова отбро-

сила врага на противоположный берег и заняла город Тобольск. Но командование Восточного фронта Советов подтянуло большие резервы, численный состав их войск увеличился вдвое. Свежие полки красных перешли в наступление и переломили ход битвы в свою пользу. Бои были жестокие. Обе стороны дрались со страшным упорством. Войска белых так поредели, что командарм Сибирской армии Пепеляев сам со своим штабом бросался в атаку.

Адмирала предали казаки. Целыми сотнями, полками сдавались они в плен. Арестовывали своих хорунжих, сотников, есаулов, выбрасывали белые флаги, переходили к красным, боясь оторваться от своих станиц, разбросанных по Тоболу, Ишиму, Иртышу. Целые горы казацких винтовок, сабель, пик, пулеметов и седел высились на майданах станиц Звериноголовская, Пресногорьковская, Черлакская и многих других. Табуны прекрасных строевых коней достались врагу. Красноармейцы садились на них и двигались дальше на восток.

Армия Колчака неудержимо покатилась назад. Принимаемые меры задержать отступление не давали результатов. Кадровые части потеряли половину личного состава, были обескровлены, деморализованы. Только что прибывшие маршевые роты — ненадежны. Они поднимались в атаку, а отбегав, опускали винтовки штывками вниз, сдавались красным и тотчас открывали огонь по своим. Офицеров, пытающихся удержать изменников — убивали.

Крестьяне ничего не понимали в происходившем, им надоело воевать, а Красная армия представлялась непобедимой, казалась ближе и родней по духу. Порою чувство сильнее реальных благ, и это чувство — ненависть к господам. И крестьяне шли к красным, повинуюсь глухому инстинкту злости к барам, надеясь, «авось будет лучше».

Влияла на умы крестьян и большевистская агитация. Красные разбрасывали прокламации, в которых призывали солдат прикончить войну, перебить офицеров и выдать им Колчака. Взамен они обещали перестрелять комиссаров и передать белым Ленина и Троцкого.

Отступающая армия Колчака, вернее, ее остатки, состояла из стойких, верных белой идее воинов. Слабые духом отсеивались: уходили в тайгу, сдавались красным. Командующий 2-й армией генерал Войцеховский собственноручно застрелил из револьвера командира корпуса Гривина, отказавшегося задержать корпус и дать отпор наступающему противнику.

1-я Сибирская армия, квартировавшая в Томске, раскололась. Часть личного состава поддержала восстание эсеров против Верховного правителя, спровоцированное большевиками, другая — осталась верна Колчаку. Командующий генерал Пепеляев — патриот Сибири, но эсер в душе, метался между полками, вел себя непонятно, не зная, чью сторону принять. Но когда приблизился фронт и его войска открыто выступили за красных, он, переодевшись в крестьянское платье, в троечных санях бежал на восток.

Были и откровенные предатели. Генерал Зиневич, бывший командир 1-го Сибирского корпуса, перебежал к эсеровским мятежникам и вел переговоры о совместных действиях против белой армии.

Недавно назначенный главнокомандующим генерал Сахаров разработал план дальнейшей борьбы с Советами. Его основные положения были таковы:

1. Задержать фронт на линии Мариинска, восточнее Иртыша.

2. За зиму собрать резервы.

3. Весной наступать, используя настроения крестьян Западной и Средней Сибири, вкусивших «прелести» комиссаров.

4. Проведение плана возможно лишь при твердом систематическом курсе, при суровых, а подчас и жестоких мерах.

Но Сахарову не дали осуществить его замыслы. Против него начали интриги братья Пепеляевы: недавно назначенный председателем Совета министров Виктор Николаевич и генерал Анатолий Николаевич. Они требовали у Колчака отставки Сахарова с поста главнокомандующего, обвиняя его в сдаче Омска. На станции Тайга они арестовали его, однако подоспевший Каппель освободил Сахарова из-под ареста. История повторялась. Во все времена, как только начинал шататься трон, вскипала придворная борьба за власть. Адмирал в этой тяжелейшей обстановке отступления, хаоса принял соломоново решение. Он не встал ни на ту, ни на другую сторону: ни Сахарова, ни братьев Пепеляевых. Он назначил главнокомандующим преданного ему, популярного в войсках Каппеля.

Каппель — волевой генерал, талантливый военный. Он в непредвиденных ситуациях был тверд, находчив, а если требовалось — жесток. Еще в начале Гражданской войны, командуя Первой добровольческой дружиной Народной армии Комуца, Каппель вошел в атаки офицерские роты. Во весь рост, под ураганным огнем красных, шел он впереди наступающих шеренг с папиросой в зубах, стеклом сбивая головки цветов, на лице — презрение к смерти. «Пуля должна кланяться русскому офицеру, а не русский офицер пуле...» — говорил он. С его именем связаны освобождение Симбирска, победы в боях у Нижнего и Верхнего Услона под Казанью, успешные операции во время весеннего наступления в девятнадцатом. Одно имя его частей — «каппелевцы» — наводило страх на врага.

В предчувствии поражения все смешалось на тысячеверстных перегонах Великой сибирской магистрали. Единственная, идущая на восток, она была перегружена эшелонами. Эвакуировались гражданские и военные учреждения, промышленные и армейские грузы, уезжало мирное население. Опередив всех, удирали союзники. Особое рвение проявляли чехи. Пользуясь тем, что на них была возложена охрана железной дороги, чехи захватили весь подвижной состав для собственной эвакуации. Пассажирские вагоны были забиты их солдатами, грузовые — имуществом, оборудованием, награбленным еще на Урале. Они останавливали немногочисленные русские поезда, задерживали их на станциях, загоняли в тупики, в том числе пассажирские с ранеными, больными, семьями бойцов, беженцами. В страшные сибирские морозы дети, женщины, старики — голодные — сутками находились в нетопленных вагонах. Когда открывали двери вагонов, внутри находили лишь мерзлые трупы, целые эшелоны трупов...

Колчак протестовал против беззакония чехов, требовал от главнокомандующего союзных войск Жанена и командующего чехословацкого корпуса Сырового выполнения союзных соглашений и наведения порядка. Он телеграфировал им: «Продление такого положения приведет к полному прекращению движения русских эшелонов и к гибели многих из них. В таком случае я буду считать себя вправе принять крайние меры и не остановлюсь перед ними». Но чехи, чувствуя свою безнаказанность — белая армия находилась далеко в арьергарде — стремились любой ценой проскочить к Тихому океану. Их действия остались прежними — «наши интересы — выше всех остальных». Даже своих товарищей по несчастью — сербов, поляков, румын — они бросили на произвол судьбы.

За предательство начальника всех чешских войск в Сибири генерала Сырового дважды вызывали к барьеру — генерал Каппель и поляк капитан Ясинский-Стахурик. Но оба вызова на дуэль Сыровой трусливо проигнорировал.

Набеги партизанских отрядов на железную дорогу еще больше затрудняли отступление. Вдобавок ко всему почти одновременно вспыхнули восстания в Красноярске, Иркутске и на самой магистрали. Организовал и руководил ими Политический центр, состоящий из эсеров, меньшевиков, земских деятелей. Политцентр, или, как его переименовали в народе, «Центропуп», с самого начала пошел на союз с большевиками и попал под их влияние. Эсеры и меньшевики ничему не научились, несмотря на ранее полученные от ленинцев кровавые уроки, — вновь пошли на стовор с ними. Теперь у фронта белых не было тыла: впереди красные дивизии, сзади — мятежные формирования.

Поезд Колчака оторвался от армии. В хаосе отступления произошло то, чего боялся адмирал: разрушение государственности. «Армия, золото и власть должны быть вместе», — всегда утверждал он. Теперь этот принцип был нарушен: армия еще сражалась за Новониколаевск, а эшелон Верховного правителя уже покинул Красноярск.

С началом восстания эсеров положение усугубилось — поезд оказался в зоне бунтовщиков. Адмирал был отрезан от бившихся на западе частей Каппеля и от находящихся в Забайкалье войск атамана Семенова.

Колчак — среднего роста, широкоплечий, в простом армейском мундире и португее стоял в коридоре вагона. Курил. Дым от папиросы струился кверху, легким облачком разливался под потолком и медленно втягивался в вентиляционную решетку. Колчак машинально подносил ко рту папиросу, глубоко затягивался, стряхивал пепел в фарфоровую пепельницу и неотрывно глядел в окно. Там, в обледеневшем, разрисованном морозом стекле, имелся небольшой чистый кусочек, через который пробивался свет. Мимо проносились запорошенные снегом сосны, ели, кедры, березы, реже мелькали, будто вымершие, деревни и полустанки. Редко показывались подвода или путник. Люди без дела не выходили из домов. Мороз гулял по Сибири. После теплой осени грянула суровая зима с холодами до остервенения.

Колчак затушил папиросу, но не ушел, в раздумье барабанил пальцами по пристенному поручню. Адмиральские погоны с двуглавыми орлами блестели на его плечах. Из наград — лишь два Георгия, на шее и в петлице. Брюки прямого покроя заправлены в походные сапоги. Колчак стоял, чуть ссутулившись, ладонь левой руки опущена в карман мундира так, что безымянный палец торчал наружу. Лицо волевое, черты благородные: большой лоб, крупный нос, упрямый подбородок с ямочкой посередине. Волосы — коротко острижены, щеки впалые, от крыльев носа к концам твердо сжатых губ пролегли глубокие бороздки. В черных глазах читалась сила и напористость, но ясные светлые белки скрадывали это впечатление, они как бы выдавали тайну души мягкой, отходчивой, и от этого взгляд его одновременно выражал два совершенно полярных чувства: решительность и сомнение.

Адмирал переживал, нервничал. Положение — критическое. Войска гибли в неравных боях с противником, во много раз превосходящим по численности. Нужно было спасти армию, сохранить ее боевой костяк. Для этого — отвести ее за Байкал, пополнить и продолжить борьбу за освобождение России от коммунистов.

Колчак вернулся в кабинет и телеграфом отдал Каппелю приказ об отступлении:

«1. Отводить войска за Енисей, так как устойчивость, видимо, окончательно потеряна, а Минусинский фронт угрожает армии.

2. Все силы употребить на сохранение боеспособности, и неразложившиеся части свести в одну сильную группу, чтобы обеспечить отход ее на восток».

А ведь все начиналось по-иному. В начале девятнадцатого года войска Российского правительства в Омске успешно наступали. Новый год отметили крупной победой — взятием Перми. В этом городе были добыты богатые трофеи: 300 паровозов, 150 вагонов продовольствия, 5000 вагонов порожняка, 60 орудий, 1000 пулеметов, несколько бронепоездов (среди них поезд Ленина), замерзшая на Каме флотилия, множество винтовок, патронов, боеприпасов. Двадцать одна тысяча красноармейцев сдалась в плен.

Полки армии Колчака сражались на огромных пространствах России: линия фронта растянулась с севера на юг почти на две тысячи верст. Передовая пролегла от Чердыни в глухой уральской тайге, близ Печоры, до Александров-Гая в прикаспийских степях; она проходила через Осу, восточнее Уфы, на Орск и Актюбинск. К весне готовился мощный удар по армиям красных с целью выхода к Волге, на стратегический простор, и наступления на Москву.

Ветреным февральским днем Колчак из Омска прибыл в Пермь. Здесь только что отбуйствовали метели. Высокие белые сугробы возвышались по обе стороны железнодорожного пути. Улицы города и крыши домов были завалены им, первозданно-чистым, излучающим свет и умиротворение. Казалось, если не снег, то белесые сумерки заволокли бы землю: толстые низкие облака плотно закрыли небо и не пропускали лучи солнца. В воздухе порхали редкие снежинки.

На вокзале Верховного правителя Российского государства встречали командующий Сибирской армией генерал-лейтенант Гайда, командир 1-го Средне-Сибирского корпуса этой армии генерал-майор Пепеляев и комендант Перми сотник Рымашевский. Гремел оркестр, был выстроен почетный караул ударного, имени Гайды, полка с его вензелями на погонах стрелков. Конвой Гайды выглядел еще импозантнее: он был обмундирован в форму собственного Его Императорского Величества конвоя бывшего монарха Николая II. Солдаты стояли в лохматых папахах, черкесках с газырями, эполетами на плечах.

Колчак без воодушевления воспринял церемонию встречи, сразу же после ее окончания сел в автомобиль и в сопровождении генералов поехал в Мотовилиху. Там на старейшем уральском заводе лили пушки.

Адмирал ходил по цехам. Он будто окунулся в родную корабельную стихию, стихию металла и строгого распорядка, повеселел. Рабочие напомнили ему матросов: такие же бойкие, в такой же просторной легкой одежде. Беседовал с ними.

Когда дело касалось знакомых, любимых им предметов, Колчак увлекался, говорил убедительно, образно, эрудицией своей покорял собеседников. А артиллерию он знал в совершенстве: еще отец, Василий Иванович Колчак, служил в морской артиллерии, сам он в критические месяцы обороны Порт-Артура командовал береговой батареей на северо-восточном фронте, где был ранен, но оставался в строю до последнего дня, дня сдачи крепости японцам.

Рабочие были заворожены его простотой, знанием техники. Но особенно поразило их то, что Колчак оказался совершенно не соответствующим тому образу варвара, каким рисовали его комиссары. Еще недавно на заводе висел плакат, изображающий Колчака надменным и страшным, восседающим на троне, а вокруг него — угодливо кланяющиеся фигурки кулака, буржуй и попа со стихами внизу:

Мы Божьей милостью Колчак,
Возсесть на Царский трон желаем,
Большевиков — всему рычаг —
Эй, расстрелять!.. повелеваем.
Живых вогнать рабочих в гроб!
По сотне всыпать в зад крестьянам!
А Вам, кулак, буржуй и поп,
Жиреть, толстеть и быть Вам пьяным.

Во дворе завода стихийно образовался митинг. Рабочие задавали вопросы, адмирал отвечал. В конце он коротко высказал свою программу.

— Я не политик, я военный. Моя задача: сломить красное нашествие. И если мы победим, пусть народ выбирает себе образ правления через Учредительное собрание. А я уйду в отставку, займусь полярными исследованиями, — улыбнулся Колчак, его строгое лицо озарилось детской непосредственностью, большие черные глаза потеплели.

Рабочие долго глядели вслед уходящему адмиралу в простой солдатской шинели. Они, мотовилихинцы, организаторы революции 1905 года на Урале, останутся до конца верны белому адмиралу.

Вечером в штабе армии Колчак провел военное совещание. Начальник штаба генерал Богословский изложил план весеннего наступления. Согласно этому плану операции Сибирской армии разбивались на три этапа. Первый — взятие Кайгорода, Оханска, Осы, Воткинского и Ижевского заводов, Сарапула и Елабуги. Второй этап — Глазова и реки Вятки. Третий — освобождение городов Вятки, Нолинска, Уржума, Казани и реки Волги. Корпусу генерала Пепеляева предписывалось нанести удар в стык 2-й и 3-й Красных армий, между городами Осой и Оханском. Корпусу генерала Вержбицкого — южнее Осы. Наступление намечалось на начало марта. Это было благоприятное время: крупный водный рубеж — реку Каму войска могут форсировать по льду.

Одновременно Западная армия генерала Ханжина должна ликвидировать выступ 5-й большевистской армии в районе Уфы и выйти на рубеж реки Ик. По выходе на него войска должны переждать весеннюю распутицу, затем начать общее движение на Москву. И вот тут в действие вступал северный вариант плана, где главная роль отводилась Сибирской армии: Вятка — Вологда — соединение с частями Архангельского правительства, затем резкий поворот на юг, поход на красную столицу. В целом план был воспринят с воодушевлением. Особенно довольны остались Гайда и Пепеляев, им представлялся случай под колокольный звон вступить в Белокаменную. Долго обсуждали вопросы тактики, детали. Наконец адмирал одобрил план наступления Сибирской армии. Разошлись за полночь.

Наутро Колчак произвел смотр войскам гарнизона. Первыми в парадном строю прошли полки, бравшие Пермь, прошли ускоренным маршем, как любил адмирал. Это были солдаты-сибиряки, хорошо вооруженные, обмундированные во все английское, в погонах. Радостно было смотреть на этих мужественных воинов. Бело-зеленое знамя плескалось над их го-

ловами. Белое символизировало снега, зеленое — леса вольной Сибири. Следом за ними нестройными колоннами маршировали добровольцы вновь сформированной 1-й Пермской стрелковой дивизии в составе четырех полков: Пермского, Чердынского, Добрянского, Соликамского. Выглядели они бодро. Замыкали парад мобилизованные, одетые кто во что, зачастую оборванные, лица их были замкнутые, хмурые.

Сердце адмирала сжалось при виде этих плохо обмундированных солдат. Чем он мог им помочь? Союзники не выполняют своих обязательств, а все суконные, швейно-ткацкие фабрики остались в центре страны у большевиков! Но время не ждет, надо собирать силы, надо заново создавать армию, спасать Отечество! И он уже многого добился, за какие-то три месяца сформировал пять корпусов, Южную и конную группы войск. Это уже более ста тысяч личного состава. И всех надо одеть, обуть, накормить! Обмундирования да и оружия хронически не хватает — оружейные заводы тоже в руках врага. Все его усилия обеспечить войска необходимым разбиваются о бетонные головы союзников. К нему уже иногда приходит мысль: может, англичане, американцы и французы специально саботируют поставки?

Твердым шагом, взяв под козырек, чуть ссутулившись, двигался адмирал вдоль выстроившихся шеренг. Солдаты вытягивались во фронт, разом поворачивали головы навстречу. Колчак внимательно всматривался в простые крестьянские лица, два чувства боролись в нем — гордость за молодую силу России, вставшую на защиту ее достоинства, и жалость к этим только начавшим жить ребятам: многим из них суждено погибнуть на поле брани.

Адмирал не любил помпезных торжеств и банкетов. Закончив дела, он сразу выехал из Перми на фронт, отказавшись от многих званных обедов и ужинов, устраиваемых в его честь. Вместе с ним отправились Гайда и Пепеляев.

Колчак молча сидел у вагонного окна. Поезд весело бежал среди березовых перелесков, маленьких уральских полей, занесенных снегом, похожих на белые блюдца.

Неожиданно на изгибе дороги показались дома. Село прижалось к горе, покрытой зеленым еловым лесом, живописно разбросало крестьянские усадьбы на угоре, рядом с железнодорожным полотном. Ели под белыми накидками снега, точно невесты перед аналоем, стояли, не шелкнувшись. Дома бревенчатые, небольшие, но ладные, среди них выделялись высокие осанистые пятистенки. Особенно один поразил адмирала: длинный, двухэтажный, с легкой верандой наверху, он будто пароход рассекал снежные волны. Добротные деревянные дворы для скота и ограды с поленницами дров вплотную примыкали к избам. На окнах жилищ, больших и малых, красовались искусно вырезанные наличники. Бледные полоски дыма поднимались над крышами и растворялись в розном воздухе.

Из-за горы медленно вставало красное холодное солнце. Низкое северное небо светлело, свод его как бы расширялся, поднимался вверх. Солнечные лучи брызнули на землю, заиграли в стеклах домов, заискрились в промерзших сугробах.

Сразу за селом — станция Шабуничи. Здание станции — маленькое, приземистое, обшито деревянной рейкой, окрашено в желтый цвет. По другую сторону рельсов низменный луг, за ним — чахлые заросли осины, ольхи.

На станции Верховного правителя встречали с оркестром. Был смотр частям 2-й Сибирской дивизии. Адмирал вручил Георгиевские кресты, раздал много подарков бойцам 5-го Томского полка. Десятки солдат произвел в следующие чины, несколько офицеров повысил в звании.

После этого в вагоне-салоне адмирал принял делегацию крестьян прифронтовой полосы. Мужики жаловались на коммунистов, на их конфискации, реквизиции, карательные отряды, на полную незащитность населения от революционного беспредела.

Колчак знал, что в прифронтовой полосе, кроме карательных отрядов, наводя ужас на население, «гулял» батальон чека — около трехсот человек с семью пулеметами и отрядом конницы. Адмирал говорил крестьянам, что единственным способом избавить их от зверств большевиков является скорейшее наступление и очищение земли русской от красной заразы, а для этого крестьяне всемерно должны помогать белой армии. Провожая мужиков, он сказал: «Я знаю, что крест мой тяжел, но я поне-су его до конца, каким бы этот конец не был».

Из Шабуничей адмирал направился на передовую. Гайда с Пепеляевым отговаривали его, но он и слушать не хотел. Сели в автомобиль и двинулись дальше, на запад. Сзади рысил конвой адмирала, одетый в обычную английскую форму. На полпути автомобиль забуксовал. Колчак с Гайдой пересели в кошеву, Пепеляев — верхом, тронулись. Прискакали в деревню, занесенную почти до крыш снегом. К каждой избе в сугробах были расчищены дороги, из труб струился печной жар. Жителей не было видно, лишь у большого двухэтажного дома, приспособленного под лазарет, санитары выносили с саней раненых.

Колчак, Гайда, Пепеляев и сопровождающий их конвой направились на позиции. Красные, заметив оживление, начали стрелять. Адмирал, чтобы не привлечь внимание противника, приказал конвою оставаться на месте и зашагал по открытому пространству. Окопы находились в полуверсте от крайних домов на поле. На противоположной стороне поля виднелась другая деревня, перед которой чернели позиции красных.

Враг усилил ружейную стрельбу. Пули противно свистели в морозном воздухе. Адмирал, по-обыкновенному ссутулившись, молча вышагивал по наезженной дороге. Верзила Гайда и крепыш Пепеляев, точно ассистенты при выносе знамени, шли с боков. Первым не выдержал Гайда.

— Карош мишен! — пробурчал он.

— От своей тени не уйдешь, — спокойно бросил адмирал.

Но вот и позиции.

— Ва-аше Высоко-опревосходительство, р-рота... — почти кричал, докладывая, подбежавший поручик, перепуганный появлением высоко-го начальства.

— От-тставить! — козырнул адмирал. — Доложите обстановку, поручик...

Окопы были устроены из снега. Они перерезали единственную бегущую через поле дорогу, соединяющую два населенных пункта. Колчак в бинокль наблюдал за противником. Деревня небольшая — домов двадцать, в центре — часовенка, — сразу за домами — лес. Движения в деревне не видно. На позициях, в таких же снежных окопах, замерли темные фигурки красноармейцев. Поле легло между двумя враждебными лагерями. «Поле русское, несущее людям хлеб и добро, — подумал Колчак, — по воле рока стало рубежом зла».

Взвихрив снег бруствера, со страшной силой возле самой головы адмирала пронеслась пуля. Снежная пыль осела на лицо и папаху.

— В-ваше Высокопревосходительство, пригни-и-тесь!!! — разом крикнули Гайда и Пепеляев.

Колчак отшагнул в сторону.

— Прице-ельно бьют! Сосредоточь-чьте огонь на часовне, оттуда стреляют. — И, передав бинокль адъютанту, пошел вдоль окопа.

Солдаты при приближении адмирала вскакивали, становились по стойке смирно. Колчак обратил внимание на маленького широкоплечего унтер-офицера, резко выделявшегося своей квадратной фигурой среди рослых стрелков. Лицо его показалось знакомым. Коренастый воин стоял, вытянувшись в струнку, но глаза улыбались адмиралу.

— Откуда будете, унтер-офицер? — тихо спросил Колчак.

— Крестьянин Егор Назаров Чердынского уезда Пянтежской волости, в-ваше Выс-сокопр-ревосходительство, — дрогнул голосом унтер-офицер.

— Лицо ваше мне кажется знакомым?

— Так точно, в-ваше Высокопр-ревосходительство. Воевал в японскую под вашим началом. Боцманмат миноносца «Сердитый».

— Д-да, Порт-Артур! В плену у японцев были?

— Был, ваше Высокопревосходительство. Возвернулся через Сибирь.

— А я через Америку, в апреле девятьсот пятого. — Колчаку вспомнился плен, Япония, долгая «болтанка» на судне из Нагасаки в Петроград через Соединенные Штаты, измучившая его некстати обострившимся суставным ревматизмом.

— Что скажете, если я предложу вам перейти на корабль? Мы создаем Камскую военную флотилию.

— Я бы остался здесь, с земляками, — растерялся неожиданному предложению унтер-офицер.

— Будь по-вашему. Да хранит вас Господь! — Колчак протянул руку и ощутил крепкое мужское пожатие.

Короток зимний день. Пока адмирал ходил по окопам, разговаривал с солдатами, начало темнеть. Направились обратно. Со стороны красных не стреляли — не видели.

Генерал Каппель стал главнокомандующим Белой армией на востоке страны после падения Омска. Фронт неудержимо катился назад. Армия таяла, паника разлагала некогда крепкие воинские формирования. Каппелю удалось остановить бегущие части, собрать воедино и дать противнику бой. Он разгромил под Красноярском передовые полки красных, повесил предателя генерала Зиневича, бывшего командира 1-го Сибирского корпуса. Затем, выполняя приказ Колчака, повел остатки армии на Иркутск, на соединение с войсками атамана Семенова. Им удалось оторваться от преследующей их Пятой армии большевиков.

Под командованием Каппеля было десять—пятнадцать тысяч солдат, казаков, офицеров, все, что осталось от двухсоттысячной армии Колчака. В рядах отступающих шли страшно поредевшие полки непобедимых дивизий — Ижевской и Воткинской, солдаты и офицеры Третьей егерской и Восьмой Камской дивизий, добровольцы генералов Войцеховского и Вержбицкого, пулеметчики генерала Волкова, казаки атамана Анненкова, красильниковские офицеры, сам Красильников умер от тифа.

Брошенные союзниками, чехами, угнавшими все вагоны и паровозы на восток, белогвардейцы вынуждены были пробиваться к Байкалу сво-

им ходом. Им предстоял тысячеверстный путь по старому Сибирскому тракту. В тридцати-сорокаградусные холода, в глубоких снегах шли солдаты, офицеры, усталые, обмороженные, ведя за собой женщин, детей, стариков, спасающихся от расправы комиссаров. Шли параллельно железной дороге по угрюмой тайге, среди враждебно настроенного населения, обозленного карательными отрядами чехов.

Группы партизан, орудующие вдоль магистрали, были сформированы большевиками на деньги ЦК партии из Москвы. В основе своей они состояли из уголовников и прочей воровской братии, а также новоселов, столяпинских аграрников, плохо устроившихся в Сибири, мечтающих пограбить богатое старожильческое население, достаток которого разжигал их аппетиты. Командирами нередко были бывшие каторжники или анархисты. Про них в народе сложили частушку:

Раньше был я жулик,
Лазил по карманам.
Нынче на войне я —
Красным комиссаром.

Но выдавали они себя за крестьян. Тактика их была примитивна: делали набег на железную дорогу, взрывали путь и тотчас исчезали — уходили в тайгу, отсиживались в глухих деревнях, пьянствуя и развратничая до следующего выступления. Чехи не хотели разбираться, ленились преследовать их, для острастки сжигали несколько близлежащих деревень, расстреливали ни в чем не повинных местных мужиков и снова возвращались на «железку», в теплые казармы. Так чехи навлекали гнев населения не только на себя — на всю армию Колчака.

Белая гвардия отступала, отражая атаки красных, с боями прорываясь через укрепленные районы мятежников, шла, устилая студеное безмолвное пространство своими телами. Люди умирали от пуль, умирали от тифа, умирали от голода.

Этот чудовищный ледяной поход через декабрьско-январскую Сибирь, оцетинившуюся враждебными штыками, возглавил сам главнокомандующий, тридцатилетний генерал-лейтенант Владимир Каппель. Он издал приказ, в котором сказал людям суровую правду: «На западе нас ждут плен и жестокая расправа, на востоке — свобода. Многие из нас погибнут в походе, но это будет солдатская смерть...».

В полущубке, крестьянских валенках, с японским карабином через плечо шел Каппель во главе колонны. Он ничем не отличался от других участников ледяного похода. Свирепый ветер со снегом сек его обмороженное, в темных пятнах лицо, борода и усы закуржавели, побелели, ресницы превратились в ледяные щетки, из-под них упрямо глядели на дорогу карие глаза. Ныло раненое бедро, но он, подавляя боль, старался шагать не хромя. Люди видели впереди себя его собранную фигуру, твердую походку и, измученные, подтягивались, мужественно переносили этот апокалиптический исход из русской земли, пробивались к Байкалу, до последнего веря в Бога и спасение.

Героем Каппель остался до конца. Отморозив ноги, он ехал верхом на лошади, увлекая за собой солдат. Но поджидала новая беда: конь его ухнул в речную полынью. После купания в ледяной воде Каппель свалился в жару и умер от воспаления легких на разъезде Утай под Иркутском. Он немного не дошел до конца пути. Тело любимого командира, завернутое в боевое знамя, белые воины везли с собой. И мертвый он

поддерживал их дух, звал на бой, на жертвы во имя спасения матери-России.

Умирая, Каппель продиктовал адъютанту обращение к сибирским крестьянам, моля поддержать погибающее Белое движение:

«За нами с запада подвигаются советские войска, которые несут с собой коммунизм, комитеты бедноты и гонения на веру Иисуса Христа. Где утвердится советская власть, там не будет трудовой крестьянской собственности, там в каждой деревне небольшая кучка бездельников, образовав комитеты бедноты, получит право отнимать у каждого все, что им захочется. Большевики отвергают Бога, и, заменив божью любовь ненавистью, вы будете беспощадно истреблять друг друга...».

В самом центре бунтующей магистрали, на станции Нижнеудинск поезд Колчака был окружен чешскими легионерами. Вокзал оцетинился пулеметами. К этому времени отношения между адмиралом и чехословацким командованием накалились до предела. Всю вину за поражение, за преступления, совершенные над населением, чехи сваливали на русскую армию и всячески выгораживали себя, еще в ноябре сочинив меморандум с клеветой на Колчака, его правительство и разослав его главам Антанты, пытаясь ввести в заблуждение мировое мнение.

Адмирал резко протестовал. Сейчас же чехи открыто содействовали выступлению эсеров. Союзники тоже приняли сторону Политцентра, заведомо предав Колчака, его армию, всю патриотическую Россию. Глава союзной миссии француз Жанен телеграфировал из Иркутска в Нижнеудинск чехам, чтобы не пропускали дальше поезд Колчака и «золотой» эшелон. Все это делалось якобы для того, чтобы обезопасить адмирала и сопровождавших его лиц от партизан и восставших: чехословацкие же войска брали его как бы под свою защиту.

Вечер. К обледеневшим окнам вагона вплотную подступила темнота. Неяркий свет лампы освещал кабинет. Колчак, сжав голову руками, навалился на стол. Одолевали тяжелые думы.

Победа была близка. В середине апреля его полки стояли у Волги. За месяц весеннего наступления Белая армия освободила от большевиков территорию в триста тысяч квадратных километров с населением более пяти миллионов человек. Было взято много пленных, захвачены богатые трофеи.

Наступление начала Сибирская армия. 7 марта ее войска взяли город Оханск, 8 марта — Осу, 7 апреля — Воткинск, 10 апреля — Сарапул, 13 апреля — Ижевск, 25 апреля — Чистополь. В мае сибирские части переправились через реку Вятку и готовились к штурму Казани. На Крайнем Севере, на реке Печоре, в ста пятидесяти километрах от Котласа, отряд лыжников соединился с воинами Архангельского антибольшевистского правительства.

Еще больший успех имела Западная армия генерала Ханжина. Ее дивизии 10 марта освободили Бирск. 14 марта — Уфу. В начале апреля они вышли на рубеж реки Ик. Здесь предполагалась остановка. Но легкость побед вскружила головы всем — от солдат и офицеров до главнокомандующего. Был отдан приказ идти безостановочно в район Самары на соединение с войсками Деникина, чтобы затем общими силами наступать на Москву. Теперь главным направлением становилось южное, а не северное, и главный удар наносила не Северная, а Западная армия. Для этого

следовало усилить Западную группировку войск, но этого не произошло. Хотя из Сибирской армии кое-что и взяли, но она все равно оставалась сильнее Западной. В этом сказались не столько слабость стратегического мышления белого командования, сколько огромные противоречия среди высшего военного руководства. Командующий Сибирской армией Гайда, завидуя успехам генерала Ханжина, ничем не хотел помочь Западной армии.

Внесли свою лепту в раздор и союзники. Они, точно лебедь, рак и щука, тянули русский воз в разные стороны. Англичане требовали наступать на Котлас, чтоб соединиться с их экспедиционным корпусом, идущим из Архангельска, и отрядами Миллера, действующими на Севере. Затем через Вологду, Ярославль ударить на Москву. Их можно было понять: в случае соединения доставка грузов будет облегчена — дорога из Англии до Архангельска во много раз короче пути до Владивостока, пути через три океана. Французы призывали идти на Царицын через казачьи степи, объединить оренбургских, уральских, донских, кубанских, терских казаков и единым фронтом с Деникиным двинуть на столицу, захваченную комиссарами. Японцы же, как крыловский рак, тянули назад. Подкармливая сепаратиста Семенова, замышлявшего создание Монголо-Бурятского княжества, они отвлекали часть войск, которые для противовеса адмирал держал на востоке. Он хотел очистить тыл от разбойничьего атаманского отребья — японцы не дали. Колчак понимал, что они ведут двойную игру: кто бы ни победил, белые или красные, они оставят Дальний Восток за собой, отрежут лакомый кус от России, а Семенов и К^о нужны им как представители богатейшего края, готовые выполнить любое поручение сюзерена вплоть до формирования буферного государства.

Западная армия продолжала активно наступать в направлении Самары. 7 апреля ее части заняли Белебей, 10 апреля — Бугульму, 15 апреля — Бугуруслан. Это привело к прорыву центра Восточного фронта красных. Ширина разрыва между 5-й и 2-й Красными армиями составила сто пятьдесят верст. Впереди не было сколько-нибудь значительных сил врага. Дивизии генерала Ханжина быстро двигались на запад.

Активизировали свои действия на юге фронта группа войск Белова, оренбургские и уральские казаки. Под их ударами пали Стерлитамак, Актюбинск и Лбищенск.

Большевикская верхушка почувствовала — у нее из-под ног уходит почва, и если не остановить армию Колчака, через месяц она будет в Москве. Перепуганные комиссары развернули бешеную кампанию по мобилизации рекрутов в Красную армию. Тон задал председатель Совнаркома Ленин. Он написал «Тезисы ЦК РКП «б» в связи с положением Восточного фронта», в которых «бил в набат»: «Победы Колчака на Восточном фронте создают чрезвычайно грозную опасность для Советской республики». Совнарком от 11 апреля объявил по стране мобилизацию трудящихся 1886—1890 гг. рождения. 25 апреля ВЦИК, Совет Оборона и Совнарком принимают декрет о мобилизации в армию среднего и бедного крестьянства по 10—20 человек от каждой волости. Мужчин прифронтовой полосы забирали в окопы всех, без разбора. Заводы Петрограда, Москвы, других городов формировали отряды рабочих. Не желающих идти воевать расстреливали.

Тотальная мобилизация позволила Советам в короткий срок усилить Восточный фронт. Армии, сражавшиеся против Колчака, получили 110 тысяч пополнения, в том числе более 2500 человек командного состава.

ва. Кроме того, было направлено 11 тысяч коммунистов и 3 тысячи комсомольцев. Добавочно Восточный фронт получил из сформированных в военных округах Совдепии одну стрелковую дивизию, две стрелковые бригады, одну кавалерийскую, два полка, пять бронепоездов. Это создало Красной армии более чем двойной перевес в живой силе над армией Колчака. (В начале наступления у белых было 130 тысяч бойцов, почти столько же было у красных.)

К тому времени боеспособность армии Колчака заметно понизилась: полки, наступавшие на Волгу, сильно поредели, добровольцы, составлявшие их костяк, в значительной степени выбыли из строя во время боев.

Но страх не давал Ленину покоя. 29 мая он телеграфировал Реввоенсовету Восточного фронта: «Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной. Напрягите все силы... Следите внимательно за подкреплениями; мобилизуйте поголовно прифронтовое население». И через десять дней снова истерическая телеграмма в тот же адрес: «... Вам надо перейти к более революционной военной работе, разрывая привычное. Мобилизуйте в прифронтовой полосе поголовно от 18 до 45 лет, ставьте им задачей взятие ближайших больших заводов, вроде Мотовилихи, Миньяра, обещая отпустить, когда возьмут их, ставя по два и по три человека на одну винтовку, призывая выгнать Колчака с Урала».

Белая армия остановилась в тридцати верстах от Волги. Из-за быстрого марша передовых частей и весеннего бездорожья тылы отстали. Подкреплений не было. Линия фронта неимоверно растянулась. В мае, под напором численно превосходящего противника, колчаковцы начали отступать. После кровопролитной Уфимской битвы, длившейся почти месяц, — с 25 мая по 19 июня — стратегическая инициатива перешла к красным. Наступление, так успешно начавшееся, закончилось поражением.

Сейчас за его спиной ведется нечистая игра, и в этой игре он, Колчак — разменная фигура. Союзники могут выдать его большевикам, фактически заправляющим Политцентром эсеров, который пытается овладеть положением на магистрали от Красноярска до Иркутска. Он знал — комиссары в случае невыполнения их требований союзниками грозили взорвать Крутобайкальские туннели, что наглухо перекрыло бы железнодорожный путь к Тихому океану. Генерал Жанен, обеспечивающий выезд союзнических отрядов и поездов с иностранными миссиями, пойдет на любой выкуп за дорогу на восток. Верные части Каппеля бьются далеко на западе, Семенов с казаками находится за Байкалом, но на него надежды мало, хотя он и обещал взять Иркутск и раздавить прокомиссарский Центроуп. Здесь же у него лишь конвой — шестьдесят офицеров и пятьсот солдат. Солдаты надежные, уроженцы Европейской России и Приуралья. Это крестьяне, хлебнувшие коммунистических порядков, бившиеся с красными сознательно и твердо. И потом им в отличие от сибиряков не было другого пути, как с армией — дома остались за Уралом. Но их мало. Что они могут сделать против тысячных формирований врага? Погибнуть! Единственный выход — распустить конвой, предоставив солдатам полную свободу действий. Самому же — положиться на порядочность союзников и под охраной чехов добраться до Иркутска, где еще ведут переговоры с Политцентром чрезвычайная тройка его правительства. А за Иркутском — районы стабильные, не зараженные коммунистическим вирусом: казачье Забайкалье, Дальний Восток, где стоят войска испытанного генерала Розанова.

Кстати, там же «мутит воду» Гайда. Он пытался организовать против

него восстание во Владивостоке. Никак не может простить ему отстранения от командования армией. Память перенесла Колчака назад, в прошедшее лето...

Одолев Уральские хребты, поезд легко бежал по равнине. Леса перемежались с лугами, все зеленело, шло в рост. Травы, густые, сочные, вымахали в пояс, кое-где уже начался сенокос, и блестящие литовки косарей высекали на лезвиях солнечные искры. Маленькие тихие речушки с берегами, заросшими осокой, желтыми кувшинками, камышом, манили к себе, звали походить босиком, окунуться в чистые прохладные струи. Мимо окон вагона проплывали деревеньки, окруженные полями с зеленеющими всходами.

Адмирал ехал в Пермь «усмирять» Гайду. Командующий Сибирской армией отказался выполнять приказы Омска и потребовал смещения начальника штаба ставки Дмитрия Лебедева, обвиняя того в даче преступных директив, неумелом и вредном оперативном управлении армейских соединений. В противном случае Гайда грозился отвести войска с фронта. Вдобавок ко всему он предлагал назначить себя командующим всем фронтом.

Да, видимо, прав был чешский министр Стефанек, когда говорил ему, удволявляя просьбу оставить Гайду на русской службе: «Гайда будет либо вашим фельдмаршалом, либо изменником».

Это был смелый, напористый чех с замашками Наполеона. Когда в четырнадцатом году началась мировая война, Родион Гайда был фельдшером австро-венгерской армии. Вскоре он перешел на сторону «братьев-славян», сражался в войсках черногорцев, сербов. Тогда многие чехословацкие части Австро-Венгрии перешли на сторону Российской империи. Гайда был переведен в одну из таких частей — второй чехословацкий полк младшим офицером. Впоследствии командовал ротой, батальоном, полком. Награжден русским офицерским Георгиевским крестом 4-й степени. Закончил войну в чине капитана.

Весной 1918 года чехословацкие войска через Владивосток направились в Западную Европу, на французский фронт, чтоб помочь Антанте одолеть немцев. Большевики, исполняя волю своего патрона — Германии, начали разоружать чехов. Чехи воспротивились. С этого конфликта и началась Гражданская война в России. Началась она между большевиками и чехами, и эта небольшая воронка впоследствии разрослась в гигантский водоворот, втянувший в себя огромную страну со ста восемьюдесятью миллионами жителей.

Эти события застали Гайду в Сибири, в Новониколаевске. Эшелоны чехословацкого корпуса растянулись на необъятных русских просторах от Волги до Тихого океана: в то время как некоторые части легионеров еще грузились в Пензе в вагоны, другие уж подъезжали к Владивостоку. Когда новониколаевские комиссары потребовали от Гайды и его подчиненных сдать оружие, он приказал солдатам арестовать местный совдеп.

Поддержав патриотическое движение сибиряков, вместе с нарождающимися белыми отрядами громил большевиков. Перешел на русскую службу. За успешные боевые действия в Восточной Сибири получил звание полковника. Торговые люди Томска устроили своему освободителю торжественный прием, преподнесли Гайде гусарскую саблю толедской стали с эфесом из чистого золота и гравировкой: «Рази и побеждай!».

Военная карьера бывшего австрийского фельдшера была стремительной: менее чем за год он стал генерал-лейтенантом, командующим Сибирской армией.

Адмирал знал непомерные амбиции Гайды, но что дело дойдет до неисполнения приказов — не ожидал. В такое тяжелое время, когда Западная армия отступает, а левый фланг Сибирской разбит, затевать распри?!

Колчак интуитивно чувствовал неискренность Гайды. Тот упорно не хотел помочь командующему Западной армией Ханжину ни людьми, ни оружием, ни боеприпасами. А возможность для этого была: красные не вели активных боевых действий против его дивизий, за исключением левого фланга, склады же армии ломились от оружия, продовольствия, обмундирования. Судьба фронта, судьба Белого движения решалась там, под Уфой, на позициях Западной армии.

Создавалось впечатление, что Гайду не интересуют русские дела: он был ярким сторонником наступления на Вятку— Вологду, потому что в случае победы открывался кратчайший путь в Чехию через Архангельск. При этом он бы явился на родину национальным героем, спасшим пятьдесят тысяч ее сынов.

Да и что можно ждать от чешского волонтера, как и от его соплеменников? Это они, чехи, спровоцировали вооруженное выступление против Советов, когда оно было совершенно преждевременно, когда российский мужик еще полностью не осознал гибельность новой власти, а в Сибири она только народилась и не успела выпустить свои кровавые когти. Спровоцировали и через несколько месяцев бросили фронт, оставив малочисленные сибирские части один на один с революционной ордой. Бросили потому, что Германия капитулировала, а союзник немцев — русские большевики — ничем Англии, Франции, Америке да и чехам не угрожали.

Пока дела шли успешно, пока Сибирская армия наступала, а слава его росла, Гайда никаких претензий к ставке не предъявлял. Но вот армия забуксовала, а корпус генерала Вержбицкого покатился назад — и Гайда растерялся. Полководческие таланты его лопнули, как мыльный пузырь. Да их, наверное, и не было, вся стратегия его основывалась не на тщательной разработке операций, а лишь на дерзости и молодом запале, и тогда Гайда решил свалить вину на начальника штаба ставки Лебедева.

Как встретит самолюбивый командарм? И встретит ли вообще? Колчак решил твердо: в случае неподчинения арестовать Гайду и отправить в Омск. Для этого он взял с собой весь личный конвой и Екатеринбургский батальон охраны ставки.

Вот и Пермь. Гайда встретил Верховного правителя и Верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами России адмирала Колчака с положенными почестями. Как только почетный караул покинул платформу, вокзал занял адмиральский конвой, изготовившийся к схватке. Колчак пригласил Гайду в свой вагон. Тот повиновался, вошел. Рослый, важный, в начищенных до блеска сапогах, шпоры звенят, на боку гусарская сабля, эфес которой украшен полуторами фунтов чистого золота. На плечах — генеральские погоны, во всю грудь — кресты, на шее — орден Георгия 3-й степени. Галифе, гимнастерка — все с иголочки.

Колчак глазами указал на место за столом, напротив себя. Гайда сел. Колчак жестко посмотрел в белое крупное лицо командарма и в упор спросил:

— Намерены ли вы исполнять мои приказания?

Гайда был шокирован этим прямым вопросом, замешкался, но вида не подал, ответил твердо:

— Та, но поскольку они не будут мешать моим оперативным распоряжениям.

— Вы мне ставите условия?! Это следует понимать как отказ? — черные пронизательные глаза Колчака недобро блеснули.

— Это означай отказ подчиняться Лебедев. — Гайда плохо говорил по-русски, а когда волновался и вовсе путался.

— Лебедев является начальником штаба ставки Верховного главнокомандующего. Отказ подчиниться ему есть факт неподчинения мне. В таком случае я отстраняю вас от должности командующего Сибирской армией. Требую сдать командование начальнику штаба армии генералу Богословскому и немедленно следовать в Омск.

Гайда сбивчиво начал оправдываться:

— Я поступай так из лучших побуждений. Я хотел спасти армию! Распоряжения штаба губят армию.

— Почему вы молчали до сих пор? Почему не докладывали мне?! Это была ваша прямая обязанность как командарма!

Колчак окончательно убедился — интересы армии были лишь предлогом, настоящая же причина — обиженное самолюбие и зазнайство Гайды.

Гайда, не ожидавший такого резкого поворота событий, растерялся. Несколько минут молчал, затем взорвался:

— В случае мой уход с поста командующий войска бегут, армия будет разложена!

Колчак, с трудом сдерживая гнев, сжал руками подлокотники с такой силой, что пальцы побелели.

— За последствия отвечаю я, Верховный главнокомандующий!

Вздурораженный Гайда начал кричать, перемежая русские слова с чешскими так, что невозможно было разобрать, о чем он говорит.

Колчак охладил его пыл:

— Я ставлю ультиматум: или вы в течение двух часов выезжаете из Перми в звании командующего армией, или я арестую вас.

Гайда сник, сжался. Прошло несколько тягостных минут. Он встал, щелкнул каблуками, глухо выдал из себя:

— Я солдат и полученный приказ выполняю.

Гайда поездом отбыл за Урал.

В кабинет вошел адъютант адмирала старший лейтенант Трубчанинов, стройный, подтянутый. Всегда энергичный и жизнерадостный, сейчас он несмело остановился за порогом, на лице выражалась крайняя озабоченность. Было видно, что он в чем-то колебался, что в душе его таилась тревога. Наконец, решил, твердым шагом подошел к столу.

— Ваше Высокопревосходительство, разрешите обратиться?

Колчак молча кивнул, показал рукой на стоящее напротив кресло. Трубчанинов опустился на краешек, сидел скованно, с прямой спиной, от волнения терял темляк шашки.

— В-ваше В-высокопревосходительство, — голос его напрягся, зазвенел. — Господа офицеры конвоя поручили мне переговорить с Вами по неотложному делу.

Колчак вздрогнул, длинные ресницы его взметнулись вверх, глаза оживились.

— Я слушаю Вас.

— Учитывая сложившуюся обстановку, я бы сказал преступное пове-

дение чехов, господа офицеры представляют Вашему Высокопревосходительству свой план отступления.

Трубчанинов умолк, затем, видя, что адмирал внимательно смотрит на него, ждет — продолжил:

— План заключается в следующем. Оставить железную дорогу, перебраться на коней и идти в Монголию. У нас достаточно сил и оружия, пробьемся через отряды мятежников и партизанские заслоны...

— Значит бежать! — воскликнул, не дав ему договорить, Колчак.

— Почему бежать? Отступить! Может, этот кружной путь будет короче прямого рельсового, и мы быстрее окажемся за Байкалом.

— Может, вы и правы, и это единственный путь к спасению. Но я не могу бросить армию! — горячо возразил адмирал, в голосе его задрожали металлические нотки.

Он весь подался вперед, глаза его метали молнии, в нервных пальцах хрустнул карандаш. Он с досадой швырнул обломки на пол и так же запальчиво продолжал:

— Я не покину армию! Это будет предательством солдат и страны! Я должен быть с ними вместе и испить горькую чашу до дна. Как вы могли додуматься до такого?!

— Тогда давайте пробиваться по магистрали, — смутился Трубчанинов, он понял, что этим предложением обидел адмирала. — У нас много пулеметов, мы разметим чехословацкое окружение.

— Здесь прорвем блокаду — дальше останоят, — задумчиво проговорил Колчак, успокаиваясь. — Рельсы разберут, паровозы разморозят — на любую подлость пойдут. Да и провоцировать военное столкновение с чехами — не время.

Колчак откинулся на спинку кресла, обхватил длинными пальцами подлокотники, прикрыл веки. Трубчанинов сидел не шелохнувшись, ждал. Он чувствовал, что адмирал собирается сообщить что-то важное. Минуты тянулись томительно долго. Наконец Колчак открыл глаза, выпрямился, придвинулся к адъютанту.

— Благодарю, старший лейтенант, за заботу обо мне. Передайте мою признательность и господам офицерам, но принять ваш план не могу. Я уже принял решение! — Распускаю конвой, даю полную свободу солдатам и офицерам. Сам принимаю предложение союзников и под охраной чехов следую в Иркутск к моему правительству.

— Александр Васильевич! Союзники предадут вас! — Трубчанинов от досады стукнул ножами шашки о пол.

— Не исключаю и такой вариант, но в этом случае пострадаю я один, а если со мной будет охрана, погибнут все. Поэтому объявите солдатам и офицерам конвоя — они свободны. Поблагодарите их от моего имени за верную службу.

— Мы не можем вас оставить, это преступно! — вскочил Трубчанинов. — Вы не имеете права приносить себя в жертву!

— Успокойтесь, старший лейтенант! Я думаю, до этого дело не дойдет. Генерал Жанен должен выполнять обязательства, он дал гарантии. — Колчак резко поднялся, вышел из-за стола, приблизился к адъютанту. — Вы также можете определить свою судьбу и уйти вместе со всеми. И помните: мы не зря сражались, это не конец — люди когда-нибудь прозреют, и пусть через годы, но национальная Идея восторжествует! — Он ласково посмотрел на адъютанта. — Ступайте, старший лейтенант!

Трубчанинов отдал честь, круто повернулся и медленно вышел из вагона.

Колчак за эту ночь поседел. Почти все солдаты покинули его. Он видел, как они по одному, точно в пучине океана, растворялись в темноте. Сердце щемило. Офицеры в большинстве остались.

Утром Колчак из своего поезда перешел в вагон второго класса. В нем же разместились Анна Васильевна Тимирева и офицеры штаба. Вагон адмирала вместе с вагоном его премьер-министра Пепеляева был прицеплен к эшелону 1-го батальона 6-го чешского полка. На стенках вагона красовались американский, английский, французский, японский, чехословацкий флаги. Рядом с ними — русский андреевский.

Под охраной чехов выехали из Нижнеудинска. На станциях Зима, Черемхово поезд задерживали, число охраны росло. К чешским легионерам добавлялись вооруженные дружинники Политцентра, и соотношение быстро увеличивалось в пользу последних.

На станцию Иннокентьевская, что в семи верстах от Иркутска, прибыли с рассветом 15 января 1920 года. Два батальона мятежников с пулеметами окружили вокзал и были готовы взорвать полотно дороги за станцией, чтобы не пропустить на восток поезд с Верховным правителем и «золотой» эшелон. Паровоз тотчас отцепили. Из поезда никого не выпускали. Простояли целый день.

Около десяти часов вечера в вагон адмирала поднялся дежурный чешский офицер Боровичка, круглый, упитанный; вслед за ним — заместитель командующего войсками Политцентра штабс-капитан Нестеров с конвоем. Колчак сидел на диване, рядом с ним — Тимирева, их окружали офицеры. Боровичка встал перед адмиралом во фронт и бесстрашно, с сильным акцентом выпалил:

— Косподин атмира-ал! Прикотоф-фьте ваши вэци. Сейчас вас пэредаем мэстным властя-ям!

Ошеломленный Колчак вскочил, воскликнул:

— Значит, союзники предали меня?!

Анна Васильевна взяла его за руки, взглядом умоляла успокоиться. Но он уже овладел собой.

Попрощался с офицерами. Молча глянул большими черными глазами на Анну Васильевну, обдав ее печалью и нежностью. Долго не отрывал взор, стараясь навсегда запомнить милый образ: «Может, в последний раз видимся!». Прочел в ее взгляде любовь, тревогу и верность. Легким кивком головы поклонился ей, повернулся, пошел к выходу.

Их с Пепеляевым привели на вокзал, в комендатуру. Там за массивным дубовым столом, покрытым зеленым сукном, набычившись, в романовском полушубке, перепоясанном ремнями, и офицерской папахе сидел, как потом стало известно, большевик Бурсак, фактический комендант Иркутска. Возле него стоял военный без погон, по-видимому, помощник. По довольной, самоуверенной физиономии Бурсака, вальяжной позе его Колчак понял, что он и является режиссером этого спектакля, поставленного по сценарию генерала Жанена, чехов и московских наркомов. А «центропупщик» Нестеров лишь подставная пешка, мальчик на побегушках.

— Имеется ли у вас оружие? Если есть — прошу сдать, — деликатно, будто чувствуя вину, обратился к арестованным Нестеров.

Колчак вынул из кармана револьвер и вручил помощнику коменданта. Тот подобострастно передал его Бурсаку. Тут же был составлен акт

передачи арестованных Политцентру. Его подписали представители командования чехословацкого корпуса и Нестеров. После этого усиленный конвой повел Колчака с Пепеляевым по льду Ангары на правый берег.

Стоял поздний зимний вечер. Небо затянули черные рваные облака, но от чистого белого снега дорога все-таки виднелась. Где-то далеко были волки, и звук этот, тоскливый и страшный, бередил души обреченных.

На том берегу, на городской стороне их ждали автомобили. Народа не было — лишь оцепление солдат. Колчака с Пепеляевым рассадили по разным автомобилям и темными иркутскими улицами повезли в тюрьму.

Вернувшись в камеру, адмирал устало опустился на койку. Тяжелое предчувствие овладело им. Сегодняшний допрос насторожил. Внешне он мало отличался от прежних, но целенаправленные вопросы, торопливость следователей, еле уловимое бегание их глаз... Сквозняком веяло от поведения членов следственной комиссии, они точно совершали ненужные формальности, когда решение уже принято. Чуткий на фальшь, прекрасно улавливающий нюансы человеческой души, Колчак все понял.

Ко-нец! Каппелевцы у ворот Иркутска, Войцеховский требует у большевиков моей выдачи. Но совдеп не выпустит из своих лап. Удавит, но не выпустит. Значит, конец! Что ж, адмирал, соберись с силами. Встречай закат жизни, как подобает офицеру и гражданину. А сейчас, пока есть время, проанализируй события. Возможно ли было остановить большевистское нашествие? Все ли ты сделал для этого? Почему поражение?

Да потому, что 8-миллионная Сибирь сражалась со 100-миллионной Россией, одурманенной большевизмом. Потому, что в своем Отечестве пророка нет, русский человек верит любому заезжему шарлатану, а не своему единокровному брату. Поверили завезенной из Германии коммунистической идее, красивым лозунгам «Мир — хижинам, война — дворцам!», «Фабрики — рабочим, земля — крестьянам!», сказке о всеобщем рае. Потому, что большевики действовали нагло, отринув всякие нормы морали, шли на все, лишь бы удержаться у власти. Они ввели в стране неслыханный террор, в прифронтовой полосе загоняли в Красную армию все мужское население от 18 до 45 лет, реквизировали у крестьян лошадей, скот, продукты, фураж, забирали последнее, оставляя их один на один с голодом...

Проиграли потому, что имущие — дворяне, купцы, фабриканты, аристократы, эти помещики и капиталисты, к войне с которыми призывали народ комиссары, вели себя преступно, не принимали участия в борьбе, «боялись замочить калоши». Это изнеженное общество удрало за границу, а кто не успел, трусливо жалась по углам. Некоторые в открытую помогали большевикам, а такие как Савва Морозов, Мамонтов, Мешков, даже субсидировали революцию, снабжали чужестранных марксистов, этих жуков-древоточцев государства Российского деньгами, валютой, прятали их от полиции в своих особняках. Банкиры, промышленные тузы, купеческие воротилы, знатные самодуры отсыпали миллионы рублей в карманы злейших врагов монархии и России. Надоел им, «беденьким», бутерброд с икрой, захотелось черненького хлебца с мякиной. С жиру бесились, господа! Мужику же русскому, их кормильцу и поильцу, темному, неграмотному, копейки не дали на улучшение жизни. Не пожертвовали богатеи и на Белую идею, не раскошелились на святое дело защиты страны и народа от эпидемии красной чумы. Зато потом под дулами револьверов чека платили Советам миллионные контрибуции.

И российские интеллигенты, с юных лет отравленные злыми испарениями темного культа «великой» революции, ползали перед кумирами «прогрессивной общественности» на брюхе, пресмыкались перед «просвещенными демократиями Запада» и более всего боялись показаться недостаточно либеральными. Неизменно, до рокового конца ухаживали они за смутьянами и унижали вверенную им свыше власть перед выскочками и наглецами антигосударственной Думы и большевиками, всячески отреклись и отплевывались от общения с народом, делали все, чтобы развалить и свести на нет самодержавие. В благодарность от комиссаров это иудино племя получило кто пулю в затылок, кто тюрьму...

И многие кадровые офицеры изменили своему долгу, не хотели идти на фронт, наводнили улицы тыловых городов Омска, Иркутска, Владивостока. А некоторые в открытую служили врагу: в Красной армии только офицеров, окончивших Академию генерального штаба, было четыреста пятьдесят человек.

В то же время эсеры — эти вторые большевики — организовывали в тылу Белой армии заговоры, восстания.

Кто бился насмерть с большевиками на Восточном фронте? Офицеры, гимназисты, сибирские, уральские, волжские крестьяне, ижевские, воткинские рабочие.

Кто же были руководители Белого движения, эти «эксплуататоры, владевшие сотнями гектаров земли с тысячами подневольных крестьян, фабриками и заводами», как трубила коммунистическая пропаганда? Кто эксплуататор? Он, адмирал Колчак — сын морского офицера, бескорыстно служивший Отечеству на фронтах и во льдах Арктики и ничего, кроме личных вещей в чемодане, не имевший?! Генерал Деникин, фронтовик, живший на жалованье за военную службу, отец которого в молодости был крепостным?! Или генерал Алексеев — сын фельдфебеля? А может, генерал Корнилов — потомок сибирского казака, или генерал Болдырев — сын пензенского крестьянина?! Разве они эксплуататоры? Не было их в белом стане.

Зато они были в красном. Троцкий — крупный херсонский землевладелец. Свердлов — сын владельца граверной мастерской и внук саратовского купца. Ленин — дворянин, до 1917 года нигде не служивший, не работавший. За счет кого он жил сорок семь лет до того, как стал Председателем Совнаркома и, наконец-то, начал зарабатывать свой кусок хлеба? Да за счет все того же русского мужика, которого затем оплевывал с ног до головы и обозвал лентяем.

Хотя нет, сказать, что он нигде не работал, не совсем правильно, остались достаточно точные следы от крупных сумм, которые платный агент Германии Владимир Ульянов-Ленин получал из немецкой казны за подрывную деятельность против России.

Глава германских вооруженных сил генерал Э. Людендорф в интервью, опубликованном в воскресном выпуске «Фрайе Прессе» 18 ноября 1917 года, откровенно признался: «Русская революция для Германии не случайная удача, а естественный результат германской политики».

А может, адмирал, они победили потому, что ты вел честную борьбу, не хотел поступиться принципами, в то время как московские хамодержцы вообще никаких правил человеческой морали не признавали? Ты не хотел отдать ни пяди родной земли. Маннергейм предлагал тебе двинуть стотысячную финскую армию на красный Петроград в обмен на признание независимости Финляндии. Ты категорически отказался, а больше-

вики — признали. Подобное предложение было и из Эстонии. Ты — отказал, большевики — признали. Ты, имея огромный золотой запас, не считал вправе расходовать его, берег для будущей Единой Неделимой России и печатал бумажные деньги «сибирки», ничем не подтвержденные. В это же время комиссары регулярно вывозили в Германию русское золото, драгоценности, погашали долг миллионов рублей, отпущенных кайзером на организацию большевистской революции. Триста тысяч иностранцев воевали в рядах Красной армии. Это в основном были бывшие военнопленные России из Германии и Австро-Венгрии: немцы, австрийцы, венгры, чехи, хорваты, а также китайцы, корейцы, до этого работавшие на уральских заводах и шахтах. Грозные большевики на Урале и в Сибири были все либо иноземцы, либо иноплеменники вроде латышей. И отношение к ним населения было как к «дьявольскому наваждению». Местные же коммунисты были неустойчивы и не страшны.

Надо отдать должное комиссарам. Эти «черти» в кожаных куртках трудились по-дьявольски, зло и результативно, не считаясь со временем. Безусловно, их сатанинская идеология идти к цели невзирая ни на что, по трупам и крови, несовместима с человеческой природой. Вся эта камарилья хитра и жестока. Но что есть, то есть: своего добиваться они могут.

Помощники же адмирала, даже министры, честности и порядочности которых он верил, не удовлетворяли его как государственные деятели. Они не могли изжить старых бюрократических привычек. Даже время службы сделали себе, как в мирные времена: с 10 часов утра до 4—5 вечера с перерывом на обед. Тяжело было работать с вялым, безынициативным Советом министров. Пока они готовили закон о земле, где хотели сделать, чтоб и помещики были сыты и крестьяне накормлены, комиссары, недолго думая, выбросили лозунг «Земля крестьянам!» и этим перетянули большинство земледельцев на свою сторону.

И союзники вели себя более чем странно. Они не хотели признать правительство Колчака, заигрывали с большевиками, особенно американцы, чей президент Вильсон обращался с приветствием к московским комиссарам. Они колебались, не зная, чью сторону принять, вернее, их устраивали хаос и междоусобная бойня в павшей империи. Их страшила могучая Россия. Америка боялась ее и вступила в мировую войну на стороне Антанты лишь после свержения самодержавия. Она хотела ослабить Россию до конца. Также боялись своего монархического союзника Англия и Франция, боялись, что могущественная Россия вступит в Берлин и экономически потеснит их в Европе.

Союзники ввели свои войска в Сибирь в противовес воюющей Германии: чтобы она не могла через большевиков воспользоваться военнопленными немцами, австрийцами, венграми, турками и пополнять свои ресурсы сибирскими запасами, а не ради помощи русским. После капитуляции Германии осенью 1918 года они не вели активных боевых действий, их войск не было на фронтах гражданской войны.

Глухая ночь. В камере холодно, не топлено. Колчак медленно ходит от стены к стене. Сон не идет. На душе зябко, неудобно. Он чувствует — сегодня за ним придут. Надел шинель, папаху. Согрелся.

Резкий лязг запоров хлестнул по нервам. Как ни ждал Колчак — вздрогнул. Дверь с грохотом распахнулась. В камеру ввалились вооруженные люди и сгрудились у порога. Вперед несмело, как-то боком, вышел Самуил Чудновский — председатель Иркутского губернского чека. Ма-

ленький, коренастый, он двигался мелкими шажками, сильно угнув голову вперед, точно хотел боднуть кого-то и в то же время опасался получить сдачу. Шуба, по-видимому, с чужого плеча, была ему велика. Черная круглая шапка нахлобучена по самые брови, из-под которых метался злой, настороженный взгляд. Большой маузер в деревянной кобуре, висящий на боку, подчеркивал несуразность фигуры.

Колчак знал его. Чудновский вел допросы. После захвата власти в Иркутске и Политцентре большевики изгнали из всех органов эсеров и меньшевиков, взяли под свой контроль и Чрезвычайную следственную комиссию. Председателем ее назначили предгубчека Чудновского.

Керосиновые фонари в руках пришедших слабо освещали мрачное помещение, отбрасывая на стены фантастические тени. Чудновский скобочился, запустил руку во внутренний карман, вытащил вчетверо сложенный листок, развернул.

Колчак видел теперь только руки Чудновского, держащие бумагу. Они словно загнипотизировали его. Волосатые, поросшие густой черной шерстью, эти руки дрожали, и в такт им, точно осиновый лист, трепыхался листок бумаги.

Чудновский, злясь на себя за неожиданную, не свойственную ему растерянность, за дрожащие руки, тонким, рвущимся голосом начал читать:

— Постановление Иркутского военно-революционного комитета № 27 от 6 февраля 1920 года... — Слова, точно иглы, кололи слух, ранили сознание адмирала. —... Верховного правителя адмирала Колчака и бывшего председателя Совета министров Пепеляева расстрелять.

Будто током ударило:

— Как! Без суда? — воскликнул Колчак.

В ответ тишина. «Да какой суд! О чем я спрашиваю? — пришел в себя адмирал. — С кем я имею дело?! С хамами, втоптавшими в грязь закон, право и честь!».

— Хотите что-либо передать, сообщить перед смертью, адмирал? Сделать заявление? — игриво спросил осмелевший Чудновский, видя, что Колчак после страшного известия не бросается на него, не закатывает истерику.

— Прошу свидания с госпожой Тимиревой. Проститься.

Обвальный хохот потряс воздух мрачного помещения. Молчавшие до того комиссары и тюремщики беспричинным оглушительным смехом снимали с себя нервное напряжение. Идя сюда, даже многочисленные, вооруженные, они боялись грозного адмирала.

Колчак гневно посмотрел на беснующуюся толпу. Его большие черные глаза расширились, испепеляющий огонь ненависти обрушился на врагов. Хохот оборвался. Они, только что празднующие победу, опустили глаза, не могли выдержать тяжелого уничтожающего взгляда узника. Он запахнул шинель, шагнул к двери, толпа расступилась, пропуская.

Шли тюремным коридором. Возле камеры Тимиревой Колчак задержал шаг. Он увидел, что с той стороны двери к волчку прильнула она, жгуче ощутил на себе ее взгляд. «Прощай, голубка, любимая! Я буду ждать тебя там, на небе», — одними губами вымолвил он и, склонив голову, рванулся вперед, чуть не сбив с ног ближнего конвоира.

На улице мороз под сорок. В небе полная луна. Безоблачно. Ясная светлая ночь, сказочная, точно во сне. Видно как днем, лишь синей дымкой подернуты очертания предметов. Снег какой-то фиолетовый, нереальный, хрустит под ногами холодно и жестко.

Колчак, за ним Пепеляев медленно идут по зимней безмолвной пустыне. Два кольца охраны окружают их. Первое, внутреннее, составляет караул тюрьмы. Второе, внешнее и соответственно большее кольцо — специальная команда из проверенных коммунистов, подготовленная комендантом города Бурсаком. План казни Колчака разработан иркутским ревкомом тщательно и детально. На случай, если караул тюрьмы вдруг откажется стрелять в Колчака или, не дай бог, взбунтуется, специальная команда из коммунистов уничтожит солдат заодно с адмиралом и Пепеляевым.

Тишина. Лишь со стороны железнодорожной станции Иннокентьевской, что под самым Иркутском, слышны оружейные и ружейные выстрелы. Это наступает на город генерал Войцеховский.

«Молодцы, каппелевцы, — дошли! Выполнили приказ, — думал адмирал, слушая то затихающую, то вновь усиливающуюся стрельбу. — Владимир Оскарович, видимо, погиб, раз командование группой принял генерал Войцеховский. Жаль Каппеля, очень жаль — прекрасный человек и талантливый офицер! Теперь войска прорвутся за Байкал, соединятся с казаками Семенова».

Каноада на Иннокентьевской ободрила Колчака. Да, я иду на расстрел, но войны мои наступают, и это лучший подарок. Я умру под звуки боя, как солдат, разделю судьбу своих павших товарищей. Это ли не высшая честь для воинского начальника. А ночь какая! Чудная! Небо словно хрустальный свод волшебного дворца! Вокруг божественное сияние. Больно умирать в такую ночь! Хочется жить! Мне всего сорок шесть... Хватит, брат! Это уже сантименты...

Усилим воли Колчак перевел мысли в иную плоскость. Пришел конец земному пути. Правильно ли ты шел? Что сделал для Отечества? Для людей? Кого обидел? Перед глазами Колчака в лихорадочном калейдоскопе пронеслась вся его короткая, но богатая событиями жизнь.

...Выходец из традиционно военной семьи, воспитанник Морского корпуса, лучший по наукам гардемарин, мичман крейсера. Адмирал Цыбинский, под чьим командованием Колчак начинал службу, так аттестовал его: «Это необычно способный, знающий и талантливый офицер. Обладает редкой памятью, владеет прекрасно тремя европейскими языками, знает хорошо лоции всех морей, знает историю почти всех европейских флотов и морских сражений».

Полярный исследователь, лично знакомый с адмиралом Макаровым и норвежским путешественником Нансенем. Первое полярное путешествие по морям Северного ледовитого океана с экспедицией Толля на шхуне «Заря» длилось три года.

Когда началась русско-японская война, он добровольцем уехал в Порт-Артур. Сражался на море — капитан миноносца «Сердитый». Организовал минное заграждение у входа в гавань, на котором взорвался японский крейсер «Такосадо», после чего японцы больше туда не совались. За доблесть вручено Георгиевское оружие.

Когда центр тяжести войны переместился на сушу, командовал артиллерийской батареей на берегу. Был командиром той самой батареи, которая вела огонь до последнего снаряда. И он, раненый, не покинул позиций до конца — падения крепости. Восхищенные отвагой, японцы оставили ему золотое Георгиевское оружие и предложили лечиться в Японии. Колчак предпочел вернуться домой.

В Петербурге он взялся за создание Генерального морского Штаба,

чтобы впредь русскому флоту не допускать позорных поражений. А в 1909-1910 годах — новая полярная экспедиция на кораблях конструктивно нового ледокольного типа «Вайгач» и «Таймыр», построенных под его руководством. После экспедиции, обогатившей Российскую империю, вновь возвращение к военной службе.

Его научные работы публикуются во многих странах. Широка известность лучшего в мире специалиста по минированию морей и самого молодого командующего флотом. То, что во время Первой мировой войны вражеские корабли не смогли приблизиться к русским побережьям и в Балтийском, и в Черном морях, военные авторитеты поставили ему в заслугу. Но то, что не удалось вражеским флотам, после февральской революции удалось сделать «р-р-революционными» лозунгами. Русский флот разваливался на глазах, и он сложил с себя полномочия командующего Черноморским флотом. Когда революционные матросы, взбудораженные петроградскими комиссарами, пришли его разоружать, Колчак выбросил кортик за борт: «Море дало, море пусть и заберет».

На одном из митингов пропагандисты обвинили его в том, что он якобы потому так храбро воюет, что боится потерять многочисленные капиталы и помещичьи земли. У него же, кроме оружия и орденов, ничего не было. Как выдающемуся специалисту по морскому минированию, ему предлагали остаться в Америке и Англии. Но он не мыслил себя без Родины.

Родина тоже любила своего сына. Его труд гражданский и военный отмечен наградами: Большая Константиновская золотая медаль Русского географического общества, орден Святой Анны четвертой степени, орден Святого Станислава второй степени, орден Святого Георгия третьей степени, Георгиевское оружие — золотая сабля с надписью «За храбрость», три двуглавых орла (адмиральские знаки отличия) опустились на его погоны, его именем назван остров в Северо-Восточном заливе.

Воевал, защищал Россию от недругов, исследовал Север с целью хозяйственного использования этой суровой земли во благо соотечественников. Был уверен: северный путь проводки судов из Архангельска во Владивосток возможен и принесет державе огромный выигрыш.

Потомки поймут и используют эти разработки. А вспомнят его или нет — не суть важно, Бог им судья! Главное — польза будет. О своем животе никогда не заботился, сражался во всех войнах, что выпали на долю его поколения, а они шли неотвратимой чередой: Русско-японская, Германская, Гражданская. Вся жизнь прошла в разъездах, каютах кораблей, гостиницах, на временных квартирах. Не запятнал своей чести наживой или обогащением, жил на государственное жалованье за службу.

Вины моей перед народом нет. Твердо уверен — борьба с большевизмом — святое дело. Люди, простые люди, рано или поздно поймут всю гибельность марксистского учения, и Белая идея восторжествует. Я вел своих солдат на правую битву, посылал на смерть, ранения, увечья. Но на то и война.

Кого обидел незаслуженно? Кажется, никого. Вину чувствую лишь перед женой Софьей Федоровной, сыном девятилетним Славущкой и Анной Васильевной. Перед женой и сыном — за близость с Анной Васильевной. Но тут Бог мне судья! Любовь к ней выше моих сил человеческих, и я не смог побороть это чувство. Перед Анной Васильевной же виноват в том, что она сейчас томится в большевистском застенке. Нужно было от-

править ее за границу, насильно отправить, раз, несмотря на мои просьбы, не хотела уезжать.

«Анна Васильевна, голубка!». Чтобы соединить свои судьбы, они с двух сторон объехали земной шар и встретились в Харбине, городе на далекой азиатской окраине. Колчак вспомнил, как они познакомились.

...Финляндия. Гельсингфорс. Противостояние германской агрессии на море. Он — флаг-офицер по оперативной части штаба командующего Балтийским флотом Эссена. Сидит в гостях у командира броненосного крейсера «Россия» Подгурского Николая Люциановича, участника Русско-японской войны. Испившие чашу позора в проигранной из-за преступной беспечности верхов дальневосточной кампании офицеры часто собирались вместе. Входит капитан I ранга Тимирев Сергей Николаевич, тоже бывший порт-артуровец, с женой.

Жена Тимирева Анна Васильевна заинтересовала его. Она была в белом платье с голубым воротником-козырем и такого же цвета шелковым токе. Крупное янтарное ожерелье охватывало тонкую нежную шею. Что-то прелестное, юное было во всем ее облике: изящном рисунке лица, стройной фигуре, гордо посаженной голове, жестах. Знакомясь, взял гибкую девичью руку, поцеловал, ощутил губами теплоту и свежесть кожи. Внимательно посмотрел ей в лицо, с усилением оторвал взгляд. Глаза ее, темные, мечтательные, под дугами черных бровей — будто таинственная ночь, завораживали. Упругая волна нежности ударила в сердце и пошла гулять по жилам, будоража кровь. Он поспешил отойти, чтоб скрыть от присутствующих свое волнение.

Но как-то само собой получалось, что весь вечер они оказывались рядом. Им было волнительно и легко друг с другом. Он тогда же каким-то шестым чувством осознал: Анна Васильевна не очередное увлечение, это что-то необыкновенное, огромное, чего он пока не в состоянии осмыслить, но без чего не сможет дальше жить. Душу его переполняла тайная радость, но была и печаль. Печаль о том, что он так поздно встретил ее, что она так молода, наивна, а он, уже избитый жизнью, видевший кровь и грязь войны, подорвавший здоровье во льдах Арктики... Но глаза ее излучали теплый искрящийся свет, и это придавало уверенности: значит, он ей не безразличен. Они забыли об окружающих и все говорили, говорили — о чем, сейчас Колчак не помнил, но слова лились легко и свободно, сближая их. Им было хорошо вдвоем. Они вышли в сад, бродили по аллеям парка и никак не могли расстаться. Анна Васильевна рассказывала о себе, о своем детстве, замужестве.

Родилась она в семье известного пианиста и дирижера Василия Ильича Сафонова в Кисловодске. Предки ее были из терских казаков. Восемнадцати лет Анна Васильевна вышла замуж за защитника Порт-Артура Тимирева. В начале войны с немцами родила сына Владимира. И вот теперь приехала в Гельсингфорс навестить мужа и подготовить место для переезда сюда с ребенком.

Затем было еще несколько коротких встреч: он все время участвовал в операциях на море. Однажды попал в самое логово врага. Догнал на своем корабле немецкий миноносец «Кронпринц», «на хвосте» противника ворвался в Либавский порт и у самого берега потопил его, затем уничтожил транспорт «Карлсбад», развернулся и на полном ходу выскочил из гавани на глазах изумленных немцев. Вскоре ему поручили командовать минной дивизией, и на суше стал бывать еще реже. Но каждая встреча была дорога, и когда морем подходил к Гельсингфорсу, тот казался ему

лучшим городом на свете, потому что там жила Она. И снова не могли наговориться, и время летело молнией. Компания уже начинала разъезжаться, а им все было мало, их как на крыльях несло, и трудно было проститься. Но шла война, гибли люди, германские полчища рвались в Россию, надо было возвращаться на корабль, а с губ срывались совершенно неуместные в такой обстановке слова: «Не надо, знаете ли, расходиться — кто знает, будет ли еще когда-нибудь так хорошо, как сегодня». И в ответ — взгляд любящий, обеспокоенный, все понимающий. Портрет ее, висевший в каюте, постоянно сопровождал его в штормах и бурях, огне и разрывах сражений.

Так прошло два года. В июне тысяча девятьсот шестнадцатого его назначили командующим Черноморским флотом, и он покинул Балтику. Встречи прекратились — лишь переписка. Первое письмо писал долго и трудно. Начал в Могилеве, в ставке у царя, куда явился согласно приказа и имел беседы с главкомом Алексеевым и Николаем II, затем в Черном море, когда преследовал немецкий крейсер «Бреслау». Письмо получилось подробным и толстым. Он писал доверчиво, открыто, хотелось поделиться с дорогим ему человеком самым сокровенным. Писал о впечатлениях от ставки, об обстановке на флоте, о своих переживаниях и желании видеть ее, возобновлении незабываемых встреч. Письма, письма... И цветы по телеграфу! Вот и все, что в то время он смог сделать. Их разделяла война и многие сотни верст. У обоих семьи. У него сын, и у нее сын. Перед ними глухая стена...

А тут — революция, хаос, предательство, Брестский мир, распродажа России. Подхваченные этим водоворотом, они потеряли всякую связь. Она — в красном Петрограде, он — за границей, на Дальнем Востоке. Неожиданно ему в Харбин доставляют письмо из Владивостока. Глянув на почерк, глазам не поверил: письмо от нее. Как она оказалась на берегах Тихого океана? Анна Васильевна коротко сообщила о себе, писала, что хочет повидать его. «Передо мной лежит Ваше письмо, и я не знаю — действительность это или я сам до него додумался», — был его радостно-удивленный ответ. И вот она в Харбине, они опять вместе. Теперь он окончательно понял, что дорожке нет у него никого на этом свете. Он попросил ее остаться с ним, она ответила согласием. Им нелегко было принять это решение, в особенности из-за детей. Шестилетний сын Анны Васильевны находился в Кисловодске у ее матери, его же Славущка — за границей, во Франции, с женой Софьей Федоровной.

В самые тяжелые годы, в Гражданскую войну соединили они свои жизни. И в это время, в это ужасное время они были счастливы. И сейчас, идя на смерть, он мог сказать: я любил и был любим!

Там, на станции Иннокентьевской, где сейчас гремел бой, где чехи вероломно сдали его пробольшевистскому Политцентру, Анна Васильевна решительно заявила комиссарам, что разделит судьбу адмирала, пойдет с ним в тюрьму. Но ее оставили в вагоне. Все же она настояла, и на следующий день ее препроводили в тот же особый корпус иркутской тюрьмы, куда был посажен он. Она находилась в одной камере с Гришиной-Алмазовой, по соседству с его одиночкой. Встречались на прогулках в тюремном дворе. Она передавала ему то с надзирателем, то с конвоиром записки. Благодаря ей он был в курсе событий, что происходили на воле. В последней записке Анна Васильевна сообщила о наступлении капшелевцев на Иркутск и что Войцеховский требует у комиссаров его выдачи, беспокоилась о его здоровье в связи с простудой. Он ответил:

«Дорогая голубка моя, я получил твою записку. Спасибо за твою ласку и заботы обо мне. Я только думаю о тебе и твоей участи, единственно, что меня тревожит. О себе я не беспокоюсь — ибо все известно заранее... Милая, обожаемая моя, не беспокойся за меня и сохрани себя».

Вот это чувство вины перед любимым человеком больше всего угнетало Колчака. Все остальные страдания людей, окружавших его, связанных с его именем, были объяснимы: войной, борьбой за Отечество, принципами. Жертва же Анны Васильевны выбивалась из привычного ряда. Человек, добровольно обреч себя на неизведанные лишения, горе, а может, и смерть. И все из-за него!

Колчак пытался сравнить этот поступок с каким-нибудь другим, «историческим», но ничего подобного припомнить не мог. Жены декабристов? Какие ж это жертвы, если они, сопровождая своих мужей, ехали в каретах со всею прислугой, с поварами и парикмахерами. Им не грозила тюрьма и репрессии. Да и мужей их не ожидала смертная казнь.

Анна Васильевна... прелесть моя! Достоин ли я твоей ласки, преданности? И чем я теперь отплачу за твою любовь?! Пуля свинцовая поставит точку в моей жизни, моей судьбе. И есть лишь надежда, что мы встретимся там, в потустороннем мире...

Мысли, мысли, мысли... Тревожные, тяжелые, обреченные. Добавляет холода Пепеляев. Он противно шаркает сзади валенками, безвольно волочит ноги, бессвязно бормочет молитву. Его невысокая медвежковатая фигура, точно мешок с отрубями, клонится то в одну, то в другую сторону, видимо, разум помутился и не управляет телом. Колчак несколько раз останавливался, пытался его ободрить, но Пепеляев не реагировал, и ему показалось, что у того началось тихое помешательство. «Могуч телом, да слаб духом оказался, — беззлобно подумал про него адмирал. — А ведь смелым, решительным выглядел, интриги организовывал против главнокомандующего Сахарова, да и меня рассчитывал сместить. Не каждому дано быть твердым в роковые минуты. Но тут, на краю пропасти, и открывается истинная суть человека».

Охрана по-прежнему конвоировала тем же порядком — двойным кольцом. Внимание Колчака привлек солдат внутренней цепи, идущий справа от него. Был он рослый, широкоплечий. Короткая шинель едва доставала до голенищ валенок, на голове — заячий трюх. Молодое лицо разгорелось на морозе, ресницы обмерзли, из-под них сторожко глядели на Колчака бесхитростные крестьянские глаза. Он, видимо, недавно оторвался от сохи и не привык еще к военным порядкам. Держа трехлинейку наперевес, неожиданно поднимал ее штыком кверху, будто вилы с охапкой сена. Спихватившись — опускал. Через некоторое время все повторялось сначала. Любопытство: как никак сам Верховный правитель Колчак перед ним — и боязнь оплошать, ведь матерых преступников на расстрел ведут, всего можно ожидать — читальность во взгляде парня.

Шли молча. Злорадствующих среди конвойных не было. Колчак понимал, что пришли они сюда не по велению души, а исполняя приказ. Лишь двое впереди, один щуплый, черный, носатый, второй — толстый, круглолицый, часто оглядывались назад, вполголоса бросали в сторону адмирала и Пепеляева реплики, расслышать которые было невозможно, но по злым ухмыляющимся лицам можно было догадаться о их содержа-

нии. По всей видимости, это были комиссары — одеты лучше других: в городских стеганых пальто, меховых шапках.

Руководитель расстрела председатель губернского чека Чудновский и его помощник комендант города Бурсак ехали сзади в санях с пулеметом.

Подожли, уперлись в гору на берегу Ушаковки, притока Ангары. Конвой образовал полукруг. У подножия горы — небольшой холм. Туда и повели арестованных. Внутри похолодело, но Колчак ничем не выдал своего волнения, лишь руки, засунутые в карманы шинели, лихорадочно заплесали. Неожиданно пальцы наткнулись на портсигар — и обмякли. Колчак вытащил портсигар, тот, точно звезда, упавшая с неба, засиял, заискрился при лунном свете. Подошел к конвоиру, тому крестьянскому парню в короткой шинели и заячьем треухе, протянул портсигар:

— Возьмите, юноша, мне он теперь ни к чему, а вам пригодится.

Парень опешил, боязливо поглядел по сторонам — на сослуживцев, оглянулся на начальство — гробовая тишина. Мгновение колебался, затем тряхнул головой, выпрямился, опустил винтовку, освободившейся рукой решительно взял портсигар. Подержал на ладони хорошо сработанную золотую вещь, добрая христианская улыбка осветила его лицо. Положил подарок в карман, истово перекрестился.

Председатель губчека Чудновский занервничал, злобно шепнул Бурсаку, командующему взводом расстрельщиков:

— Кончай! Быстрее!

Колчак и Пепеляев стоят на бугре возле горы. Взвод расстрельщиков — напротив. Подходит Бурсак, предлагает Колчаку завязать глаза. Тот холодно смотрит на него, гневно отвечает:

— Русские офицеры презирают смерть!

Бурсак, втянув голову в плечи, уходит.

Колчак хочет вспомнить что-то важное, чего он еще не успел вспомнить в последние минуты, как будто это теперь имеет значение. Но мысли в голове скачут, путаются. «Ах да! Вспомнил! Ведь здесь, в Иркутске, будучи проездом в Порт-Артур на войну с японцами, я, тогда еще лейтенант флота, венчался со своей невестой Софьей Федоровной в Градо-Иркутской Михайло-Архангельской церкви. И вот здесь же через шестнадцать лет я заканчиваю земную жизнь... Трижды человек дивен бывает: родится, женится, умирает. Два дива из трех у меня здесь, в этом старинном городе на Ангаре: женитьба и смерть. Странное и удивительное совпадение: ведь город этот никак не связан с моей службой и деятельностью?! Перст судьбы или воля Всевышнего?..».

Он смотрит на Иркутск, на едва уловимые глазом очертания домов, на далекий мерцающий в лунном свете горизонт, полоску леса, на вонзившийся в небо шпиль церкви или монастыря, старается навсегда вобрать в себя эту земную суть...

— Н-на изготовку-у! — раздалась громкая команда. Расстрельщики уперли винтовки прикладами в плечо.

— Це-елься!

Приникли к прицелам.

Колчак инстинктивно отставил ногу, уперся, грудью подался вперед, будто хотел отразить пулю, еще постоять на этом бугорке русской земли.

— Взво-од! — торопливым срывающимся голосом командовал Бурсак. — По врагам ре-волюции — пли-и!

Но его опередил пушечный выстрел с Иннокентьевской. «Наши

бью...!» — сверкнуло в голове Колчака, но домыслить он не успел, страшный удар оборвал сознание, потушил свет. Он закачался из стороны в сторону, словно тело еще продолжало жить, и вдруг, как подкошенный, боком рухнул на землю. Рука, в падении выброшенная вперед, заскребла пальцами снег, на полпути замерла, пальцы медленно стали сжиматься в кулак, затем дрогнули и застыли.

Бурсак с опаской поглядел в сторону упавших и повторил команду. Дали, на всякий случай, по бездыханным телам Колчака и Пепеляева еще один залп, затем еще один. Караул тюрьмы и спецкоманда тут же были построены и отправлены обратно. Остались Чудновский, Бурсак и несколько особо доверенных лиц. Убитых закапывать не стали, опасались, что солдаты могут разболтать и горожане толпами пойдут на могилы. Трупы погрузили на сани-розвальни, подвезли к реке напротив Знаменского монастыря: там была большая прорубь, из которой монашки брали воду. Вначале столкнули в прорубь Пепеляева, затем Колчака — вперед головой.

— Всё! — вытер взмокший лоб Бурсак. — Упрятали надежно. — И удовлетворенно высморкался.

— Отправили налимам на завтрак! — криво усмехнулся Чудновский, вытащил из кармана конфискованные купеческие часы на серебряной цепочке — стрелки показывали пять утра. — Управились вовремя, ни одна собака не слышала и не видела.

Боясь народного гнева, возбуждения населения беззаконной безсудной расправой, большевики учинили ее во тьме.

А Иркутск просыпался. Нарождался день 7 февраля 1920 года. Во многих окнах загорелись огни. Канонада со стороны Иннокентьевской усилилась. На город наступали белые. Чудновский, Бурсак и их соучастники шли, чутко прислушиваясь к нарастающей перестрелке, и произвольно ежились — то ли мороз их дожимал, то ли страх за содеянное.





Светлана Алексеевна Ляшова-Долинская родилась в селе Тхоревка Воронежской области. Окончила отделение журналистики филологического факультета Воронежского государственного университета. В настоящее время заведует Старокалитвянской библиотекой. Автор нескольких поэтических сборников, среди которых «Не загоститесь на земле», «Сорвется серп луны», «И вновь побеждает любовь». Член Союза писателей России. Живет в селе Старая Калитва.

Светлана Ляшова-Долинская И ТОЛЬКО ЧУВСТВА ПОДНЕБЕСНЫ

* * *

Это в русской душе,
Это в русской неспешной природе —
Пожурить, пожалуй,
Поделиться краюхой ржаной.
И последней рубашкой,
И репою на огороде...
Это в русской природе —
Холщовой да берестяной.
Это в песне степной
И в наивной и кроткой молитве,
В безмятежном покое
Навстречу распахнутых глаз —
Светлоокая Русь
Родниковым причастьем разлита,
С чернобровой хитринкой,
Что глубже и не напоказ.

* * *

Святой слезой промыты выси
На случай Божьего суда...
Из чувства вырастают мысли,
Из мыслей чувства — никогда.
Из жизней прорастают жизни,
А из отсеков — лебеда.
Под песни выдюжит Отчизна,
Под причитанья — никогда.

БУМЕРАНГ

Еще не возвратился бумеранг.
Поверх домов высотных и яранг
Он все летит, туманы рассекая...

А на Руси бессрочная зима:
Монетки слез калымит Колыма,
По именам безвинных окликаая.

И так близка небесная слюда,
И так темны лихие города,
И деревеньки маются долгами.

Спаси, Господь, беспутную Москву,
Прости меня, что суетно живу,
Перекрести крещенскими снегами.

Над долготой смирительных разрух
Он все летит, оледеняя слух...
Как хорошо, что люди тугоухи!

Иначе все сходили бы с ума,
Пока на Русь накинута зима,
Пока почить готовятся старухи...

КРЕСТЬЯНОК ИМЕНА

Вязала лук в тугой венок Лукерья.
С утра Прасковья рушила пшено.
И Вера, верно, верила поверьям,
В начале века глядячи в окно.

Варвара густо варево варила,
Дарила Дарья меткое словцо.
У девушки по имени Мария
Светилось Богородицы лицо.

Крестьянок русских трепетные лица,
Имен криницы — как ни нареки!
Девчонка озорная, Василиса,
По полю шла, срывая васильки.

И Степаниду сушь степей палила,
А та трудилась, всех богов моля...
И девушку по имени Полина
Звала гармонь певучая в поля.

По насту Настя стылой зимней ранью
Поземкою уходит в мир стихий...
Но женщина по имени Светлана
Еще напишет светлые стихи.

ДЕРЕВНЯ

Но выбросят копыа земные посевы
И вновь не уеду, удержана ими...
Замолвлю словечко о жизни оседлой:
Деревня, деревня... Всеобщее вымя...
Молочным туманом наполнятся сладко
Луга, словно чаши. И вымесит тесто
Деревня — извечная боль и загадка,
Прабабка и мамка, вдова и невеста...

НОСТАЛЬГИЯ, ИЛИ ПÓРЫ РОКУ¹

М. Витюковой

Нет Родины другой...
Но чтить иной обычай.
Январь сечет пургой,
А сердце дрогнет: «сичень».

Из голубых земель
Протянет солнце нити,
Заплещется апрель,
А сердце помнит: «квитень».

То звезд падучих след,
То слив лиловых серьги...
На августовский свет
Душа рванется: «серпень!».

Какие дни стоят,
И хитро медлит зонтик!
Листву несет октябрь,
А сердце шепчет: «жовтень»...

Но здесь уже семья
И новые побеги.
Что знают сыновья
О закарпатском снеге?

А птица кличет вдаль,
С полуночи все кличет...
Опять придет январь,
А сердце дрогнет: «сичень».

¹Пóры року — времена года.

* * *

*Покарауль наш дом,
А я пройду по свету...*

Борис Чичибабин

Забудьте, что пути ведут не дальше Рима,
Что рати полегли, что слово — наугад.
Чужбинами земли проходят пилигримы
По весям заревым, по всхолмиям и над...
Ни жизни, ни пути никто не выбирает.
Клубочек золотой, беспошлинно катись!
Для ласковых небес никто не умирает,
Для скаредной земли красна и эта жизнь.
Да не коснутся впредь и дарственные глыбы,
И грязь, и чистота, и вероломный креп.
Мы вечную любовь здесь обрести могли бы,
Когда б не жернова, стирающие степь...
От огненных погонь дороги не остыли,
Но Божья благодать — как воздух — наяву.
Вдохну на посшок российской терпкой пыли.
Я верую в Тебя. И потому — живу.

ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН

Не по рельсам земным,
А по млечным степям
Шел последний вагон
Вопреки остальным.
Просто взял и посмел!
Ветер в тамбуре пел,
И крутые бока
Холодели слегка...
И курился наклон
Сквозь диспетчерский гам,
И катился вагон
По туманным лугам.
Сквозь ладони лесов,
Сквозь ресницы станиц,
Через белую ночь,
Сквозь кружение сов.
Через станции лет,
Сквозь шлагбаумы снов,
Где фантомы садов
Зажигают ранет!
Где ветра вплетены
В дальний свет фонарей —
Фаворитов луны
И сырых сентябрей...
Скорый поезд ушел.
Лишь последний вагон —

Без огней, без путей,
Вне дорог и времен,
Словно призрак немой,
Плыл, кренясь тяжело,
Сквозь тоннели глазниц
Человеческих лиц.
Сквозь кошмарные сны,
Сквозь кошму тишины,
Где крушенья души
Никому не нужны...
Мой Голландец слепой,
Мой отшельник святой,
Мой последний вагон,
Бывший только собой!..
Отслуживший вагон —
Островок бытия —
Остановится он...
И не станет меня.

* * *

Разобщенность во мне. И шути — не шути,
Но совсем не смешно, как зачин анекдота:
Стану правой ногой на беззвездном пути, —
В ногу левой идти — ну никак неохота.
То ль ленивая я, то ль тропа тяжела?
Прикоснулась слегка —
Сук лишь треснул, ослабься,
А от правой руки в землю сила пошла,
А от левой руки — непомерная тяжесть.
Пересилив себя, переспорив леса,
Я брела без дорог, передышки не зная.
А из правого ока скатилась слеза,
А из левого брызнула речка лесная...
И когда на опушке густая трава
Под ножом заскорузлых дорог обрывалась,
В мое правое ухо влетела молва,
А из левого уха так и не появлялась.
А вокруг — благодать. Дни июня пьяны.
Ветер тихо качает
Гроздь бесстыдниц-черешен.
Я — весы бытия. Мои чаши полны.
Мир мой уравновешен.

* * *

И человек, и зверь тоскуют неспроста...
На белый зов листа я ухожу надолго.
Тебя я подожду у вечного моста
До крика петуха и до удара гонга.

Лишь только дну зрачка открыта пустота.
Простите этот мир, земные твари Божьи!
И человек, и зверь тоскуют неспроста.
А тайный смысл тоски разгадан будет позже.

ПОЛОНЯНКА

Не ворожея я и не цыганка.
Из карт крестовых сложена стена...
Я не жена твоя. Я — полонянка.
В казенном доме пыль сотру с окна.

А я пою, стираю спозаранку,
Очаг остывший развожу с утра.
Я глаз твоих печальных полонянка,
Почти рабыня и почти сестра.

Там, где дома и окна онемелые,
Тебе навстречу брошусь, обниму,
Чтоб те, в домах, счастливые и смелые,
Завидовали плену моему.

Пусть у других — раздор и перебранка.
У нас же вечер, как настой хмельной.
Уж лучше быть любимой полонянкой,
Чем злобной, нелюбимую женой.

Я усмехнусь, упрек в свой адрес слыша,
В вино червленый перстень окуну...
Луна плывет, дожди стучат по крыше,
И не понять, кто у кого в плену.

* * *

Когда светло сердца стучат,
Кружат неслышно херувимы.
Кто не любим, тот не богат,
Все остальное поправимо.
Все остальное, как всегда:
Авоськи, завтраки, болезни.
Все остальное, как вода...
И только чувства поднебесны.

Их силы света сторожат,
И осторожны, и ранимы.
Кто не любил, тот не богат.
Все остальное поправимо.
Я по весне сажаю сад,
Твоим сиянием хранима.
Кто не любим, тот не богат.
Все остальное поправимо.



Василий Исакович Кривошея (1925—2004) родился в селе Боровиково Ольшанского района Киевской области. По окончании семилетки поступил в ФЗУ. Во время войны попал в плен и был угнан в Германию. В послевоенные годы работал в шахте, на конезаводе в Таганроге, на сырзаводе в селе Новая Калитва. Автор поэтического сборника «Живу с людьми».

Василий Кривошея

К ГОРИЗОНТУ УХОДИТ ДОРОГА

УКРАИНА, МОЯ УКРАИНА

Жил, работал и верил в удачу,
В незнакомые ездил края...
Вот стою у обрыва и плачу:
За чертой Украина моя.

Может, блудного сына простила?
Все равно я уже не вернусь,
Коль навеки меня приютила
Хлебосольная, добрая Русь.

Не скучайте, бывайте здоровы,
От разлуки ваш дед занемог.
Мы с Россией родные по крови,
Как единые Вера и Бог.

ОСЕНЬ НА ХУТОРЕ

Кружась, листочек тополиный
Упал на грудь родной земли.
А птицы стаей журавлиной
На крыльях лето унесли.

Постриг хозяин рослых ярок,
К зимовью выставил ульи,
Купил пальто жене в подарок,
Любовно вытер «Жигули».

Блестящей ленточкой дорога
И свежий ветерок донской...
— Зачем мне город, ради Бога?
Я ж деревенский, хуторской!

* * *

Скакал когда-то по России
Вельможа, кутаясь в доху.
В то время на периферии
Умелец подковал блоху.

От град-столицы до Урала
Посланец ехал много дней,
И был приказ у генерала
Мастеровых собрать людей...

Давно не ездят по старинке,
И даже в космос забрались,
Но до сих пор в моей глубинке
Умельцы не перевелись.

Душевной музыки умельцы,
Умельцы кисти и пера,
Простые наши земледельцы,
Ржаного хлеба мастера.

НА РОДИНЕ

С утра мужик наладил косу,
В телегу заложил коня,
И петухи разноголосо
Пропели о начале дня.

В платочках Дарьи да Марии
На росы выгнали коров —
Так в центре матушки-России
Жила деревня в сто дворов.

Девчата пели под гармошку,
Цвела под окнами сирень,
Курили парни «козью ножку»,
Носили кепки набекрень.

На старой яблоне кукушка
Кому-то дарит долгий век.
Давно исчезла деревушка —
Уехал в город человек.

Краснеет в зарослях шиповник.
Бурьян в заброшенных полях.
Однажды бравый подполковник
Сюда примчал на «Жигулях».

Неспешно вышел, снял фуражку,
Очки защитные — в футляр,
Сказал, одернувши рубашку:
«Ну, здравствуй, мой Зеленый Яр».

Шуршал ковыль — родитель злаков.
Мелькнул сурок — и тишина...
И подполковник вдруг заплакал,
Прикрыв фуражкой ордена.

ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО

Золотое колечко надела,
До сих пор его снять не могу.
Теплым летом нам иволга пела,
А сегодня деревья в снегу.

Озорной ветерок-недотрога
Полинявшие кудри завьет.
К горизонту уходит дорога,
Только нас никуда не зовет.

Я-то знаю, что скоро придется
Чашу горькую жизни допить,
И тропинка моя оборвется,
Как льняная, суровая нить.

А плакучие ивы над речкой
Свои руки протянут к волне.
Вновь девчонка наденет колечко,
Будет иволга петь по весне...

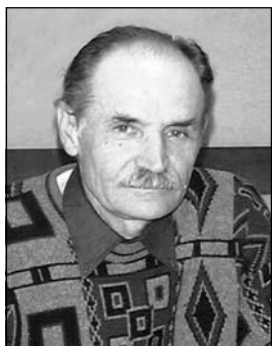
БАБЬЕ ЛЕТО

Ах, зачем ты купаешь, калина,
Пожелтелые листья в реке?
Ах, куда ты бежишь, Антонина,
С полинявшей косынкой в руке?

Не догнать тебе синюю птицу,
Затерялась тропинка во ржи.
О судьбе своей быль-небылицу
Только мне одному расскажи.

Почему на военной дороге
Промелькнула разлука твоя?
Лишь теперь, у зимы на пороге,
Расскажи, ничего не тая.

А по ветру летит паутина —
Бабье лето да праздник Покров...
Антонина моя, Антонина,
Спой мне песню про нашу любовь.



Виктор Васильевич Беликов родился в 1940 году в селе Новопостояловка Россошанского района. Поэт, прозаик, переводчик, краевед. Окончил филологический факультет Воронежского государственного университета. Работал учителем в школе, ответственным секретарем районной газеты. Автор книг «Тепло и боль земного бытия», «Охоты чудные мгновения». Член Союза писателей России. Живет в городе Россоши.

Виктор Беликов

И В ЛИХОЛЕТЬЕ СВЕТИЛО СОЛНЦЕ

Рассказы о детстве

СТАРАЯ МАШИНКА

Старая, с облупленной краской на боках, швейная машинка была едва ли не единственным богатством в семье Мельниковых в то послевоенное время.

В долгие зимние вечера, когда завывала в печной трубе вьюга, мать, сокрушенно махнув рукой, говорила:

— Сегодня пусть Краля не гневается, — за соломой не пойду. Вишь, как разгулялась метель-то! Лучше сошью тебе, Митька, бурки.

Митька и Нюська рады-радешеньки, чуть не до потолка готовы прыгать. Мамка целый вечер будет с ними! Не придется переживать: вдруг заблудится, вдруг нападут на нее волки — всякое в голову лезет. Дрожи на печке в долгом ожидании при каждом стуке ветра в дверь да в оконницы.

Почти всегда вечерами мать уходила с соседкой тетей Наташей на раздобытки: то за хворостом в лес, то за соломой для Крали. Уже в конце января скудный запас кукурузной былки и листьев кончался, оставалось тайком ночами хоть по вязанке брать солому из колхозных скирд. Боязно попасться на глаза объездчику или кому-нибудь из колхозного начальства. Под суд

угодишь, не поглядят, что у тебя дети малые, что муж на фронте пропал без вести. Оно-то вроде и понятно, дозвожь, так все растащат, а ведь колхозную худобу тоже кормить надо. По весне и ей соломенные крыши сараев шли в корм. Мать это знала, но обдерганная ветрами, спрятанная подальше от посторонних глаз ночная вязанка была единственным спасением для коровы, а значит, и для семьи.

Мать возвращалась потная, волосы прилипали ко лбу. Озябшими негнушимися пальцами долго расстегивала латаную-перелатаную стеганку. В тяжелые подшитые валенки всегда набивался снег, перемешанный с половой. Митька и Нюся помогали ей снимать валенки, спешили расстегивать петельки на телогрейке. Раздевшись, мать окунала окоченевшие руки в котелок с холодной водой, чтобы «отошли зашпоры», чтобы негнувшиеся пальцы вновь зашевелились и потептели. Иногда мать плакала, причитала — в кого она такая несчастная уродилась, сетовала даже на отца, улыбающегося на фотографии в коричневой рамке, висящей в простенке над сундуком.

— Тебе-то что теперь? Отмучился. А мне оставил двоих на шею. Какое с ними одной!

Успокоившись, тихо вздыхала перед фотографией, как перед иконой:

— Ты уж прости, Василий. Трудно мне.

Особенно горько плакала и жаловалась она на судьбу в тот вечер, когда ее и тетю Наташу поймал объездчик. Заставил нести вязанки назад, к скирде, а сам ехал сзади в санях, грозил отдать под суд. Всю ночь мать не сомкнула глаз, переживала, а наутро ходили они с соседкой проситься, молить, чтоб не выдавал, носили бутылку самогона. Смилоствился.

В особо выюжные вечера мать все же не решалась уходить в поле: недолго заблудиться и замерзнуть. Да и волками тогда пугали ребятишек не для острастки. Стаями хищники забредали в деревню по ночам, загрызали собак, продирали дыры в плетневых стенках сараев и резали овец, коз прямо в хлевах.

Когда мать оставалась дома, Митька и Нюся радостно вызывались помогать ей в домашних хлопотах и, конечно, больше мешали. Но мать не сердилась, глядя на них, веселела. Она ставила на стол швейную машинку, снимала с нее старый облупленный футляр и начинала колдовать с матерчатыми лоскутами. Блестящий круг махового колеса отбрасывал на стены и потолок прыгающие зайчики. Даже не верилось, что эти зайчики — отсвет подслеповатой самодельной лампы-каганца из медной гильзы. Дети во все глаза глядели, как ловко мать заправляла верхнюю нитку, как быстро и аккуратно наматывала нижнюю на маленькую шпульку — блестящую металлическую катушку.

Это был самый интересный для Митьки момент, потому что ему доверялось крутить сверкающее колесо за ручку, на которую была надета медная патронная гильза без доньшка. Митька с наслаждением крутил, воображая, что заводит «универсал», единственный в селе трактор, мотор которого подолгу, с остервенением матерясь, запускал каждое утро дядька Митро, поминая всех богов, крыс и даже хроющую ногу тетки Махоры, которая ни к трактору, ни к трактористу никакого отношения не имела и мирно жила себе на краю деревни.

До обидного быстро наматывались нитки на шпульку, она становилась пузатой, и мать останавливала Митьку, ладонью тормозила колесико.

— Только раскрутился, — жалел Митька и, довольный, шмыгал носом.

Руки матери сноровисто мелькали над старьем, выкраивая из барахла нехитрые обновки. Ножницы приятно вжикали, вырисовывая развернутый рукав или бурок.

Распарывать старые швы поручалось ребятам. Митька держал, а сестра, как старшая, осторожно перерезала нитки большим кухонным ножом, грубо выкованным в сельской кузне из трофейной каски. Случалось, что помощники пороли не там, где нужно, а то и портили материал. Тогда они разом сваливали вину друг на друга.

Мать не ругалась, только ворчала: в такие вечера у нее всегда было хорошее настроение. Шила и пела протяжные русские и украинские песни негромким, чистым и высоким голосом.

— Мамка, спой ту, где «ехали казаки со службы домой», — просил Митька. И она охотно пела, успевая при этом строчить, кроить и вновь строчить. Мерный стрекот машинки не мешал пению.

Нема жита — мушка зъила,
Нема сына — пушка вбила, —

жалостливо выводила мать, и сердце у Митьки сжималось. Жалко было и жита, которое посеяли на камне, и убитого сына, и плачущую по нему мать.

Сразу приходила на память бабушка Варя, которая точно так же плачет по своему сыну — дяде Ване. Уже три года прошло, как на дядю Ваню получена «казенная бумага». В письме сообщалось, что старшина Иван Руденко погиб в боях и похоронен возле Балаклеи. Бумага не оставляла никаких надежд, но бабушка ей не верила. Мало ли ошибок случается? Вдруг — живой?

На опушке леса
Старый дуб стоит.
А под этим дубом
Партизан лежит, —

подпевали матери свою любимую песню Митька и Нюся. И слезы разом сверкали в глазах певцов. Вспоминалось и об отце, и о дяде Ване — обо всех погибших в этой страшной войне.

Нюся просила что-нибудь веселое, и мать, сначала не очень охотно, а затем все больше увлекаясь, пела шутивную украинскую песню о незадачливом женихе, выискивающем причину, чтобы отказаться от нелюбой невесты. Митька закатывался со смеху. Смеялась и Нюся. Сдержанно улыбалась и мать.

Когда не пелось, мать что-нибудь рассказывала о далекой старине, о которой она сама слышала от своей бабушки, о веселом и добром дедушке Трофиме, а чаще всего — об отце Митьки и Нюси. Слушая ее, Митька видел отца то заядлым охотником с двустволкой за плечами, с гончим псом Пилотом на поводу, то забиякой-парубком, то представлял, как отец, отправляясь на войну, несет их с Нюськой на руках за село.

— Эту машинку Вася подарил мне, когда родился Шура, — вспоминала мать. — Очень радовался первенькому.

Шура, старший брат Нюси и Митьки, умер, не прожив и года. Митька жалел, что нет у него старшего брата, который бы всегда заступился, меньше бы пришлось глотать злых слез от незаслуженных подзатыльников.

— Машинку купили с рук, подержанную, но не прогадали — как но-

вая, — рассказывала мать. — Послужила она хорошо. Когда пришли немцы, я закопала ее вместе с отцовым ружьем на огороде. Закутала в промасленное тряпье. Сохранилась, не тронула ржа... Только краска малость облезла. — Мать любовно, как живое существо, гладила машинку шершавой ладонью.

В семье берегли машинку, прятали ее в деревянный футляр, накрывали одеялом. Когда матери дома не было, Митька садился иногда верхом на футляр, представляя себя лихим кавалеристом, или же вертел колесорунь обеими руками, фырчал, пускал пузыри: в те минуты он вез домой полную машину белых булок и сладких петушков на палочках. Узнав, что машинка — подарок отца, Митька и Нюся уже никогда не трогали ее без матери.

Однажды к Мельниковым пришел низенький мордатый человек в зеленом пальто с желтыми пуговицами. Рябой, бельмо на глазу — за это в селе его прозвали Полотняным Глазом. Он был налоговым агентом, и его приход ничего приятного не сулил. Не обрадовались агенту и в доме Мельниковых. Он тыкал коротким пальцем в бумаги, орал о какой-то недоимке, о займе. Мать отвечала, что сейчас ей нечем платить, пенсии за мужа едва хватало на соль, спички и керосин. Полотняный Глаз начал кричать еще громче и вдруг, заметив швейную машинку, злорадно смолк. Снял фанерный футляр, осмотрел, ощупал ее и заявил:

— Конфисковывается!

Мать бросилась к машинке, вцепилась руками в ящик, но агент грубо оттолкнул ее, взял футляр под руку и вышел, захлопнув дверь ногой. Мать выскочила за ним во двор, заплакала и снова вцепилась в машинку. Полотняный Глаз ругался, мать причитала, просила смилостивиться. Митька, видя, что мать обижают, швырнул обломок кирпича и попал Полотняному Глазу в колено. Тот схватился свободной рукой за ногу, едва не выронив машинку:

— Ты что же это делаешь, гаденыш?

Агент погнался было за Митькой, да разве его догонишь? Сосед Мельниковых дядька Якуша, инвалид войны, тоже припрыгал сюда на костылях.

— Сирот грабишь! Кто тебе дал такое право? Отдай сейчас же назад! — Он сжал костыль так, что пальцы побелели. Лицо у него побагровело. А шрам на щеке стал синим. Дышал Якуша тяжело, со свистом.

— Но-но. Ты не очень-то! У самого должок. Доберемся и до тебя! — И, зло выругавшись, агент ушел, прихрамывая, и унес-таки под мышкой самую дорогую для Мельниковых вещь.

— Цепной кобель, а не человек. Вишь, как выслуживается! — буркнул сосед и, сочувственно махнув рукой, поскрипел костылями домой.

Оглушенные такой потерей, Мельниковы долго стояли посреди двора. Дети прижались к матери, а она все плакала.

— От немцев сберегла, так свои... забрали, — всхлипывала и по-детски размазывала слезы кулаком.

...Целых два месяца стояла швейная машинка Мельниковых в сельском магазинчике, на ней была приклеена бумажка, где указывалась цена. Но сельчане отворачивались от нее. И когда тракторист из МТС заикнулся было купить машинку, старая бабка София сказала ему:

— Не бери греха на душу, не отнимай у сирот последнего, сынок.

Тракторист смутился, спрятал деньги в карман, потоптался у прилавка и вышел из магазина.

Дядька Якуша, подвыпив, снова ругался с Полотняным Глазом, даже намахнулся на него костылем. Агент пожаловался, и дядьку Якушу вызвали в райцентр. Он нацепил все свои медали и мрачно обещал кое-кому прочистить мозги. Говорил матери:

— Не переживай, соседка. Вернут машинку. Нет у этого остолопа права измываться над людьми. Я найду правду.

Митька не знает, что там было, в каких кабинетах дядька Якуша искал эту самую правду. И помогло ли это? Скорее всего — нет. Просто люди не хотели брать чужое. Не вскоре, но все же Полотняный Глаз встретил на улице мать и сердито буркнул, что она может забрать из магазина свою рухлядь.

Так вот и вернулась к Мельниковым старая швейная машинка, отцов подарок. Она стала им еще дороже, не раз потом коротали они долгие зимние вечера под ее веселый стрекот.

КРУГ ЗАБОТ

Хорошо, что у Митьки есть старшая сестра Нюся. Не настолько уж она и старше, чтобы держать над ним верх. Митька ее нисколько не боится и не признает в ней командира. Хорошо, что все заботы по дому лежат прежде всего на сестре. Утром мать, уходя на работу, обстоятельно говорит Нюсе, что надо им обоим сделать за сегодняшний день. Но раз наказывает дочери, значит, она и отвечает за порядок в доме, а с Митьки какой спрос?

— Опять я, да я, — протестует Нюся. — А Митька? Пусть он гусей гоняет с огорода и рвет траву для Крали, а то только гулять горазд да трескать за столом!

— А ты его заставляй, ты же старшая, — советует мать.

— Его заставишь! Опять куда-нибудь повеется с Бульбой да Nikolой. Еще и лепешки им таскает! — ябедничает Нюська.

— Я ему повеюсь, я потаскаю! — грозит мать. — Я его обдеру как сидорову козу вечером. Пусть только попробует!

До вечера еще далеко, мать забудет. Митька натягивает на голову ватное одеяло, под которым он спал и летом, плотно зажмуривает глаза, притворяясь, что дрыхнет и ничегошеньки не слышит. Нюська, рассердившись, стягивает с него одеяло и щекочет за пятку. Тут уж хоть кто не выдержит. Митька бросается с кулаками за Нюської — и новый день начинается.

Хорошо летом! В бездонной небесной синеве заливаются жаворонки. Надрывается в сарае курица, снесшая яйцо, а вместе с ней кричит и петух. Митьке даже смешно, как они дружно возвещают всех о тепленьком яйце, оно, пожалуй, и не стоит того, чтобы так орать на весь белый свет.

Митька бы не прочь отведать свеженького яичка, но оно на строгом учете: куриные яйца нужно сдавать в поставку, за них да за коровье масло мать ведет скудный домашний денежный оборот. Потому утром она шупает сидящих на насесте сонных кур, определяя, которая с яйцом, а по вечерам проверяет: все ли куры снесли в сарае. Попадают такие мудрые, норвят угнездиться то в бурьяне, то под непролазным кустом густой сирени. Хорошо если у своего двора, а когда у соседей — быть скандалу!

Телок Букет и поросенок Васька растут на налог и на заем. Митька уже знает, что налог платится за огород, за вишни и яблони, за корову,

за все хозяйство. Есть корова — сдавай молоко в закуп, колешь выкормленного поросенка — сдай шкуру и часть мяса, держишь кур — сдай яйца. А как же иначе? Фронт и город кормить надо. Добровольно не сдашь — все равно заставят. Сады почти сплошь повыврубили, особенно яблони. В оккупацию немцы похозяйничали. А потом стали под корень сводить сады и сами: чтобы меньше налога платить, чтобы в лютую стужу хоть ненадолго отогреться у печки. Только в колхозном саду и можно было отвезти яблока, если удавалось обхитрить или разжалобить сторожа. Вишен, правда, оставалось много — и дома, и в заброшенных ничейных садах. Как только они поспевали, Митька и все его друзья-приятели ходили перепачканные вишневым соком.

Два года подряд выдались засушливыми. Хлеба выгорели. На картошку тоже был неурожай. Люди голодали. В колхозе почти ничего не могли выдать на трудодни. После хлебопоставки амбары стояли пустыми. Колхозникам на трудодни выдавали ячмень, горох и даже чечевицу вперемешку с соей. Радовались и этому. Жаль, выдавали очень мало.

Митька помнит, как по весне по селу побрели побирушки, прося милостыню. Это были больше старики и дети, худые, грязные, в страшных лохмотьях, в дырявых сапогах или ватных бурках с калошами, склеенными из автомобильных камер. Просились обогреться. Когда их впускали, они сушили свои насквозь промокшие лохмотья и портянки, рассказывали правдивые и выдуманные страшные истории о своей судьбе и долго благодарили, поминая Христа, если им наливали какой-нибудь горячей похлебки или совали в сумки пару картофелин и кусок лепешки со своего скудного стола.

А потом пошли с сумой не только чужие, но и кое-кто из деревенских. Голод заставлял забыть стыд. Стало случаться воровство. Все обзавелись замками: запирались и избы, и сараи, и погреба. Митька помнит, как было взбудоражено все село: Алешка Китычка, вернувшись с войны по ранению, убил свою тещу обухом топора. Жила она в соседнем хуторе, была жадновата, и денежки у нее водились. Алешка позарился на тещино богатство. Деньги то ли нашел, то ли нет, а хату облил керосином и поджег.

Сам уехал домой. Но его на следующий же день разыскала милиция, он и сознался во всем. Эта история долго волновала страшной жестокостью всех — и взрослых, и детей. Митька, Бульба и даже Нюська не раз играли в «Алешку и его тещу».

А однажды к Мельниковым забрался вор. Забрался среди бела дня, когда обедали. Мать услышала вдруг, что на чердаке кто-то возится. Сначала подумала: куры. Поднялась на чердак и поймала воришку. Это был Иван Устинов с соседней улицы. Он пронюхал, что у Мельниковых на чердаке есть позапрошлогодние груши в брезентовой сумке, и решил стащить, чтобы хоть чем-нибудь набить пустой желудок. Было тогда Ивану лет тринадцать-четырнадцать, стыда пришлось принять из-за тех груш.

В голодное время у Мельниковых сохранились запасы кукурузы, желуди вырочали. В те засушливые лета в степных дубравах желудей уродилось много. Собирали для свиней, а они сгондились на свой обеденный стол. В голодную весну желуди поджаривали на плите, в духовке, а потом толкли в снаряжных гильзах, ступах. Муку подмешивали в хлеб, а то пекли и чисто желудевые лепешки. Они выходили шоколадного цвета, терпкие на вкус, скулы от горечи сводило. Но с похлебкой, со сметаной на голодный желудок шли за милую душу. Митьке они нравились больше, чем лепешки из прогорклой залежалой ячменной муки. После

них жгло во рту, будто от полыни. А вот кукурузные лепешки — еда что надо! Белизной радовали и на вкус были сладковатые.

Мельницу в селе немцы сожгли, поэтому мололи зерно самодельными меленками: большими, с деревянными жерновами, и маленькими из чугунных гильз и жестяных терок. Деревянные были редкостью, делались они из толстого вербового комля, в жернов и в днище вбивались железные осколки — насечки. Зерно засыпалось в отверстие посередине, а сбоку из желобка вытекала стружкой мука. Вращать эту мельницу стоило немалых сил. Зато дело шло быстро, и мука мололась помельче. У Мельниковых была терка. Представляла она собой закрепленный на доске деревянный стержень, обтянутый теркой — толстой жестью с часто набитыми пупырышками — дырами. На стержень надевался кожух — тоже жестяная терка, но острыми пупырышками внутрь. Поперек кожуха вставлялся железный стержень — ручка. Засыпали сверху подсушенное зерно или горсть кукурузы и двигали кожух вправо-влево. Кукуруза перетиралась в крупу. Если требовалась мука, крупу еще раз перетирали.

Мукомольная работа не из легких, но Нюся и Митька должны были ежедневно перетирать кукурузные зерна. Митька старался увильнуть, но сестра его не упускала из виду, заставляла трудиться. Терли поочередно по несколько горстей. Толкли и пшено в чугунной гильзе из снаряда времен гражданской войны.

Толкли стальным шкворнем-прутом. Сто двадцать раз должен был ударить Митька и столько же — Нюся. И если просо хорошо просушено, то после трехсот ударов шелуха с него слетала. Считала Нюся, Митька арифметику еще не осилил. Ему казалось, что сестра плутует. Он спорил и норовил удрать из дому. К концу работы рука немела, шкворень казался страшно тяжелым и опускался неровно, стучался о края, иногда опрокидывая ступу-снаряд. Тогда Нюся начинала ругаться, точно подражая матери. Но и у самой руки начинали тоже уставать, дрожали, неподъемный шкворень тюкал невпопад. Капли пота текли по лицу.

Забот у ребятшек хватало на весь долгий летний день. Нужно было уследить, чтобы чужие гуси не залезли в огород, а то пощиплют все. Митька особенно стерег морковь и горох. Он любил полакомиться молоденьким сладким горохом. Даже стручки жевал — они тоже сладкие, пока зеленые.

Старались не прозевать, когда пригонят на обед стадо. Мельниковы жили возле выгона, и шkodливые коровы направлялись напрямиком к ним в огород. Ограды не было никакой — ее давно пожгли. Чуть прозевал — не оберешься беды. Норовистая корова обязательно похватает верхушки кукурузы, посрывает шляпки подсолнухов, истопчет картофельную былку. И то лишь бы раз забралась — потом не отобьешься.

Огород вытянулся от подворья узкой и длинной полосой. Митька отбегает в дальний конец и щелкает там самодельным кнутом, а Нюся стережет возле двора. Как только коровы минуют огород, она тут же загоняет Краю домой и набрасывает ей на рога веревку. Краля тянется к траве, которую ей положили в ясли Нюся и Митька, через каких-то двадцать минут от зеленой охапки остается одно воспоминание.

Ненасытная прорва! Митьке казалось, что травы так много нарвали, хватит и на вечер, чтобы после обеда ее не дергать, не жечь руки. Куда там! Снова придется брать мешок и ползать на коленках по огороду — рвать щерицу, крепкий, будто сталистый провод, вьюнок с бело-лиловыми грамофончиками, брызжащий липким соком широколистый молочай или колючий осот.

Куда быстрее и легче рвать лесную траву. Лег на поляну животом и стриги себе подчистую целые пучки обеими руками. Но там лесник гоняет. Травы хватало на выгонах, в огороде. Бурьяны стоят такие дремучие, что можно с головой в них скрыться. Соберется веселая компания — и началась игра то в разведчики, то просто в прятки.

Залезет Митька в татарник или в чертополох, затаится, терпит, когда колючки вонзаются в голое тело, но зато найти его нелегко: пролез Бульба рядышком, хоть рукой его хватай — не заметил. Вырывается Митька из засады и стремглав летит на кон, спешит «застукаться».

Бульба страшно боялся коров. У них была зловредная бодливая телка, и бедному Ивану не раз доставалось от нее. Свалит, проклятушная, придавит лбом к земле и толчет. Иван с перепугу — орать. Сколько раз приходилось Митьке его выручать. Хватит он палкой между рожек телку, та головой закрутит, заревет — и за Митькой. Но Митьку ей не догнать. Он же не Бульба. Тот вечно запутается то в полах собственного зипуна, то в тыквенной былке. Видно, от страха так получалось. Бегал неплохо, но от своей телки ноги спасали редко. Хорошо еще, что рога у нее были маленькие и торчали в разные стороны, а то Ивану уже давно бы лежать в больнице. Когда осенью проклятую телку продали, Иван даже повеселел.

Из всех домашних забот Митьке больше всего нравилось взбивать масло из топленых сливок. Сливки долго собирали, когда скапливалось на полный горшок, мать доставала из-за печки скалку — «копыстку». Начиналась однообразная, но приятная работа: вращай копысткой в горшке до тех пор, пока сливки сначала загустеют, затем пустят сыворотку, и, наконец, масло из крупинок собьется в один желтый мягкий ком.

Приятно время от времени запустить палец в горшок или пройтись по его краям, подцепить сливок — и в рот, а то и лизнуть копыстку. Конечно, Нюска тут же прикрикнет, чтобы не жрал, а то она все мамке расскажет. Но это она больше для порядка кричит, а сама тоже лижет скалку, когда взбивает масло. Тогда покрикивает Митька, чтобы и ему попало лакомства. По окончании трудов всегда позволялось вознаграждать себя. Намазывали по ломтю хлеба свежим мягким маслом, солили сверху крупной немолотой солью и не спеша уминали кусок, рассматривая, как отпечатываются верхние зубы в масле.

Но все это было попозже, не в тот голодный год.

Митька помнит, как однажды собрались они с Нюсей взбивать масло, а тут приехал в село старьевщик. Весть о нем, конечно же, сразу разнеслась ребячней по дворам. Тащили сюда старое тряпье, кости, мальчишки цеплялись за телегу, чтобы рассмотреть, что хранится в заветном сундучке у однорукого рябого старьевщика. А там чего только не было! Глиняные свистульки, петушки, блестящие булавки, брошки, серьги, был даже складной ножичек с костяной ручкой.

Глаза разбегались. О ножичке нечего и мечтать: за него надо было собрать чуть ли не телегу ветоши. Где ее наберешь? А вот свистун Митьке был по карману, можно выменять. Нюсе же приглянулась фаянсовая головка куклы. Туловище можно и самой сшить, руки, ноги — тоже. Митька с Нюсей кинулись рыться в доме по всем углам, закуткам. Нашли старую-престарую фуфайку, из которой вата вылезла клоками, истертую до дыр грязную дерюгу и медный гнутый тазик. В обмен на хлам старьевщик дал куклу, а свистун хотел «зажилить» — требовал еще тряпок. Убитое лицо Митьки, наворачившиеся слезы, вот-вот готовые брызнуть из глаз,

разжалобили его, он махнул единственной рукой и подал глиняный свисток с надбитой головкой. Митька схватил его, зажал в кулаке: вдруг старьевщик раздумает — и помчался домой. Опробовав, успокоился: ничего, что у петушка не было головки, зато он свистел здорово. Рада была и Нюся.

Когда они, довольные удачным обменом, зашли в хату, радость мгновенно сменилась ужасом и отчаянием. Непоседливый поросенок Васька выпрыгнул из загородки, сунул свое рыло по самые уши в горшок со сливками и чавкал, давился от жадности. На негодующие крики Нюси и Митьки он поднял свое перепачканное в сливках рыло и недоуменно посмотрел на них. А когда Митька огрел его копыткой по спине, он завизжал, как недорезанный, опрокинул горшок и шмыгнул в открытую дверь во двор. Заплаканная Нюся помчалась за ним вслед.

— Переймай его, а то убежит, — успела крикнуть она брату. Митька помчался наперерез поросенку, тот весело хрюкнул, соглашаясь играть в догонялки, вскинул розовым задом и галопом помчался по грядкам.

Нюсе все же удалось перехитрить Ваську. Поросенок, устав бегать, завозился в рыхлой земле, подрыл своим пяточком куст картошки и аппетитно зачавкал. Нюска потихоньку подкралась и, стремительно прыгнув, ухватила его за заднюю ногу. Поросенок так рванулся с перепугу, что поволок за собой и Нюска. Тут на помощь подоспел Митька, ухватил поросенка за другую заднюю ногу. Вдвоем и потащили Ваську в хату. Поросенок вырывался изо всех сил, дрыгал зажатými ногами и голосил на всю деревню.

Водворив его в загородку, Нюся и Митька собрали остатки сливок в помойное ведро. Сестра стала подновлять коровьим кизяком земляной пол в хате, размазывая по лицу чистой тыльной стороной ладони злые слезы. У Митьки тоже на душе скребли кошки. Сколько масла пропало! И что теперь говорить мамке? Ох, она и расстроится!

А на столе неприкаянно лежал надбитый глиняный свисток, и головка куклы тарачила на весь белый свет свои голубые пустые глаза.

СОЛНЦЕВОРОТ

Зимы в те годы были лютые, многоснежные. В феврале хата Мельниковых, как и другие хатенки, полностью по самую стреху крыши утопала в сугробах. Митька и Иван проделывали в сугробах траншеи, строили блиндажи и окопы.

Навсегда запомнились Митьке банные дни. Когда мать объявляла, что сегодня будут купаться, у Митьки заранее синела кожа и вскакивали прыщички.

Купались в чанке — половинке трофейной железной бочки. Воду трудно было нагреть такой топкой, потому в жар закладывали железки, чаще всего такие же пустотелые снаряды, в каких толкли просо. Когда железки раскалялись докрасна, мать подцепляла их рогачом-ухватом и опускала в чанок с водой. Что тут начиналось! Все шипело, гремело, снаряд катался по чанку, стучал о дно и стенки. Пар валил, как из паровоза. Мать тут же накрывала чанок одеялом. Когда вода нагревалась, Митька и Нюска поодиночке, а то и вместе залезали в чан под одеяло. Вода была горячая, а уши мерзли, пар шел изо рта. Вылезать не хотелось, а когда мать вынимала их из чанка, тело покрывалось «гусиной кожей». Но это пока обсохнешь. Зато потом так хорошо!

...Боже, а какие весны были в далекие годы! Дружные, солнечные, с буйным половодьем. Как-то враз, за два-три дня снег набирался водой, становился рыхлым, ноздреватым. В обед под ослепительными лучами он таял, источая ручейки во все концы, дорога по улице превращалась в бурный поток.

Для Митьки и Нюси перебраться через улицу к друзьям-соседям было непросто: в ботинках нечего было и пробовать, а сапоги тоже текли отчаянно. А так хочется пропускать воду в ручейках, проталкивая льдинки и водянистый снег, который постоянно делал затор в малых ручейках, но бессилён был сделать это в середине потока. Там вода текла бурно, пенясь, шумя, ворочая вымытые подсолнуховые пни, кирпичи и даже целехонькие мины, которых было тогда везде много. Митька и Нюся, как и вся детвора деревни, мастерили кораблики из трофейных топографических карт, немецких денег или еще из каких клочков бумаги и пускали в потоки, а то и просто щепочки. И каждый переживал, чтобы его кораблик доплыл до главного потока, а там его понесет. Изредка мелькнет утлое суденышко в ревистом потоке — и все, понесло, понесло его с глаз долой. Если же кораблик застревал, горячий «мореплаватель»-капитан лез в воду, рискуя искупаться. Что и случалось почти постоянно. Детство плохо видит последствия, потому так много бед случается. Все в детстве невероятно умны, сильны и отважны. Так кажется, во всяком случае...

Порой бывали самонадеянными и взрослые. Помнит Митька, как было взбудоражено село в одну из весен. Могучим половодьем в один и тот же день, но в разных ярах унесло на санях деда Санюху и молодуху из соседнего села Ксеньку. И тот, и другая пытались на волах переехать на другую сторону разлившегося потока, но просчитались. Понесло и сани и волов. Дед Санюха смог снять ярмо с дышла, и волы вплавь вынесли его, мокрого, на берег.

С Ксенькой получилось хуже: волы утопили, а ее на полузатопленных санях сняли за пятнадцать километров, почти у города. Месяца четыре провалялась в постели, едва не тронулась умом, но выжила...

...Летом забот поболее, но и для затей времени предостаточно...

— Митька, Иван, айда к Федору Зуеву воробьев драть! — так раза два за лето звал хлопцев Митькин двоюродный брат Гришка.

Это был заклятый враг воробьев. Из рогатки он стрелял, как снайпер из винтовки, и бедные пичуги падали, подсеченные рублеными пулями или камешками, пущенными из праща-рогатки. Страсть у Гришки была удивительная. Он мог и был всегда готов достать любое гнездо.

Колодцы в деревне срубовые, в щелях этих срубов умудрялись вить гнезда воробьи. Стоило Гришке услышать попискивание птенцов в глубине колодца или увидеть выглядывающие перья или солому между плахами сруба, он тут же, не раздумывая, лез, если поблизости не было взрослых.

На стреме оставлял Митьку, Ивана или любого, кто был рядом. Лез отважно. Неважно, была ли в колодце вода или нет, глубока ли он был или мелок, широк или узок — ничто не могло остановить Гришку. Цепляясь руками за сруб, протискивая пальцы босых ног между бревнами, раскорячиваясь на всю ширину колодца или прижимаясь в углу, Гришка добирался до гнезда, выкручивал специальной рогулькой все его содержимое, вышвыривал наверх голых воробьят или яйца, выбирался на свет

божий и возбужденно делился переживаниями, как он чуть не сорвался, как страшно ему было. Забава была, действительно, опасной. Раза два Гришку вытаскивали из воды, мать нещадно ругала и била его за этих воробьев, но страсть была сильнее. И в глазах Митьки и его друзей Гришка выглядел геройски.

В черные для этих пичуг дни, когда Гришку специально приглашали к Федору Зуеву и деду Митру, жившим по соседству, бывало настоящее воробьиное побоище.

Соломенные стрехи длинных хат, которые тогда строились под одну крышу с сараями, были многоэтажным воробьиным общежитием. Гришка ставил длинную лестницу — и начиналось избиение. По двору и саду летели пух, перья, пищали голопузые желторотики-воробьята, истошно орала десятки, а то и сотни воробьев. Митька с Иваном держали большую кошелку, Гришка бросал в нее выдранные целиком воробьиные гнезда со всем содержимым, коты обжирались дармовой добычей, а безногий и беззубый Федор Зуев, оперши культю на перекладину костыля, другим тыкал под стреху, показывая гнезда.

— Это вам за поклеванные вишни, за соняшники, — злорадствовал он, и в глазах его прыгали отблески собственного бесшабашного детства.

...Когда Гришка и Митька через много лет, будучи уже взрослыми, со жгучим стыдом вспоминали это варварство, истребитель воробьев, неловко улыбаясь и поеживаясь, удивлялся своей былой безжалостности.

— Темный мы народ были, Митька, — вздыхал он, — да и жизнь была жестокой.

Еще один летний день глубоко запал в душу Митьки. Собралась братва со всего их крайка и отправилась красть бахчу в соседнем совхозе. Расстояние неблизкое, до трех километров будет. Предприятие удалось. Шумная ватага босоногих сорванцов налетела на неохраняемый край бахчи, снося все подряд, разбивая зеленые еще арбузы и дыни, выхватывая покрупнее.

И тут по полевой дороге загрели дрожки объездчика. Налетчики ринулись в ближайший лесок, бросая по пути наворованные арбузы. Вместе со всеми влетели в крапиву и Иван с Митькой. Бульба неловко подвернул ногу и захромал. Митька не мог его бросить, помогал и тормозил. Когда объездчик укатил, хлопцы вернулись подобрать оброненные арбузы, а Митька и Иван поплелись домой, медленно и удрученно.

Вся братва обогнала их и вдруг, зашумев и загикая, бросилась со всех ног домой. Митька и Иван взглянули вдаль, к яру, и похолодели: огромный волчище тащил на горбу зарезанного им ягненка. Хлопчики, испугавшись, побежали прочь, вовсе не к дому. Долго потом отлеживались в бурьяне.

Солнце село, стало быстро темнеть. Иван хромал все сильнее и раскис, стал плакать. Добрались до скирды, взобрались на прискирдок, отдыхали и слушали, как в селе, до которого оставался еще добрый километр, мычали вернувшиеся с пастбища коровы, лаяли собаки.

Покорывляли потихоньку. И тут, на их счастье, проезжал на дрожках председатель колхоза. Узнав, чьи они и что с ними стряслось, он усадил их на дрожки и, как панов, подвез к самому дому Ивана.

Их уже искали и не на шутку встревожились. Было что рассказать им, единственным «мужикам» в их домах, рисуя все в геройских красках под испуганные ойканья девчонок и матерей...

ЖАТВА

Наконец-то дождалось настоящего урожая. Наступило время жатвы. Митька и Иван часто бегали к колхозной кузне, любили смотреть, как кузнец дядька Роман, кряжистый, сильный, надевал кожаный фартук, долго рылся в разных железках, выбирал наконец подходящую, совал ее в раскаленные уголья. Мышцы так и перекатывались под его прокопченной рубашкой. Крепкий был мужик. Ни война, ни трехлетняя каторга в фашистских концлагерях не сломили его. Домой вернулся — кости да кожа. Потом отошел, налился прежней силой. И только голос потерял насовсем. Слушая его хриплый, натужный говорок, трудно было представить, что до войны он был лучшим певцом в деревне и часто, подвыпив с Митькиным отцом, будили спящую деревню разухабистым пением. Митьку дядя Роман всегда встречал приветливо, никогда не прогонял: видно, Митька напоминал ему пропавшего на войне друга.

Молотобоец Санька, парнишка лет шестнадцати, дергал за рычаг кузнечных мехов. Они скрипели, воздух вырывался в «горно» (так мужики называли кузнечную топку), железо раскалялось добела. Дядька Роман клещами вынимал его, клал на наковальню и, держа левой рукой длинные кузнечные клещи, ворочал туда-сюда заготовку, а правой рукой постукивал небольшим молотком, подавая команды Саньке, куда и как бить. Санька, голый до пояса, потный и красный, грохал молотом по железяке. Она плющилась, искры летели во все стороны.

У Митьки и Ивана дух захватывало от восторга и зависти. Хотелось и себе вот так же грохать молотом или подавать команды молоточком. Но об этом нечего было и думать. Молот Митька едва оторвал одной рукой от земли, двумя даже пробовал стукнуть по наковальне, но приходилось брать молот не за середину рукоятки, а почти у самой его увесистой головки. Да и наковальня слишком высоко, на уровне Митькиных плеч. Разве это дело? Оставалось хлопцам только издали наблюдать.

...Железо постепенно сминалось, принимало нужную форму, темнело. Наконец его или снова совали в «горно», или опускали в бочку с водой. Тогда оно шипело, кузницу заволакивало паром. И через минуту-другую готовая поделка, звеня, летела в угол.

Хлопцам интересно было узнать, что же выходит из-под рук дядьки Романа. Он ковал и лемеха для плугов, и подковы, и шины для тележных колес, и «занозы», «притыки» для воловьих ярм, делал тяпки и ножи из старых кос и даже из солдатских касок.

Особенно много работы было у кузнецов перед жатвой. Перебирались заново старые косарки (так назывались в селе пароконные косилки-лобогрейки), самоскидки, ремонтировались телеги, арбы, перетягивались колеса. Женщины несли в кузницу косы и даже серпы. Все это ремонтировалось, клепалось, точилось. Плотники приделывали к косам особые грабли, которые позволяли подрезанный хлеб сразу укладывать в валки.

И жатва начиналась. Загон обкашивали всегда вручную опытные косари. Потом поле делили пополам. На одной половине косили косарками и самоскидками, которые таскали самые выносливые лошади. Эти косилки и сами по себе были тяжелыми, да и хлеб сваливать было нелегко. Работали на косилке по двое. Один правил лошадьми, следил за правильным подъемом косогона, второй сбрасывал вилами срезанный хлеб. Недаром этот агрегат назывался лобогрейкой. Пот с людей лился ручьями, рубахи буквально прилипали, насквозь промокшие. А без рубах тоже плохо: ко-

лючки из осота так и впивались в тело. Было жарко, пыльно, косилки пронзительно стрекотали. Они довольно часто забивались или ломались, так что нередко вручную заканчивали косить даже раньше.

Косами работали по-разному. Женщины не всегда свободно владели ими, у многих они были просто никудышными. Некоторые жали серпами, хотя это было, пожалуй, еще труднее: надо было постоянно нагибаться, обхватывать пучок ржаных или пшеничных стеблей, ловко подрезать серпом, класть в сноп — и все сначала. Но среди косарей были и удивительные мастера своего дела, не только мужчины, но и женщины. Митька с Иваном смотрели, разинув рты, как ловко укладывали скошенный хлеб своими косами-граблями подружки — вдовы Клава и Поля, подзадоривая идущих чуть впереди мужиков.

— Пятки береги! — весело покрикивали они, широко, по-мужски занося косы, и мужики, отшучиваясь, «берегли пятки», нажимая вовсю, чтобы не отстать, не опозориться перед женщинами.

Вслед за косарями начинали свою работу вязальщицы. Они граблями ровняли скошенные, чуть подсохшие валки, ловко крутили соломенные перевясла, охватывали ими приготовленные «кулики», стягивали, придавив коленом и скрутив перевяслом, ставили готовый сноп «на попу» или просто клали на землю. Ребята постарше стаскивали снопы, а кто-нибудь из взрослых укладывал их «в кресты» или в суслоны вверх колосьями, прикрывая сверху последним снопом, распущенным колосьями вниз, чтобы дожди хорошо стекали и меньше бы мочили хлеб. Митька и Иван тоже помогали. Они крутили перевясла вместе с сестрами Нюсей, Дусей и Ниной. Однако скоро их работу забраковали, тогда они стали таскать снопы. Они поначалу казались легкими, и Митька с Иваном хватали сразу по два, но с каждым разом снопы тяжелели, стерня немилосердно колола босые пятки. Колючки сухого осота вонзались даже в их задубелую кожу, приходилось все чаще садиться на землю, слюнявить черные пятки, отыскивать мелкие, но болезненные занозы и выдергивать их длинными черными ногтями.

А солнце жгло невыносимо. Без конца хотелось пить. Чем чаще ребята бегали к бочке с водой, тем чаще тянуло к ней, тем обильнее лился пот, тем тяжелее становились снопы. Наконец Иван и Митька падали спиной на валки и долго лежали, глядя в небо и не шевелясь.

...Помнит Митька, как однажды всполошились все, закричали, зашумели, застучали в косы. Оказывается, здоровенный волчина среди бела дня поймал на краю села гусака и, неся его в зубах, медленной рысцой пробегал мимо поля, где работали десятки людей. Это было невиданной наглостью даже для тех, осмелевших в войну волков, совершавших дерзкие налеты зимними ночами на деревенские хлевы, продиравших соломенные крыши и плетневые стены сараев и резавших скот прямо в хлевах. Но то было зимой и ночью, а это летом и среди бела дня. Мужики с вилами и косами помчались за серым разбойником. Ванета вскочил на лошадь и, оглушительно свистя, поскакал ему наперерез. Волк остановился, положил гусака, бросился в сторону лошади и лягнул зубами. Испуганная лошадь шарахнулась в сторону. Ванета едва не слетел с нее, но удержался и поскакал назад, смеясь и ругаясь. А волк схватил свою добычу и так же рысью скрылся в некошеной ржи. Лишь по расходящейся полосе в ржаном массиве можно было видеть его путь к ближнему лесу.

Долго еще не могли успокоиться жители села, ругались, вспоминали все, что каждый знал или слышал о волках. Истинные рассказы перепле-

тались с вымыслом. Разговоров хватило чуть ли не на полдня. Митька первый раз в жизни увидел тогда волка так близко и был потрясен его силой, дерзостью, умом. И наглостью тоже. Они вспоминали с Иваном, как волки зимой взяли в конуре собаку Лайку у их дружка Николе и сожрали за огородами, оставив одну голову с открытыми застывшими глазами. Митька и Иван тогда холодели от ужаса, представляя, что и им несдобровать, попадись они этим кровожадам.

Дети, да и женщины как-то непроизвольно стали держаться поближе друг к другу, пока не забылось все в кипучем ритме коллективной работы. А над всей этой людской суетой синело бескрайнее небо, плыли легкие облака, мелькали крыльями кобчики, высматривая в стерне потревоженных кузнечиков и перепелок. До вечера еще было бесконечно далеко.

ВЕСЕЛОЕ ВРЕМЯ

Когда снопы подсыхали в суслонах, их перевозили на арбах и укладывали в скирды. Это доверялось самым опытным скирдоправам, потому что хорошо уложить снопы — дело непростое. Надо так сложить скирду, чтобы ветры не растрепали и дожди не погноили хлеб. Ведь лежать ему в скирдах приходилось иной раз до середины зимы. Рук не хватало, и порой случалось, что хлеб, предназначенный на трудодни и семена, молотили позже, когда уже убиралась свекла. Но это бывало, когда непогодь мешала, когда осень выпадала дождливой. Обычно же хлеб молотили сразу после уборки, в первую очередь тот, который нужно было сдать государству.

Веселое это было дело — молотба! В первый день обмолота даже школьники на время бросали главную свою работу — сбор колосков, сбегались поглядеть. Всех охватывало какое-то праздничное настроение. Все возбужденно галдели, шутили, ругались, но беззлобно, весело. Кричали, чтобы перекрыть рокот старенького «универсала» и грохот молотилки, которую он вращал. Митька со всеми ребятами во все глаза глядел, как вращался тяжелый маховик, как бежали, перекрещиваясь, широкие ремни трансмиссии, как вертелись зубчатые колеса и колесики в молотилке, как тряслись решета, немилосердно гремя и скрипя.

Взрослые постоянно гнали ребятшек подальше от ремней, решет, чтоб не попал кто в беду. А до беды недолго. Зазеваешься — враз потянет ремнями, замотает в шестеренки, оторвет руки-ноги, а то и насмерть ушибет. Тут зевать нельзя. Взрослые и то опасливо поглядывали на огромные ремни.

Работа кипела. Снопы подавали на полку молотилки. Там стояли два человека. Один быстро разрезал лезвием косы или длинным ножом перевясла, второй совал растрепавшиеся снопы в темную пасть молотилки, в которой вращался барабан и подавал все внутрь. Молотилка похожа была на какое-то ненасытное чудовище. Внутри нее все тряслось, грохотало. Пыль стояла облаком. Сзади молотилки падала солома, которую вилами отбрасывали подальше несколько человек, выстроившись в цепочку. Зерно текло по желобку в подставляемые деревянные ящики, а солома выходила сбоку в подвешенный мешок или на землю. Один человек следил, чтобы солома не забивала ход, выгребал ее оттуда. Старенькая молотилка часто «давилась», снопы не лезли, застревали в пасти. Тогда все глохло. Тракторист сбрасывал ремни трансмиссии или совсем глушил «уни-

версал», доморощенный механик Ефим Ефимович, курносый, долговязый и невероятно грязный, ругаясь, залезал молотилке в пасть или в чрево и долго возился там, освобождая барабан от накрутившейся соломы или устраняя другие неполадки. Тогда все валились на свежую, пахучую солому отдыхать.

Но когда все ладилось, любо было смотреть на людей, на их дружную, слаженную работу. Взлетали на вытянутых руках золотые снопы, сияли на солнце стальные зубья вил, сверкали белозубые улыбки на пропыленных лицах мужчин. Женщины завязывали рты и носы уголками платочков, спасаясь от пыли. Работали ловко, радостно, с шуточками. То и дело доносились визг, смех: то спустят девчата и молодки какого-нибудь парня со скирды вниз головой, то обольют какую-нибудь озорницу из ведра холодной водой, и та так завизжит, что у Митьки аж мурашки по спине побегут, будто это его самого водой окатили.

Старики и старухи покрикивают на молодых, но больше для виду, им тоже радостно в этом празднике общего труда. О ребятишках что и говорить! Носятся туда-сюда, кувыркаются в золотистой соломе, жуют свежее зерно, носят в трофейных котелках и алюминиевых кружках воду старшим, осаждают возчиков зерна, чтобы покатали до тока и назад. Хорошо, если на лошадах: на обратном пути обязательно рысью покатают, а то и вожжи дадут подержать. На волах тоже ничего, но уж очень медленно они ползут. Иногда душа не выдерживает: вскакиваешь с брочки и мчишься вперед, оставляя далеко позади телегу с этими рогатыми слюнявыми тихоходами. А на зерне ехать хорошо! Разляжешься, зароешь руки-ноги в теплое зерно и едешь, блаженствуешь, закрыв глаза. Лежишь, пока вдруг не покажется, что едешь не вперед, а назад... А то сидишь и покрикиваешь грозно: «Цоб-цабэ!» — подгоняешь волов, но они на твои грозные крики — ноль внимания.

Любил Митька время обмолата. Школьников вскоре уводили на сбор колосков. Митька и Иван тоже помогали своим сестрам собирать эти колоски, но до чего ж трудная это работа. Пока насобираешь полную противогазную сумку усатых колючих колосков, начнет разламывать спину, ноги горят, наколотые стерней и осотом, во рту все пересыхает — языка не повернешь. В глазах рябит, колоски кажутся серыми щетинистыми гусеницами, затаившимися среди стерни. Хорошо, если появится Ванета на конных граблях. Подцепишься к нему, ухватишься за железное сиденье и сидишь на ребристой станине, свесив босые ноги. Они далеко не достают до земли. Сидеть жестко, неловко, трясет невероятно, зато катаешься. Ванета, троюродный брат Митьки, парень лет пятнадцати, смешно покрикивает на лошадей, лихо свистит, железным рычагом поднимает и опускает грабли. Митька было попробовал раз поднять их, но даже не стронул. Зато опустил в другой раз так, что и сам слетел вслед за рычагом, чуть не попал в зубья граблей.

Конечно, Ванета заругался, треснул Митьку по затылку и наладил от себя подальше. Обидно было Митьке, да что поделаешь — сам виноват. Поревел немного и побрел снова колоски собирать.

Взрослые всегда гоняют ребят, ругаются, но те делают свое. Катались на пустой сетке и Митька с Иваном, один раз даже со скирды слетели: не успели соскочить вовремя. Ничего, даже не ушиблись. Зато и весело ж было! Взрослые тоже порой озоровали. То какая бабенка заезвается, и ее накроет соломой — тогда визга и крика не оберешься, то много парня девчата и молодухи запеленают в сетку и спускают медлен-

но, натягивая свободный конец каната и дурашливо напевая что-нибудь колыбельное. Но когда шло завершение кладки, тут уж шуточки прекращались. Опытные скирдоправы зорко следили за укладкой каждого навильня, утаптывали, оглаживали скирду граблями, чтобы она была гладкой, крутобокой, чтобы дожди скатывались с нее, не портили корм. Митька и Иван подолгу потом любовались на золотые округлые скирды, словно это они сами так ловко их сложили. И даже озоровали на скирдах редко, понимая, что нельзя: растолчешь, наделаешь дыр, и дожди враз погубят солому.

ГОРЬКИЕ УРОКИ

И все-таки жизнь постепенно налаживалась. В колхозе прибавлялось скота: волов, коров, откуда-то пригнали выбракованных трофейных лошадей. Это были красивые желтые дончаки (так в селе называли рысаков) и соловые ардены — немецкие тяжеловозы. Было и две пары мулов. Но последних в селе не любили и за их норовистость, и за лень, и просто за то, что они «итальяшки». Конечно, скотина не виновата, но уж очень много горя принесли их бывшие хозяева. Мужики брали мулов неохотно, и приходилось с ними валандаться вдовам и девчатам. Кричит, ругается голосистая бабенка, стегает мула хворостиной, а он только задом вскидывает и хвостом мелет, а сам ни с места. Со стороны смотреть — смех один, а ездовому слезы: много ли поработаешь на таком тягле. Зато дончаков любили все — и взрослые, и особенно мальчишки. Хлопцы, гонявшие коней на водопои и в ночное, даже спорили, кому на какого коня садиться. Рысаки были покалеченные, для тяжелой крестьянской работы не очень годные, но их жалели и никогда не били. Да и попробовал бы кто ударить. Вмиг понесет бешеным галопом, расшибет и телегу, порвет постромки и самого ездового вывалит, а то и покалечит.

Лошадей брали мужики, а девчатам и молодкам доставались мулы и волы. На волах надежнее. Они хоть и ленивы, и непослушны, но не расшибут. Митька любил кататься с тетей Катей на арбе, когда начиналось скирдование. Свесись ноги, ухватишься за ребрины арбы обеими руками и смотришь, как под ногами медленно проплывает пыльная дорога, как пыль оседает на серые лопухи и колючки. Сидеть жестко, трясет, но это пустяки. Зато на соломе ехать — одно блаженство! Сидишь, Бог знает как высоко — и страшновато, и дух замирает от восторга. Чуть накренишься арба под косогором, и кажется, что свалишься сейчас с такой высоты, накроет тебя соломой. Но все обходится, и вновь ты гордо озираешь землю с вышины и сам себе кажешься сильнее, значительнее...

Постепенно вернулись домой уцелевшие на войне мужики, а также те, кто побывал в плену. Ждать отца уже было нечего, и Митька с Нюсей смирились. Смирилась с этим и мать. За отца стали давать пенсию. Маленькую, конечно, но все же это была помощь.

Сейчас иногда Митьке кажется странным, как это он уцелел в те годы. Не менее десятка раз бывал он на волосок от смерти. Мать рассказывала, как, еще несмышленишем он едва не замерз в хате на лежанке. Митька еще плохо понимал край, поэтому, уходя из дому, мать привязывала его на лежанке к вбитому в потолок колечку. Митька под присмотром Нюски ползал и не падал с высокой лежанки.

Но однажды в зимний день соседский козел заглянул в низенькое оконце и стал обгрызать раму. Пугливая Нюська, усмотрев в нем черта, в

ужасе выбила верхнее стекло в окне напротив лежанки, выскочила на улицу, добежала босиком по снегу к соседям. Взрослых и у соседней никого не оказалось, она заигралась и забыла о Митьке. Когда мать пришла из леса с вязанкой дров к вечеру, она увидела, что вьюга дует в окно, а на лежанке, занесенный снегом, сидит на привязи посиневший Митька и уже не плачет, а хрипит сорванным голосом. Митька тогда впервые застудил легкие, провалялся в жару, но выжил.

После жестоких боев повсюду валялись мины, гранаты, снаряды. Сколько пацанов погибло и покалечилось тогда! Но Митьке повезло, да и Ньюска всячески пресекала его саперные поползновения. Но не все же время Ньюска рядом. Митька с Бульбой привязывали к стабилизаторам новеньких мин веревочки-поводья, садились верхом и сползали на минах в ярк. Как эти мины не взорвались — уму не постижимо. Но тогда им здорово влетело: Иван Зюба, парень, живший рядом с Бульбой, увидел их проделки и крепко накостылял обоим по шее, да еще и матерям рассказал. Те уполномочили пороть своих «минеров» в любой момент, если он захватит их на месте преступления. Он это охотно и делал, однако Бульбу это не спасло...

Митька помнит, как однажды они, мальчишки, собравшись большой ватагой, взрывали красненькую итальянскую гранату. Кидали ее об землю прямо себе под ноги, били кирпичами — она не хотела взрываться. Шурка Сулин пробил ее насквозь зубцом от косогона и победно нес над головой, а хлопцы шли рядом и дурачились. И все-таки она взорвалась. В лесу лежало зубчатое заднее колесо «универсала». Тертеха швырял снова и снова эту гранату о колесо, а пацаны стояли по другую сторону колеса и подавали советы Тертехе, как кидать. После третьего или четвертого броска граната вдруг ахнула, зашелестела осколками. Все отшатнулись, а потом стали хохотать. Никто не пострадал, только у Тертехи штаны исполосовало, да в бедро вошло два маленьких осколка. Вся взрывная волна пошла в его сторону. Митьке в руку попал крохотный осколок. Митька сразу его и не заметил, а потом промолчал, чтобы не попало от матери. Так тот и остался в нем, как напоминание о тех временах. Даже удивительно, как дешево тогда все отделались. Один Тертеха ревел, да и то не столько от боли, сколько от досады за рваные штаны да от предчувствия неминуемой порки. Митьке везло. Трижды он находился рядом со взрывом, и трижды он выходил невредимым.

Бульба погиб на следующее лето. Митька тогда уже лежал в постели, надолго закованный в гипс. Иван ходил к нему по десять раз на день, помогал осуществлять бесчисленные Митькины выдумки: то протягивал ниточный телефон из спичечного коробка и пустой катушки, то ловил синекрылых и краснокрылых кобылок. Митька и Иван выкапывали в земле ямку, накрывали ее осколком стекла, пускали туда кузнечиков и часами следили, как они прыгали, стучаясь о стекло.

Митька хорошо знал, что у Бульбы спрятаны боеприпасы. У него было две «лимонки», пять итальянских гранат, десятки патронов, в том числе с трассирующими пулями. Мин и снарядов Иван не трогал, но говорил, что есть у него на примете порядочная мина, что из нее можно бы добыть немало тола. Зачем он ему был нужен — неведомо, но он был одержим желанием выдолбить из мины тол. Той же миной его и разнесло. Как всегда, он пас гусят в бурьянах, недалеко от нее. Когда перед обедом утробно охнула земля возле шляха, Митька, лежа во дворе под навесом, сразу с ужасом подумал об Иване, о его mine. И вскоре все на их крайке засуети-

лись. Мимо двора Мельниковых бежали к шляху люди, где кричали и тужили сестры Ивана Дуня и Нина и их бабка Оксана. Потрясенная увиденным, прибежала Нюська и зашлась в истеричном плаче. Митька тоже ревел во весь голос, чувствуя и себя в чем-то виноватым в гибели друга. Привезли с поля тетку Феклу, мать Ивана, и ее дикий крик и причитания навсегда застыли в сердце у Митьки. Ивану оторвало руки и ногу, выбило глаза, но он еще был жив, когда к нему подбежали. На месте взрыва зияла воронка. Это, действительно, была та большая немецкая мина, из которой Ивану так хотелось добыть тол.

...Смерть Ивана Бульбы заставила Митьку впервые всерьез взглянуть на себя, на свое поведение как бы со стороны. Сколько глупостей он уже успел натворить за свою короткую жизнь! Он дважды тонул. Летом его вытащили из воды старшие девчата, когда он уже и пузыри перестал пускать. Он помнит, как шагал по дну пруда вслед за девчатами, помнит, как оступился со скользкого глиняного уступа в дне и как долго глотал потом серую противную воду. А как вытащили, как «откачивали» — этого не помнит. Зимой он влетел в прорубь. Был декабрь. Лед на пруду был еще тонкий, но их, пацанов, держал свободно, только прогибался и тенькал, когда бежали по нему цепочкой, взявшись за руки. Мать с соседкой поехали в лес за хворостом, а Митьку не взяли, хотя он слезно просился. Тогда он со зла ляпнул, что пойдет и утопится в пруду. Конечно же, он и не думал этого делать, но так уж случилось, что едва не утоп. Разлетелись его сапоги на скользких, выглаженных подошвах, поздно заметил он полынью, не успел притормозить и очутился в воде. Пальтишко его из трофейной итальянской шинели надулось пузырем, и это, быть может, спасло, помогло удержаться на воде. Митька ухватился зубами и пальцами за тонкие края льда и тихонько выл, боясь раскрыть рот. Он чувствовал, как его медленно тянет вперед, под лед, но думал о том, как бы не стянуло с него сапоги, а то мать будет ругаться. И он сгибал ступни ног, чтобы не потерять обувь. Дружки, с которыми он вместе катался, испугались и убежали. Хорошо, что бабка Дуня увидела, как он влетел в прорубь, и начала кричать, звать на помощь. Первым попытался спасти Митьку бригадир Павел Тихонович, но лед возле полыньи был слабым, трещал, и тот не рискнул подойти. Тогда Наташа, девчонка лет шестнадцати, жившая возле пруда, подползла к полынье, ухватила Митьку за шиворот. Павел Тихонович держал Наташу за ногу. Так вдвоем они и вытащили Митьку.

Скорехонько отнесли его в хату к Наташе, раздели, растерли шерстяным носком, сунули на теплую лежанку, дали ему Володькины штаны. Володька, брат Наташи, был старше Митьки, и штаны доходили Митьке подмышки. Пояса не было, поэтому Митька одной рукой держал штаны, а другой бренькал струнами балалайки, которая висела на стене.

Таким его и застала мать, когда влетела в избу. Она не знала, что делать: то ли пороть Митьку, то ли целовать от радости, что он жив. Она плакала и упрекала сына, что он ее не жалеет, не понимает, как ей тяжело. Тогда у Митьки было нехорошо на душе, но по-настоящему он впервые задумался и о матери, и о своем поведении не тогда и даже не после того, как надолго, на годы залег в постель (все эти зимние купанья, падения с деревьев и драки ему даром не прошли), а лишь после гибели Ивана. Эта гибель друга все перевернула в душе Митьки, как бы сдернула пелену с его глаз, заставила думать о других. Жизнь Митьки делала новый поворот — его надолго увозили из дома в больницы. Кончалось дет-

ство, нелегкое, полуголодное, но вместе с тем такое дорогое и незабываемое. Кончалось оно, как страшная сказка, в которой уже явственно чувствуется добрый конец.

Везли Митьку на волах по раскисшему осеннему грейдеру в городскую больницу, и он смотрел, как проплывают мимо совсем маленькие дубки полезательной полосы. Митька помнит, как сажали желуди вдоль дороги, как медленно, очень медленно поднимались эти степные дубочки, тянулись своими резными листиками в небо. Некоторые погибли от палящих лучей солнца и обжигающих морозов, сминались колесами и копытами, но остальные крепили, пускали глубокие корни в землю и там, в глубине, искали живительные соки, чтобы, спустя годы и годы, подняться, наконец, могучей семьей под родными небесами, надежно прикрыв путь суховеям и ледящим зимним ветрам, защитив поля. Митька потом всегда с каким-то теплым чувством встречался с этими дубками, ровесниками своего знойного и обжигающего детства, и ему кажется, что и сам он, и все его друзья-приятели тоже вросли глубокими корнями в родную землю. И их, кого жизнь не баловала, гнули и давили всякие невзгоды, и кого надежно прикрыли в черные годы крылья мозолистых материнских ладоней, не свалить теперь никакими бурями и не убить зноем и холодом, ибо сила их здесь, в этой родной и любимой навек земле.





Виктор Федорович Барабышкин родился в 1930 году в селе Хитровка Воронежской области. В 1945 году трудился на оборонном предприятии — заводе им. Коминтерна в Воронеже, где выпускали легендарные «катюши». Удостоен звания Ветеран Великой Отечественной войны. Окончил Новосибирский электротехнический институт. Работал начальником службы высоковольтных ЛЭП и подстанций, редактором газеты «Химик Придонья». Награжден несколькими медалями СССР. Автор трех поэтических сборников. Живет в Росоши.

Виктор Барабышкин

МЫ СГОРИЛИ ГОРЕ, МЫ СДЮЖИЛИ БЕДЫ

ДЕРЖАВЫ СКИПЕТР

Собор Василия Блаженного,
Господь, помилуй и спаси.
Пусть он стоит как продолжение
Тысячелетия Руси.

Как он от гнева содрогался,
Державы скипетр и венец...
К нему ведь тоже подбирался
Кремлевский тать, уса́тый жрец.

Пусть купола от солнца плавятся,
И свет возринет от земли...
А Русь сама с бедою справится,
В какую мы ее ввели.

Еще живут ее старатели,
Еще мечта у них светла...
И глас набата не утратили —
Гудят ее колокола.

А Русь найдет свою дорогу,
Предназначение свое...
Сойдутся к отчему порогу
Иваны с Марьями ее.

И не отсохли наши руки,
И сердце к мудрости зовет
Из этой яростной порухи,
От этих тягостных щедрот.

ПРИХОДИЛИ ПЕРВЫМИ

За собой не чувствуя вины,
Что свое уже отвоевали,
Приходили первыми с войны
Мужики с пустыми рукавами.
На телегу бросив костыли,
Возвращались парни молодые.
Их в деревни дальние везли
С полустанков лошади худые.
Их в немом отчаянье своем
Матери счастливые встречали...
И как отзвук первых злых боев —
Тренькали солдатские медали.
А бинты белели, словно снег,
Знать, не скуп был фельдшер,
Их лечивший...
И тянулись к пашне и весне
Мужики, пришедшие по чистой.

ЖИВАЯ ВОДА

А что мы видали, когда вырастали?
Мы вместе с Россией беду бедовали.
Нам рано досталась мужицкая доля.
Нам рано осталось отцовское поле.
Из светлой криницы у Пашкина яра
Несли мы водицу, студеную яро.
Кухарка Авдотья к печурке вставала...
Какую сливуху на ней затевала!
Наверно, была то — живая вода,
Что мы в борозде не упали тогда.
Ни в поле сиротском в конце молотьбы,
Ни с тех похоронок у каждой избы...
Наверно, была то — живая вода,
Что к самой Победе дошла борозда.
Дошла, дотянулась, не оборвалась
И с подвигом ратным, как ровня, слилась.
А что мы видали, когда вырастали?
У тех, что пришли, за Победу медали.
Мы сгорели горе, мы сдюжили беды.
Мы видели утро великой Победы.

РЕЧКА СТАЛА

Речка стала, речка стала,
Синим звоном налилась.
Отшуршала,
Отшептала
У ветлы и краснотала —
Холодком литым взялась.

На ракигах, на рябинах
Сойки сели ввечеру,
Солнце село ко двору.
К белу ль снегу-серебру?..
Быть добру, быть добру.
И притих в степи остылой,
В стороне больших дорог,
Речкой синей, речкой синей
Окольцован хуторок.
И на этой дальней точке
Люди добрые живут
И под старые гармошки,
Под забытые гармошки
Песни давние поют.
«Когда, милый, бросать станешь —
Я в корыте утону.
Не ходите, девки, замуж
На чужую сторону».
А чужая сторона
С бугра Митрохина видна.
Что ни песня — грусть и удаль!
Сердцу — пристань и уют!..
Не оттуда ль, не оттуда ль
Кольца памяти плывут?

* * *

Ну, пожалуйста, не трогай:
Что уплыло, то прошло.
Видишь, лунную дорогу
Запуржило, замело,
И цепляются упорней
(Жизнь кому не дорога?)
У сосны корявой корни
За крутые берега.
В эту пору входим в зрелость,
В трезвость чувств и в холода...
Чья-то в небе разгорелась
Одинокая звезда.
Ну кому она досветит,
Уведет его куда?
За кого она в ответе,
Эта поздняя звезда?

СИНИЙ СЕНОКОС

Клевера в лугах доспели...
После теплых синих гроз
По ромашковой купели
Ходит синий сенокос.

Солнце травушки купает...
И вальяжна и важна,
Ох, как Настя выступает,
Настя, что твоя княжна!
Песня лебедью забила —
Да про милого дружка.
Речка Россошь задымилась,
Синь катнула на луга.
Мужики в косьбе сомлели.
Да и то! Свалили клин.
Лишь глаза у всех синели —
Будь то Федор или Клим.
В этой радости и сини,
Знать, и я имел права,
Чтоб подслушать у России
Родниковые слова.
Приворотные, простые —
Те слова мне пить да пить,
Чтоб когда-то о России
Песню добрую сложить.

* * *

Опять шалфей буграми светится,
И май вершит весну в трудах,
И сыплет розовой метелицей
В вишневых и других садах.
Заря торжественно играет
В моем краю, не где-нибудь...
Смотри — за дедовым сараем
Упал на землю Млечный Путь.
Под ноги звездами ложится,
Должно быть, странно здесь ему.
И что-то тайное вершится
Не в небе... с нами наяву.
Вокруг тревожно и озонно,
Что даже смолкли соловьи,
Как будто все в опасной зоне —
Прикосновения к любви.
Лишь сердцу гулкому нейметя.
Ну что тебе?
Ну что тебе?
Вот-вот черемуха взорвется
Навстречу чьей-нибудь судьбе...

* * *

Меня все тянет к простоте...
Притихло поле пред грозой,
Над ближней лесополосою
Шныряет коршун в высоте.

И дождь пролился полной мерой,
Поля и рощи освежив.
Из-под стрехи комочек серый
Вспорхнул и хвалится: «жив-жив».
И что на завтра мне дано,
Отпущены какие сроки?
Но гнать земли живые соки
Березам вечно суждено.

ЧУЙСКИЙ ТРАКТ

Еще во мне сибирский пласт
Тугою памятью спрессован,
Как птица, ею в вешний час
Я окольцован, окольцован.

Она все пробует в полет,
И все за ней, за ней лечу я...
Внизу ликует и поет
В гранит истерзанная Чуя.

Уйми гордыню, не лихачь!
Ты слышишь голос гордой песни?
Пока пробьешься в Кош-Агач,
Сто раз умри,
Сто раз воскресни.

Вот он, последний поворот,
Где для кого-то серый камень...
И буквы вечные вразлет:
«Куда спешил ты?
Эх, друг Ваня!»

Такие тихие слова...
Молчим и мнем кепчонки строго.
На то — сибирская братва,
На то и — Чуйская дорога.

Ах, Чуя, рваные бока!
Ну что б тебе равниной литься?
А ты сквозь горы на века,
А ты сквозь годы на века —
Где даже Волге не пробиться.

Где он, покой твой, наконец?
Ты все о камни, все о камни...
Как тот неистовый пловец
Сквозь бурю с голыми руками.

Он так же падал и вставал
В другом, своем житейском гуде.

И кто итожил, кто считал,
В себя вобрал он столько судеб?

Вы с ним по духу, что ль, родня,
С тем парнем из деревни Сростки,
Что стала нынче для меня
Сибирским главным перекрестком?

Как там размашиста весна,
И как сердца она врачует!
И светлой песней Пукшина
Летит распластанная Чуя.



Наталья Юрьевна Шмитко родилась в Харькове, затем семья переехала в город Россошь. Окончила Ольховатское ПТУ №28, Россошанский колледж мясной и молочной промышленности. В настоящее время продолжает учебу в Институте менеджмента, маркетинга и финансов. Работает секретарем-референтом в ООО «Придонхимстрой — Известь». В церковно-приходской школе учится иконописи. Публиковалась в коллективном сборнике «Волны «Калитвянского причала». Живет в Россоши.

Наталья Шмитко

И В СЕРДЦАХ ПРОРАСТАЮТ СЛОВА

* * *

О, оставьте меня, беды!
Суета, меня забудь!
До желаемой победы
Я прокладываю путь.
Золотую рыбку в море
Я поймать смогу едва ли,
Но зато дельфинов стая
Отвлекает от печали.
С неба падает на плечи
Синей птицы чудо-тень.
Незаметно тихий вечер
Утопает в темноте.
Все привычное задето.
Я опять готовлюсь в бой
До желаемой победы —
До победы над собой!

* * *

Тихо! Молчи! Не шепчи! Не дыши!
Слушай! В ночи зашуршат камыши,
После послышится всплеск на реке,
Вслед ему шелест травы на песке,
Старое дерево скрипнет едва,
Воду у берега тронет листва,
Скатится камушек в отмель на дно,
Мошки на свет полетят за луной...
Тут и появится сон-мотылек!
Тень его крыльев накроет песок.

Тихой и доброй ночью порой
Сон принесет долгожданный покой.
И разлетятся, как рой светлячков,
Шорохи, всплески и скрип далеко.
Ночь заплетется в узор кружевной...
Только хорошее будет с тобой!

ИЛЬИНСКИЙ ХРАМ

Здесь пахнет покоем. Вьюны по забору церковному,
Промокший песок, опаленная солнцем трава.
Полынью и хвоей убранство простое исполнено,
И купол высок, и в сердцах прорастают Слова.

* * *

Письмо мое из шепота
И тихих слов неслышимых.
Где ты — там луг протоптанный,
Где я — там поле выжжено.
Кому смеяться выпало,
Кому за радость каяться,
А мы разлуку выбрали
И навсегда расстанемся
Без множества возможностей
Еще однажды встретиться,
И всё сначала — сложности,
И всё опять не склеится.
И стали мы как отблески
Закатного горения...
И вот не слышно голоса,
А шепоту не верю я.

ПЕРВЫЙ ШАГ

Окруженный искристой метелью,
Искореженный правдой кривой,
Он стоял за распахнутой дверью
С непокрытой седой головой.

День сегодня такой, как другие,
День, как сотни других до него,
Но под вечер душевные гири
Налегли на дыханье *его*.

И метался, не зная покоя,
И кричал, и рычал на своих.
Глядя в зеркало, с криками «*Кто я?*»,
Вдруг, оставив сомненья, затих.

То ли кто-то сказал *ему* правду,
То ли сам *он* увидел ответ,
Но *он* быстро пошел за ограду,
От *него* закрывавшую свет.

И, вдыхая остуженный воздух,
Губы сжав и заплакать боясь,
Он стоял на ветру и морозе,
С непривычки нелепо крестясь.

Он просил, сам не зная — о том ли,
Он молился, глотая слова.
И растоптан *он* был, но не сломлен,
И была *его* правда права.

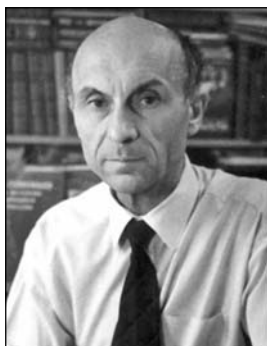
ПОЗДНИЙ ЧАС

Порой в необоснованном молчании,
Порой в необъяснимой тишине,
Отчаявшись, искали покаяния
Два путника на подступах к Луне.

И не было светило полуночное
Ни маятником им, ни маяком,
И ветры старой памяти несносные
Сбивали их с дороги сквозняком.

Как тяжело ступалось по забвению,
Как тяжело дышалось без Земли!..
Пересекая вечную Вселенную,
Два путника, страдая, шли и шли.

Но было поздно изменить свершенное,
Коль голос колокольный отзвенел.
Каким же Космос должен быть огромным,
Чтоб всех вместить, кто к Богу не успел!



Виктор Викторович Будаков родился в 1940 году в селе Нижний Карабут Россошанского района. Окончил историко-филологический факультет Воронежского государственного педагогического института. Прозаик, поэт, эссеист. Лауреат литературных премий им. И.А. Бунина, им. А.Т. Твардовского, им. Ф.И. Тютчева «Русский путь». Заслуженный работник культуры РФ. Автор 22 книг прозы и поэзии. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Виктор Будаков

ВОЛНЫ

Рассказы

Три раза в неделю проплывал мимо нашего Нижнего Колодезя большой пассажирский пароход. То есть он, наверное, не был большим, — где развернуться на Дону большому судну? — но в детстве ведь все укрупнено: и хата, и река, и слеза...

Пароход причаливал к пристани в соседнем селе, ненадолго останавливаясь там, мимо нашей же слободы, проплывал как недостижимость и загадка, всякий раз удивляя и волнуя нас зримою силой перемалывающих воду колес.

Разве выпустит из широкой трубы клубами черный дым, так и тот относит на другой берег.

Как только пароход равнялся с нашей убогой пристанью, мы с разбегу бросались в воду. И шла нам навстречу размашистая широкая волна. И бедовые наши головы — Петька, два Ивана, Колька да Толик, да я — качались на гребнях, взлетая и опускаясь с ними. Брызгались, смеялись, весело кричали бог знает о чем. И хотя было немного жутковато от глубины и неизвестности под нами, но мир выступал в солнечной его доброте, и эти часы были лучшие часы нашего скудного послевоенного детства.

Волны постепенно успокаивались. Чуть зеленоватые гребни их напомина-

ли, быть может, иные волны: молодых хлебов в древних полях. И каким-то образом через эти волны мы чувствовали себя таинственно соприсчисленными многому на земле: прекрасной нашей реке, деревням по ее берегам, небу с отраженными в воде облаками, близким полям, далекому морю.

Петька, два Ивана, Колька да Толик, — где вы?

Но во сне иногда видишь, как донская бело-зеленая волна качает, стремительно несет веселые детские головки.

Петька, два Ивана, да Колька, да Толик, да я...

Да ведь сны — это те же волны.

КРЕСТ И АЛОЕ СОЛНЦЕ

На рисунке было всего три цвета: черный, красный и белый. На тетрадном листке бомбардировщик, накрываясь, пронзал солнце. Черный самолет, бело-черный крест на его сигароподобном брюхе и три черные капли, тяжелеющие по мере того, как они приближались к земле. Крест, такой пронзительно-черный, что само солнце было бессильно здесь со своим алым полыханьем; сразу чувствовалось, что этот крест никогда не был и не станет красным милосердным крестом.

Наш дальний родственник, художник, безвыездно живший на Дальнем Востоке, нечаянно заглянувший в родные края, подошел к окну, чтобы получше разглядеть этот скупой рисунок, последний в принесенной Толиком кипе. Художник долго рассматривал его, будто было в нем невесть что такое, наконец, проговорил: «Какое настроение! Резкость... экспрессия. И как верно: контраст непримиримых цветов!»

Нам, сверстникам-друзьям, гораздо больше нравились другие его рисунки, где было больше близкой нам жизни: овраг, заросший лозами, или белые хаты над синей рекой, или зимний лес, опушка, заяц у одинокой березы. Но художник рассудил иначе. «Если не возражаешь, — обратился он к Толику, — этот я прихвачу с собой. И эти...» Он взял еще два листа, самые, пожалуй, странные. На одном — весенняя река, ледоход, на сизой льдине растет и зябнет яблоня, красная от яблок, на другом — посередине реки танцуют лисицы. «Не возражаешь? Будет выставка в городе, думаю, что твои рисунки понравятся».

Толик лишь пожал плечами, да так по-взрослому получилось, будто он на этих выставках бывал-перебывал! А сам стоял — тоненький, веснушчатый. Такой же, как мы. Да не такой! И этот его дар рисовать уже увидил его от нас...

ГРАНАТЫ НА ЗЕМЛЯНИЧНОЙ ПОЛЯНЕ

Опушки недалекого от слободы Черноклена-леса зелено дымились сильными травами, первозданные, задичалые. На них густо разрослись земляничники, ягоды — пропасть. Удивляться ягоднему изобилию было нечего: не до земляники народу, переживавшему лихолетные времена. И, может быть, мы были первые здесь «лукошники» с той поры, как война началась, как закончилась. Наши матери — спорые руки — сразу же принялись собирать ягоду в корзинки, мы же ели-наедались, пригоршнями бросая ее в рот; соковитая, пахучая. И чем больше мы рвали земляники, тем, казалось, больше становилось ее: пятнистый красно-зеленый земляничник стлался до дальних берез на опушке, да и там, наверное, не кон-

чался. Земля, за месяцы войны измученная взрывами, чуждыми ей металлом, порохом и толом, теперь с жадной удесятеренной силой исцелялась. И этот земляничник был первым вестником возрожденной жизни: ведь еще многие по окраю леса деревья не отошли от войны, иные были выкорчеваны, другие, опаленные, надломленные, тянули ввысь нагие ветви, а ягодный скос у леса будто молчаливо свидетельствовал, что война та — тяжкая быль, тяжкий сон, навсегда ушедшее прошлое, его нет... Есть только эти алые земляничники.

Но приманчивой россыпью, приманчивей, чем земляничники, чуть взблеснули в траве бело-красные крыльчатые веселые, как игрушки, гранаты. На детские возгласы поспешили матери. Тревожным полукружьем постояли. «Надо сказать председателю, чтоб вызвал саперов», — порешили они; а нас увели подальше от гибельных, в веселой упаковке, игрушек. Подальше... и никто не догадался, не почувствовал, что в Толиковой плетенке, на дне ее, прикрытая травой и рубашкой, уже лежала притаенная радужно-красная смерть; Толик первым обнаружил гранаты в траве, и спрятал одну из них. Нам он ничего не сказал.

Вечером в левадном кустарнике раздался взрыв. Несильный, как бы хлопучечный, был он почти не слышен за мычанием коров, возвращавшихся с пастбища.

И за сорок без малого лет эхо и прогорклый дымок того взрыва истаяли, бесследно растворились в мире.

Но сухими вечерами на вербяном комле у своего дома подолгу сидит молчаливый слепец и время от времени что-то вычерчивает тонкой палочкой, что-то рисует на пыльной земле.

И думаешь: почему так? Почему случай, перст судьбы, рок выбрал именно его, самого одаренного из нас? Почему именно глаза поразили у него? Без ног — тоже не радость — он все-таки смог бы рисовать.

Кто вытачивал, кто красил для него эту зловещую гостью? Может, тоже художник, призванный под знамя со свастикой?

О, земляничная поляна, прекрасная проклятая земляничная поляна, где на короткий миг и на всю жизнь — свет и тьма!

НЕ ОДНА ВО ПОЛЕ ДОРОЖЕНЬКА...

Из глубины наплывает первое впечатление большой дороги. Раздольное, чуть волнистое срединнорусское поле — ни конца, ни края. Чистыми волнами взмывают поспевающие хлеба, редкие терновники темными каплями плавают в них. На горизонте синеют перелески, неподалеку от лога-лещинника, по непаханному склону которого мы с матерью пасем овец, белеет цепочка деревенских мазанок.

А через все поле, через лога и увалы, тянется старинный большак — прадедовская дорога. Неподалеку к ней примыкают четыре — в соседние деревни — проселка, образуя что-то вроде длиннопалой ладони. Телеграфные столбы вдоль большака — как задумчивые стражи.

Уже несколько месяцев кряду эта дорога — дорога возвращений. Бывает, промчится выдавшая виды полуторка, мелькнут солдатские пилотки; бывает, не торопясь проскрипит арба-подвода — на ней возница и солдат, а то и двое в гимнастерках. Чаще, однако, пешие. Один пройдет, еще один, еще...

В тот воскресный день их возвращалось так много, что могло пред-

ставиться да и представлялось моему благодарному ребячьему сознанию: все возвращаются в дома свои...

(Через четверть века в родном селе буду стоять у мемориальной плиты с именами погибших. Две роты невернувшихся, погибших.)

Поле казалось бесконечным, и были другие дороги, и по ним текли человеческая беда и надежда.

Не одна во поле дороженька...

БРАТЬЯ

Река — подо льдом, и она не остановит две молодые толпы, жаждущие помериться силами. Человек пятьдесят лихих и крепких от одной слободы, чуть поменьше от другой. Тугие январские снега отражают свет месяца, и оттого светло: вправду, хоть иголки собирай. Но не до иголок! Нам, малышне, с крутого берега видно, как сходятся две стены. Две рати. Так они сходились неделю назад, месяц назад, что-то есть в этом от старинных побоищ: медленно, потом все быстрее, и вдруг крики, лязг, треск...

А после — кровь на снегу, рассеченные брови и губы, синяки под глазами; правда, дрались только на кулаки, в руках ничего железного, но ведь иной и кулак тяжелее гири; таков был у нашего вожака Бодая, ударит — долго пострадавшему лежать на снегу.

Боязно нам, у каждого из нас, взирающих с крутобережья на ожидаемое ледовое побоище, сердце вот-вот выскочит из груди: сейчас они начнут резкое сближение, и кто кого? Кто победит?

И вдруг — не как прежде. Две стены перестают двигаться, до нас доносятся голоса, то ли вопрошающие, то ли выясняющие, договаривающиеся, и по три человека отделяются от своих и встречаются на ничейном пространстве. Среди них Бодая и Шах, наш и тусторонний предводители. О чем-то долго говорят.

Потом расходятся; и тут же сходятся две толпы, и ни крика, ни ругани, ни треска; разворачиваясь, единой лавой текут, поднимаются вверх, мимо нас текут — и вот они уже в нашей слободе. Смех, оживленные голоса. Потом в эти сильные голоса вплетаются девичьи... Да, право, из-за девчат ли эти драки? Вон их сколько — всем невест достанет!

Вспоминая тот зимний час замирения, думаю: что же все-таки произошло тогда?

Надоело им? Или жестокий угар, оставленный недавней войной, развеялся? Повзрослели? Поняли, что не чужие, что — братья?

ТОНКАЯ РЯБИНА

Не всякий раз, но часто, возвращаясь с работы домой, в окраинный городской квартал, составленный из многоэтажных, вразброс, железобетонных зданий, похожих, быть может, на серые отроги горного хребта, вспоминаю я далекую теперь деревеньку в полевом краю; это воспоминание рождает не сам железобетонный массив, а те тонкие рябины, что опоясывают его весь, да еще растут перед окнами у каждого дома, хрупкие сами по себе и еще, более хрупкие на неприветном фоне тяжелых холодно-зернистых стен; я замедляю шаг, признательный неизвестно кому и чему: может, домоуправу-поэту (как еще назвать человека, который сумел высадить эти нежные деревца с шаровидными кронами?), может,

обстоятельствам (ничего, кроме рябины, в каком-нибудь Зелентресте не оказалось), признательный и своей памяти.

...В деревушке той, впрочем, не было ни одной рябины. Стоял послевоенный весенний вечерний час, и — что ж? — смуглое деревце это странным образом возникло, затрепетало узорчатыми мерцающими листьями; был праздник Победы, и на подворье моей родственницы тетки Ольги — в хате не разместились — за праздничный стол собралась чуть ли не вся деревня, человек пятьдесят, и вот что бросилось в глаза: кроме нас с отцом, забредших из соседней слободы, не было здесь ни одного мужчины. Даже среди детей одни лишь девочки.

Все женщины оказались мне тогда немолодыми и как бы на одно лицо «тетками», хотя иные из них, верно, были и молодые, и красивые, и, будь я несколькими годами старше, я бы это почувствовал вернее, а так... Вспоминай теперь, какую она была, с какими — серыми или карими — глазами, «тетка» Мария, чей голос, задушевно-пленительный, и повел:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина?..

И женщины, сколько было их, подхватили песню, грустнее и краше которой я уже не слышал; они пели так, что сама загадочная песенная рябина словно бы обретала образ прекрасной женщины; я будто чувствовал ее дыхание, и казалось, она сейчас откроется взору. В то же время и в каждой из певших словно бы соприносился и образ рябины...

Мне только позже стала понятной потрясающая проникновенность того пения. Ведь каждая пела о своей судьбе: в деревню, отдавшую фронт полсотни мужчин, не вернулся ни один.

Видно, сиротине
Век одной качаться...

Гораздо позже, думая о том, как много у нашего народа песен, столь чутко выражающих его душевную жизнь, что их никогда не устаешь слушать, потому что все, что есть сильного и подлинного в нашем народе: доброта, открытость, ширь-размах, воля, тоска, согревание, сострадание, радость, печаль, удаля, — есть и в них, думал я неизменно и о судьбе песни-рябины.

Или тот, кто создал ее, предчувствовал, что будет в серединной России деревенька, в которой после войны не останется мужчин, а лишь молодые вдовы?

Когда я приезжал в последний раз в родные места, деревеньки той уже не увидел. Бугорки глин, сотлевшие бревна в бурьянах, яблоневые пни — вот и все. Но часто, возвращаясь с работы домой и видя тонкие рябиновые деревца меж панельными глыбами, слышу, как давным-давно в вечерний час женщины-рябины поют свою чистую поминальную песнь.

ГОРЬКИЕ КОЛОСЬЯ

«Хобот!» — отрывисто крикнул Колька; и два Ивана, Петька и я кинулись бежать врассыпную, но все в сторону Белого яра, глубокого яра, до которого простиралось ржаное поле. Иссушенная стерня остро колола, пот застил глаза, но лучше так, чем вновь изведать короткий хлыст полевого сторожа; сколь он горяч и крут, испытал каждый из нас; Хобот за триста шагов, а уже чувствуешь его режущий короткий замах. Мы с Коль-

кой, в невидяще-ошалелом беге вновь оказавшись вместе, скатились в глубоченный овраг, распарывая кто рубашку, кто одни-единственные штаны, больно ушибаясь, сдирая о камни и бурьяны кожу, но не плача от боли и обиды. Миг — и затаились на дне оврага в вымытой дождевыми и внешними водами выемке, над которой нависал густо росший шиповник.

Через короткое время над нами, казалось, над всем белым светом понеслась головомная разбойная ругань. Что мы могли противопоставить ему, сильному своей властью объездчику, бегавшему пешком быстрее конного, двужилному, с длинным носом, таким длинно-несуразным, что именно ему он был обязан своим чудным прозвищем: Хобот? Он был еще с детства однорук, но мускульно-жесткой рукой он мог все, подчас то, чего не могли двурукие: косил траву, пилил и строгал, греб веслом, возился на пасеке, расставлял силки, охотился на зайца и даже на волка; этой же рукой он и взгревал нас, когда мы попадались ему на колосках. И что были мы перед его железной силой, которой боялись даже взрослые? Самое обидное, что рожь на этом поле была скошена и убрана нашими матерями, а редкие оставшиеся колосья — что с них? — выпади один дождь, и они почернеют. А так — все лишняя пригоршня хлеба в бесхлебном дому.

С четверть часа выстоял Хобот на кромке оврага, и не на миг не утихал поток его брани и угроз. Наконец ушел. Но мы еще долго были не в силах подняться, придавленные к земле не столько страхом, сколько обидой и унижением. А когда взобрались наверх, Хобот вышагивал далеко на увале. «Гранатой бы его, гада!»

В наших холщовых сумках колосья не скрыли и донышка, но собирать их дальше мы уже не могли. Пусть не было на этот раз хлыста, но унижение оттого, что мы прятались... Почему? Что дурного совершили мы? Через многие годы при встрече мой друг сознается, что ему несколько раз снилось одно и то же — как он убегает от Хобота. И всякий раз он просыпался от страха и стыда.

И я думаю. Наверное, мы были бы сильнее, и добрее, и талантливее, если б не тот Хоботов хлыст. Ведь что за жребии: в каждом селе выискивался в ту пору свой Хобот, добровольный палач детства, малых и взрослых, «оберегавший» землю от тех, кто был рожден на ней и оставлял на ней пот и кровь.

ФИЛИНЕНОК

Филиненок еще ничего не умел в этом мире — ни летать, ни охотиться, ни защищаться, и, выдернутый из гнезда злодейской рукой Васьки Чугунка, как бы в оправдание своей фамилии и впрямь пребывавшего вечно в грязи и саже, ничего не мог понять: зачем ему связали ноги, зачем швырнули на дно оврага, зачем причинили жестокую боль — Васька первым же, острым и увесистым камнем не промахнулся. Затем стал швырять камни один за другим. Колька и я — что мы могли поделать? Чугунок на несколько лет старше, сильнее, не раз уже мы бывали им биты. Самое обидное и опасное заключалось в том, что он не признавал никаких правил честной драки: не задумываясь, бил всем, что попадалось под руку — палкой, камнем, болтом, куском железа.

Филиненок — надо же! — оказался слишком горд, чтобы засуетиться и потеряться в страхе, но боль была болью, и в наивное устрашение своего мучителя он время от времени приподымал крылья, хлопал ими, сип-

ло хоркал; но потом замолчал и грустными немигающими глазами глядел близоруко вверх; на голове, чуть запрокинутой, веером расходились опаловые перышки, и такая была беззащитность в этом светло-буром живом комке...

— Перестань! — крикнул Колька.

— Оставь, а то... — Но не успел я досказать, как огромный, с голову, ком высохше-твердой земли, поднятый Васькиными руками, обрушился на птицу.

Одновременно, не сговариваясь, мы кинулись на Ваську, обида, праведный гнев придали нам силы, и на этот раз схлопотал и он, но все-таки больше досталось нам: минуту спустя и Колька, и я смазывали с лица кровь, а Чугунок, вооруженный камнями, угрожающе обещал:

— Убирайтесь, а то и с вас чучел понаделаю!

Месяц спустя, узнал: убитого филиненка Чугунок употребил на чучело и выгодно сбыв в районе. На вырученные деньги он раздобыл ремень с увесистой бляхой, нож с выбрасывающимся жалом и все лето задирался, ища ссоры со сверстниками, всякий раз восклицая: «Этого не хочешь?» — и делал вид, что расстегивает ремень.

Теперь, годы спустя, когда многое повидал на веку, видел, как умирает человек, как гибнут люди — трата невозполнимая, — теперь, когда ко многому почти привык, нет-нет да и вспомню я того филиненка с грустными непонимающими глазами.

ГЛУБОКОЕ ЭХО КОЛОДЦА

Колодец стар, как твоя слобода; черен, замшел его сруб, иные венцы подгнили, давно бы пора заменить, да никто теперь уже не заменит: с того дня, как в нем погиб двадцати лет горемыка Егорка Блаженный, погиб и сам колодец: покинут людьми. Лишь воробьи как ни в чем не бывало гнездятся в щелях меж венцами, никакой кот им здесь не страшен.

Вода была: пить — не выпить и не напиться, недаром из такой глубины ее извлекали, что ворот крутишь, крутишь — устанешь: ведро вниз летело долгие секунды. Впрочем, нет ни ворота, ни ведра, загравенело теряется некогда до глянца битая тропка, и лишь изредка ребята, играя в жмурки, наведываются сюда. Кто-нибудь заглянет в темный зев колодца и не увидит прежнего блеска далекой воды: перья и воробьиный помет скрывают ее от праздного взгляда. «Ау!» — крикнет кто-нибудь. И, угрюмо, больно ударяясь о венцы сруба, о меловые стены, пойдет по колодцу эхо, пытаясь вырваться на волю. И не вырвется. Мрачно затихнет. Нет, не сродни это эхо полевому, лесному, — в тех много солнца, лукавства, широкости. Это же — как угроза!

И, слушая его, начинаешь по-детски верить бабушкиному слову, что это душа Егорки блуждает в колодезной полутьме, и некуда ей деться, и не вырваться ей отсюда.

Никто не знает, что случилось с ним, нечаянно ли оскользнулся, или что-то замерцало ему там, в глубине, и сила сумасшедшая низринула его вниз, но считают, что так ему на роду написано было. Дед его утонул в озере, отец погиб в войну на эсминце; вода была их семейным несчастьем.

«Ау!» — крикнет кто-нибудь, и оживает неприкаянная душа, и угрюмо мечется, ударяясь о колодезные стены...

ПЧЕЛКА-МОХНАТКА

Едва закончился урок родной речи, как я, давясь слезами, оставил класс, не зная, куда мне деться, сбежать, провалиться от великой несправедливости в мире. И что толку в школьном сидении (впереди еще было два урока), когда пчелка-мохнатка уснула навеки? Белый свет мне был не мил, оттого что она «уснула навеки». А еще час назад ничто не предвещало беды, урок был как урок: после проверки домашних заданий учительница по заведенному правилу стала читать новое. Звучал рассказ о пчелке-мохнатке, о том, как она мирно собирала мед для своей семьи, как ей жилось хорошо среди своих подруг на пасеке до той поры, пока не появился злой разрушитель заходящий Мишка-Топтыгин. Бесстрашно кинулась пчелка-мохнатка на незваного гостя, вонзила в него свое жало, а дальше — я знал, что будет дальше, и все же не ожидал, что концовка рассказа так меня потрясет. Здесь все, наверное, заключалось в этих жалостных словах: «уснула навеки...»

Когда отец — учитель у старшеклассников — двумя часами спустя вернулся из школы, он застал меня все еще не отошедшим от горя.

— Что с тобой?

— Пчелка-мохнатка, — заикаясь, пролепетал я, — уснула навеки, — и вновь залился слезами.

Отец стал меня утешать: «Не расстраивайся... не расстраивайся. Ведь прогнали же Мишку-злодея? Прогнали. Вот что главное. Пчелка погибла не зря, понимаешь? А в этом мире где жизнь, там и смерть. Вон погляди, сколько их, неживых пчелок, у колодца?..»

Это я знал. Видел, как много их плавало без признаков жизни в застойной воде в приколодезном корыте. Бывало, поят коня иль коров, с размаху опрокинут ведро в корыто, и закружились, как золотые точки, опрокинутые навзничь пчелки, беспомощно ища опоры. Подашь прутик одной, другой, третьей — ухватятся; их тут же на сухое; обсохнут — и вновь за труды свои... Но ведь это когда успеешь. Все чаще, подойдешь к колодцу, а их там... как на пчелином кладбище. Огорчался и тогда, но чтоб так...

И долго у меня еще навертывались слезы, едва вспоминал я трогательную повесть о пчелке-мохнатке.

По взрослости обретаешь жесткость и в деле, и в слове. И, прочитав ныне что-нибудь наподобие «уснуть навеки», разве поморщишься от сентиментальности написанного.

...Но как же часто хочется в тот мир невозвратного детства, где слова исторгали чистые слезы. Впрочем, любые слова можно написать и сказать по-разному. И если услышанное в твоём детстве слово трогало до слез, какое счастье, что оно явилось и светило тебе на заре жизни.

КЛЕН КУДРЯВЫЙ

Учительница, подойдя к окну, которое застил высокий старый клен, говорила: «И у дерева своя судьба. Вот клен... Кто-то его сажал, кто-то оставил на нем зарубки... Может, собирался срубить в холодную зиму? Или, может, знак какой? Клен, скажете, эка невидаль. Но у него все свое — и ветки, и корни, и листья».

Старая учительница, мать пятерых сыновей, на миг умолкает, невидящими глазами обводит класс, будто — отведя стены — ищет далекое... Ни один из пятерых не вернулся с войны; затем продолжает: «Видите,

какая тугая земля — меловая. Лопатой не укопать. А корни, как ножи, вспарывают грунт. Завтра у вас выходной. Вам задание: напишите о дереве. Хоть о клене, хоть о березе или ясене в лесу...»

Все воскресенье пробыл я в приречном леске, ватажась шумно со сверстниками среди светлокорых осин и ясеней, влезал на вязы и дубы, пугая сорок, в палой листве дубняка искал патроны. С утра до вечера видел листья, ветви, корни. Но о дереве так ничего и не написал.

На другой день учительница попросила представить написанное. Мне показывать было нечего. Она не стала меня корить, да лучше б отругала: было стыдно... Мысленно я пообещал исполнить наказ учительницы. Но начались летние каникулы. Не написал и осенью.

Прожив жизнь, понимаешь: дерево — загадка... И смуглый осокорь на приречном холме, и белая береза, одинокой свечой мерцающая в темном ельнике, и нагая ольха у озера... И у каждого древа — своя судьба. Видел, как они пробивают надгробия, как гнездятся на крепостных стенах, как годами мокнут в воде, видел: стоят, исхлестанные артогнем, обугленные молниями, возрастающие на куполах забытых соборов, жаждущие и не могущие ни спуститься на землю, ни дотянуться до неба.

Слушаю песню про клен зеленый, клен кудрявый и вижу клен у школьного окна, которого давно уже нет и который, однако, живет вместе с памятью о первой учительнице, у которой воевало пять сыновей и ни один не вернулся с войны.

СТИХИ В ХОЛОДНОМ КЛАССЕ

Когда человек, невесть откуда взявшись, на слободской улице вдруг начинает размахивать руками и разговаривать сам с собою, как тут любопытствующему простодушью не удивиться: да все ли у него дома? Да ведь и дома самого не было; в гражданскую войну пропали отец и мать, оставив семилетнему сыну первое знание — чуткую любовь к отечественной словесности да еще умение играть на рояле. Темный рояль сгорел, как и вся крохотная усадьба, в которой и был он наряду с тремя шкапами книг главной ценностью.

Когда невесть откуда взявшийся человек открыл дверь нашего класса, мы обо всем этом, разумеется, не знали, но уже слышали про странности нашего нового учителя, что среди зимы сменил замерзшую в поле учительницу; вот черточка как для разгадки: у бедной нашей учительницы вечно зябли руки и она боялась большого снега, словно предчувствуя свою судьбу; Дмитрий Игоревич, напротив, не боялся «ни хлада, ни мраза», расхаживая от квартиры до школы и в самом выстуженном классе в одном свитере, в то время как нам и тепло одетым было не жарко. Был он высок, чуть сгорблен, глаза иконные: огромные, темные, но излучающие свет.

Он у нас учительствовал с месяц, и странное и хорошее было его учительствование. Спрашивал он мало. Больше рассказывал. Подолгу не открывал классный журнал и вдруг за одно лишь внимание выставлял всем сплошь примерные оценки. Знал он, казалось нам, обо всем на свете и разговаривал с нами как равный с равными и, как малое дитя, огорчался тому, что мы так мало знаем. С десяток привычных имен, даже того меньше: Пушкин, Толстой, Некрасов.

«А Кольцов? Слышали о нем?» — спросил однажды учитель уже в самом конце урока родной речи. Ответом ему было наше молчание-припомни-

вание, переросшее в незнание. «Ну что ж вы... — огорчился учитель, — ведь он наш земляк. Босыми ногами, как и вы, ходил по мокрой траве...» Следующим и последним уроком было пение, но — какое там пение? — учитель, войдя в класс и выждав, пока мы утомонились, вдруг начал:

*В края дальние пойдет молодец: что вниз по-Дону по набережью,
хороши стоят там слободушки! Степь раздольная далеко вокруг...*

Он читал задушевно и сильно, с каждым словом все более проникаясь чтением, и что-то, наверное, в каждом из нас струнулось, даже озарилось сиянием того каждому из нас знакомого летнего дня, когда на приречный луг, брызжащий синим, красным, желтым, выходят с отточенными косами слободские косари. Отодвинулся, стал несуществующим класс с замороженными, сизыми от зернистого снега стенами, а «понадвинулась» степь, жаркая и пахучая, с травами выше нас...

Учитель прочитал стихи и вновь начал их — теперь уже петь. В пении голос его был глуше, но еще задушевнее, и постепенно мы заслушались, и никто не заметил, как вошли завуч и с ним еще двое незнакомых. Увидев, Дмитрий Игоревич оборвал себя, и на лице его выразилось недоумение, что за непрошенные гости?

— У нас урок пения? — не здороваясь, спросил завуч, сухой старик с желто-зелеными, никогда не улыбающимися глазами. — Почему ж тогда ваши ученики не поют?

— Рассказывал о Кольцове, а что за Кольцов без песни? — доброжелательно и просто ответил Дмитрий Игоревич.

— Кольцов? Откуда Кольцов? Что у вас сегодня по программе?

— По программе?... — Какой-то миг Дмитрий Игоревич казался растерянным.

— Придется вам отпустить их пораньше. Сейчас отпустите! — сказал тоном приказа вовсе не завуч, а один из незнакомых, тоже, как завуч, сухопарый, с темными волосами и глазами.

— Ну что ж, — учитель будто спотнулся на слове, но спокойствие уже вернулось к нему, — на время, ребята, мы с вами расстанемся. Вы только... не пропадите. И мы с вами еще споем. В поле, на косовице!

И вот много лет спустя в притемненном сияющем театральном зале идет торжественное чествование памяти народного поэта-земляка, и слова «великий», «гениальный», «проникновенный» к делу и бездельно слетают с уст хвалящих. Кто-то называет число положенных на музыку кольцовских стихов.

Но знаю, среди множества других уже не зазвучит «неучтенная» песня моего учителя. Поет хор, и медленно, необозримо меня уносит в недалекий, увы, далекий край, где степи и луга детства, где травы по пояс, где мы так и не побывали с учителем.

...И слышится голос его, из невозвратных глубин вызванный силой моей воли, любви и признательности.

ВО САДУ ЦВЕТУЩЕМ

Глухой мокрой осенью, возвращаясь из соседней деревни, завернул я в старый усадебный сад, черневший недалеко от дороги, на пологом косогоре. Не знаю, почему я решился на этот крюк: сад дважды в войну был

полем боев, столь ожесточенных, что уже и после войны смерть не хотела уходить отсюда, таясь в неразорвавшихся минах, гранатах, патронных обоймах; дважды здесь подрывались колхозные телята; и хотя потом саперная команда «пропахала» все окрест, но старшие постоянно наказывали нас держаться от сада подальше.

И вот в первый раз медленно брел я меж задичалых яблонь и груш, меж кустов терновника и сирени, по бурой палой листве, то и дело останавливаясь. На бугорках, смутно вычерчивавших основание разоренной усадьбы, в бурьянах, в палой листве на каждом шагу попадались осколки, гильзы, ржавый искореженный металл. Иные стволы были будто срублены, лишь черные огрызки; из одного торчал, величиной с ладонь, осколок. Но не это меня поразило. В размытом водой овраге я резко увидел, будто ожегся: кости, много костей и чуть в стороне два человеческих черепа...

Мне уже минуло двенадцать лет, иными словами, я уже был в той предотроческой поре, когда чувствуешь еще острее, чем в раннем детстве, и спрашиваешь уже не только других, но и себя. Кто они были? Двое наших? Или пришельцев? Отступавших или наступавших? Или то были наш воин и чужой, схватившиеся в единоборстве? Эти кости вымыты весенними водами, но разве здесь им место?..

Так случилось, что я вновь побывал в том саду лишь годы спустя. Было самое начало мая, и сад стоял в цвету. Боже мой, как же он бессмертно цвел, какой белый звон гудел вокруг! Правда, пни — пасынки войны — чернели в бурьянах, как несуразно толстые грифельные стержни, но что до них было этому воскресшему саду, цветшему так яростно?

В празднично гудящем сновании пчел, опыляющих белые деревья, в торжественном гуле майских жуков и шмелей, в свадебных празднествах божьих коровок — во всем начиналось новое, рождалась жизнь новая!

Но те черепа... Обелиск на братской могиле был почти невидим в зарослях сирени, тоже зацветающей.

И как же не благодарить Божий мир, если сад воскресше цвел, переборов тлен, отраву тола, жестокие осколочные порезы, не столь давнюю здесь человеческую ненависть?!

«Природа знать не знает о былом, ей чужды наши призрачные годы...»

ПИСЬМА ЖИВЫХ И ПОГИБШИХ

Война. Фронт и тыл. Шли в города и деревни письма, и бывало тех писем на день — как солдат на войне. Эшелоны конвертов — разноугольных, сразу все объясняющих форм. Если в три угла конверт — значит: жив! Если в четыре, казенный — значит: похоронка! Страшные четырехугольники, острые, как бритвы, углы! Хотя, случалось, и они — в горькую радость: казенное письмо-извещение из госпиталя: приезжай, забери калеку!

Почтальон-письмоносец был как Харон, как Гонец, как всеильный Вестник. А почтальонами-письмоносками-то были сплошь женщины, чаще девчушки; взрослевшие от двора ко двору, за один обход деревни, потому что в сумке была непомерная тяжесть скорби и укромная ноша надежды.

— Много ль беды несешь, дочка? — спрашивал у молоденькой писмоноски старик; он потерял уже двоих, а война еще не кончилась, и третий сын воевал, если только еще воевал...

— Радость несу, дедушка, радость!

И уже знала она каждую кочку и выбоину на дороге от почты в соседнем селе до деревни, и знала, как родную, каждую хату, и в каждой хате — у кого какие глаза. Потому что часто не выходило разговаривать иначе — как на языке глаз.

А сердце было молодое, а сумка тяжелая...

А оттуда, с Колымы, письма не приходили вовсе: без права переписки.

БАНДЕРОЛЬ ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ

Четверть века спустя после того, как он оборонял Севастополь, оттуда пришла крохотная, из фанерных дощечек бандероль. Раскрыл ее и увидел полуистлевшие документы своей молодости — комсомольский билет, воинскую книжку да ключок источенного сыростью письма, ничего не разобрать, кроме двух не окончательно выцветших слов «... тянется ночь...»

То была последняя ночь обороны, и он уже не мог отправить написанного письма, он даже с жесткой солдатской ясностью подумал, что последняя ночь обороны — его последняя ночь вообще, когда увидел в предутреннем мраке молчаливо и угрюмо стывшие на взгорье немецкие танки, первый миг настолько расплывчатые, что их можно было принять за возы с сеном. Но откуда здесь было взяться им? Танки, да не просто вразброс, но в строгом соответствии с геометрией обхватов, котлов и колец, железная дуга, концы которой едва не упирались в море. Но как удалось приблизиться им так тихо и так близко? И как безнаказанно и казняще стоят, будто зная, что у обороняющихся уже нет ни противотанковых ружей, ни гранат, а в полку остались считанные калеки, отрезанные от своих с земли, с неба и с моря. Самое противоестественное заключалось в том, что в танках ничем — ни единым звуком — не выдавалось присутствие наступающих, будто немцы, спеша заняться иными участками, покинули свои машины в уверенности, что те управятся и сами... Что-то психологически сламывающее было в этой молчаливой недвижной железной дуге.

На миг ему остро, до крика захотелось оказаться далеко по ту сторону от железной дуги, очутиться в родном селе, с высокой кручи взглянуть на зеленый в желтых вспышках одуванчиков луг, увидеть семью, сына. Но тут же пришло и отрезвление и спокойствие. Только было жаль, что сын никогда не узнает, как он двести с лишним ночей и дней оборонял его и таких же малых, как он, защищал Севастополь, родное село, полевой край, и, наконец, всю Россию здесь, на этих безрадостных, выжженных огнем и солнцем приморских холмах. Не узнает сын, раз эти танки... их железная дуга...

Но и у жизни своя дуга! И еще выпало ему освободить Севастополь, и не только Севастополь: он вернулся в сорок пятом в родное село, и было у него одних лишь медалей «За освобождение...» да «За взятие...» пять. И сын узнал о том, как сражался Севастополь! Может, узнает и внук. Он еще крохотный, но что ж... У жизни своя дуга!

ВЕТКИ КРАСНАЯ И БЕЛАЯ

Две деревни располагаются рядом. Одна называется Красная Ветка, другая — Белая Ветка. Почему Белая? Почему Красная? Никто не знает. Не знает и сухой старик, с которым беседует любопытствующий гость. Они сидят на бревне у самого берега реки, разделяющей деревни. Деревушки — как родные сестры, как близнецы: лес — за околицами, вербы понад берегами, а в деревнях избы с зелеными да синими ставнями, почти сплошь закрытыми.

— Почему Красная, говоришь, и почему Белая? — переспрашивает старик и разъясняет: — Лет двести назад я бы тебе, пожалуй, сказал. Лет двести нашим Веткам. Крепкий корень был. И народ крепкий, умелый: лукошки да всякую утварь изговялял — на три губернии славились. В отходы хаживали, учили, учились разному ремеслу. А потом перестали ходить. Да и как? Легче в рай было попасть, чем паспорт выхлопотать. А на ниве бьешься, бьешься, а за труды палочки на трудодень получаешь... Земля родная будто неродной стала... А потом стали паспорта и нашим выдавать, и кинулись — кто покрепче да помоложе — то ли за длинным рублем, то ли за длинным счастьем подалее от дому. Квартиры им в городе не больно дают, все больше по общежитиям, оттого или еще отчего детей мало рожают, а пьют много. Так что неперспективные, надо ж такое придумать, наши деревни не в город переселяются, а просто помирают. А кто ж хлеб убирать будет? Молодые куда-то подевались, ну а мы скоро помрем. Да вы там и без нас разберетесь, чего-нибудь искусственное создадите...

Старик улыбается вдруг, и улыбка у него хорошая и грустная.

У самого берега куст лозы, схваченный багровой осенью, белым морозцем, и вперемежку — ветка белая, ветка красная.

ДО БУДУЩЕЙ ВЕСНЫ

У муромской дороженьки стояли три сосны,
Прощался со мной милый до будущей весны...

В вечерний час первого послевоенного июня во дворе нашего дома, под цветшими акациями, собрались соседки, и пела девочка, может, пяти, может, семи лет, а ее держал за руку пожилой солдат в пропаленной на рукавах гимнастерке.

Девочкин голос был чистый и такой неизъяснимо волнующий, что женщины не могли удержаться от слез, казалось бы, за войну повыплаканных до слезинки...

Лицо ее, милое, нежное, с высоким лбом, было сплошь иссечено осколочными оспинами, погубившими ее глаза.

Ее сверстник, я не мог тогда понять жуткого смысла всего этого: слепая девочка поет такое, что петь впору взрослой девушке, уже испытывавшей и любовь и горечь измены. Что была ее песня? Благодарность за наш приют-ночлег и скудные хлеб-соль? Или это была печаль ребенка, в глазах которого никогда не отразится зеленое поле, синяя речка?

Наутро они ушли, две пораненные судьбы: солдат, потерявший семью, и девочка с пшеничными волосами, спасенная им.

...Но, уйдя долгой дорогой, они странным образом остались в памяти. В беззаботные дни, когда выпадает довольство, утешный час, вспом-

нится вдруг девочка, поющая взрослое, и тогда торопишься уйти с какой-нибудь веселой вечеринки, будто само твое присутствие, веселье может принести боль далекой девочке, которая, держась за руку неродного-родного отца, все еще в твоей памяти идет по белу свету, не видя его...

Четверть века я не был здесь. Шел полем, с трудом узнавая когда-то исхоженные места; узнав же — радовался, будто заново рождаюсь.

Вот лог-лещинник и увал, за которым моя слобода двумя ветками-улицами упирается в донской берег. Вот деревушка... не мазанки теперь, а крепкие домины. Но почему же не слышны человеческие голоса? Шел вдоль деревушки, и становилось понятным — почему: закрытые окна и двери чернели, белели скрестьями приколоченных досок. Загадал желание — лишь бы встретилась живая душа.

Когда я уже потерял надежду, калитка последнего дома открылась, и девушка в ситцевом платьице скорым шагом направилась к колодцу — у самой околицы.

Подошел. Поздоровался. Попросил напиться. Россыпь конопушек на нежном лице напомнила вдруг детство — слепую девочку, поющую «У муромской дороженьки...»

Огромные синие глаза юной незнакомки сияли, словно вобрали в себя весь свет небесный.

— Вы живете здесь?

— Нет, отдыхаем с мамой.

Уже почти верил, что она — дочь той далекой, из послевоенного детства девочки, словно влившей в огромные глаза дочери всю свою страстную жажду видеть.

Захотелось вдруг рассказать о том, как на детской дороге встретилась мне когда-то девочка, как она была похожа на нее... Девочка, которую война жестоко хлестнула по лицу тяжелой веткой взрыва. И сказал только:

— Спасибо. Счастливого отдыха!

— А вам счастливой дороги, — улыбнулась она. — Счастливой дороги! — прокричала она вдогон, наверное, радуясь редкому путнику, солнцу, голубому небу, зеленой траве у колодца.

ИВАНОВА УЛИЦА

У пятерых друзей, живших на дальней сельской улице, почти одновременно, весной, незадолго до войны родились сыновья, и всем им дали одинаковые имена: Иваны! Отцы ушли на фронт. И все пятеро не вернулись. Но пятеро Ваняток подрастали на одной улице, росли несмотря ни на что... ведь какая тогда была жизнь: ни хлеба, ни одежды, ни обуви... пять маленьких детских ртов хотят есть, просят есть, пять юных померкших вдов отчаянно бились с нуждой, с бедоу-судьбою. И хаты их покопсались, и сады вымерзли, а те яблони, что не одолел мороз, одолели топоры-налоги. А после измороженной убойной зимы — сухое, как гарь, лето; и снова — без хлеба, и снова — с нуждой, и казалось, лихолетью конца-края не будет.

Но настали иные дни, и заколосились щедрообильные хлеба, и выросли крепкие яблони, а главное, выросли сыновья тех пятерых, что с войны не вернулись. Выросли, поженились и выстроили в ряд и лад небывало приглядные, просторные дома, с голубыми верандами, с оцинкованны-

ми, в перламутровых пятнышках крышами. И казалось, хорошо живут под этими крышами, всего там вдосталь, и не будет износу этим домам, и никогда в них не стихнет детский смех, детский шалостный крик. Но прошли и годы не годы, семь лет — как семь дней, и поразъехались кто куда. Один Иван с семьей — на дальнюю станцию, где устроился на авторемонтный завод, другой — в северный зауральский городок, где прежде служил, третий — на Дальний Восток, а у четвертого — так и вовсе распалась семья, пропил он ее и пропил дом свой. Лишь один из Иванов, прозванный в детстве Главный, остался в селе.

Обрюзгший, остарелый, держась за калитку, стоит он, не выходя со двора, словно не зная, куда себя деть. Трудно, немислимо узнать в этом медведе того юркого, смешливого и смышленного, что был в детстве ребячьим предводителем; куда подевалась его стать?

Перед ним в красных татарниках полыхает ящеричный пустырь. Там, где была дорога, непробудные бурьянные заросли, крапива и лебеда. Куда же подевалась рать сверстников, кто бы мог скосить, извести бурьяны и проторить тропинки к домам с оцинкованными крышами, там грубые перекрестья досок опечатали двери и окна? Но какая рать, ежели его единственная дочь уехала из села, надеясь в городе заполучить и деньги, и мужа, и счастье.

А брошенные дома — как памятники несбывшимся надеждам и незаметным, несчастным судьбам, унесенным и разбросанным по миру странными и страшными ветрами. Дети покинули родину, которую деды, отцы их до последнего вздоха пытались отстоять, уберечь.

Лебеда и крапива — как лес. Да битый щебень в лебеде и крапиве, да ящерицы и пауки. Кто-то скажет: что за печаль — эта умолкшая деревенская улица перед жребием всесветно славных древних городов, от которых мало что сохранилось, кроме предания! Пусть так. Но зачем же тогда были неизмеримые страдания наших бабок и матерей, гибель наших дедов и отцов? Зачем? Чтобы на родине вымахал победный сорняк?

КРИК НА ЛЕВАДЕ

И он, сильный, никогда ничего не боявшийся, с беспощадно трезвой ясностью почувствовал вдруг, что ему не выбраться. Отяжелевший, коченеющий, он барахтался в неглубоком, ему по пояс овражке, в болотисто вязкой грязи, и не было ничего ужасней и нелепей, потому что овражек отделял луг от огородов, сразу за которыми тянулись подворья и дома, среди других и его, недавно отстроенный, под оцинкованной крышей с веселыми петухами по углам. Помереть в сотнях метров от дома?! Ни про что сгинуть! Его же две войны не сразили! В танке горел, в болоте мокнул и мерз. После войны его в тракторе приподымало на воздух тяжелой миной. Друзья, смеясь, называли его заговоренным. И теперь это слово «заговоренный» металось в его подсознании, и металось редкие огни, возносясь и срываясь вниз при каждом его рывке освободиться. Все-таки ни к чему он много выпил и зря он затеял — через луг; и, подумав так, он напрягся в последнем отчаянном усилии. Но жадная грязь не отпустила его, и тогда он, никогда ничего не боявшийся, выдохнул долгий жутковатый крик, который услышала вышедшая на двор соседка-старуха и который почудился ей криком совы.

СТАРУХИНЫ СТРАХИ

Во всем селе не найти второй такой хаты — ветхозаветной, долу глядящей, под соломенной крышей, на которой пышно угнездилась лебеда. И слева и справа по улице — многокомнатные, опоясанные верандами дома, а здесь будто иной век, будто нежилая хата. Но в хате живая душа есть. Максимовне восемьдесят восемь лет. Она уже редко выходит на свет божий, все больше — в старых стенах.

Сын соседа, приехав в отпуск к отцу, за обедом расспрашивает про село и среди прочего: «А как Максимовна? Как ее жизнь?» — «Какая там жизнь! Не спит, не ест, все думает: если будут воры лезть, то в какое окно выпрыгивать...» — «Ну, скажешь!» — засмеялся сын. А время спустя пошел проведать Максимовну, не раз в детстве покрывавшую его шалости.

Было восемь часов вечера, по-ноябрьски темно, но свет в хате не горел. Он постучал. «Кто?» — сторожко и тяжело спросила старуха. Узнав, обрадованная, включила свет. Из крохотной передней он прошел в крохотную горницу. Огляделся. Все как год назад, когда он навещал ее. Малышки-окошки, на подоконнике — ровно разложенные открытки, странно видеть их здесь: первый космический спутник, первый космонавт, ракета на старте. И на стене — открытки, все больше цветы: сирень, флоксы, хризантемы; в простенке — зеркало в гирлянде из бумажных цветов; поверху плакат — портрет стройной, всеми надеждами юности озаренной девушки. Образ в рушниках. На земляном полу — дорожки. Темный прабабушкин сундук. Какой здесь век? Хотя... радио, электричество. Да и эти «космические» открытки.

— Чего ж радио молчит? И что в потемках сидите?

— Боюсь, Алеша. Боюсь, что не увижу и не услышу, ежели ко мне недобрые люди придут. Оттого и света не зажигаю. Думаю, станут заглядывать в окно, я их прежде увижу. А со светом они меня увидят раньше.

— Да кто ж придет?

— Ой, Алеша, мало ли кто. Сейчас пьют крепко. А выпивка денег требует. Я бы все до копейки отдала, но как быть: бежать или не бежать? В какое окно выпрыгивать: от сада или от вашего дома? Моя знакомая в соседней деревне — так у той и ружье есть на случай, если кто ночью ползет в окно. И охотничий билет есть.

Гость вынимает подарки: пряники, конфеты, книгу сказок.

— За сказки спасибо, Алеша. Ты знаешь, как я люблю читать. За прошлую зиму и «Вечера на хуторе близ Диканьки», и «Дубровского» прочитала, спасибо маме твоей — приносит из библиотеки.

— В очках читаете?

— Без очков. С очками хуже. А без очков все вижу. Если б не боялась, читала б всю ночь, а так... Чуть стемнеет — ложишься, света не зажигаешь, все стережешь глазами окна. Горюю, что нескладно хата стоит: окна во двор, а не на улицу. То бы я видела, вдруг кто ко мне заворачивает, калитку открывает...

Ночь. Зрячая старуха зорко всматривается, не появится ли кто в окне. Восемьдесят восемь лет. Вокруг ее прожитой жизни — кладбище. Не только муж, братья и сестры, но уже и младшее поколение — сыновья, дочери, племянники — покоятся в земле. Сколько пережито! Старший брат поднят на вилы в девятнадцатом; младший прятался в старом доме, не

спрятался: тоже убили. Дом сгорел в войну. Муж измок в болотах. Сын разбился в самолете, внук — на мотоцикле. Но не об этом думает старуха по ночам, зорко всматриваясь в ночь.

А утром: «Боже, где ж моя смерть?»

СПАСИБО, МОИ РОДНЫЕ!

В летний послеобеденный час сидят на завалинке, в тени, неспешно, тихо беседуют, вспоминая прожитое. Дедушка в холщовой рубашке, подпоясанной широким ремнем. Волосы на голове седые и борода седая, глаза, некогда, будто Дон, синие, — выцветшие... А бабушка в белом с темными горошинами платочке, дробненькая, чистая, как на картинке. Поглядишь — хоть в красный угол их: беззащитное, милое, искреннее во всем их облике. Это единственный их час отдыха за долгий день. От зари до ночи бабушка в хлопотах: убирает в доме, рвет траву-полынь и устилает ею пол в хате, подметает подворье, таскает воду, стряпает у летней печки, моет посуду, выпалывает бурьян на огороде, сушит вишни, — тысяча забот, некогда присест. Не меньше их и у дедушки: вечно пилит, строгаёт, чинит грабли, тяпки, коромысла для «рядка» — всей улицы, рубит, — косит, подновляет ветхий плетень, засыпает овраг, правит мосток на леваде.

Изо дня в день неизбывные крестьянские заботы, в каждодневной круговерти лишь этот малый час отдыха-не отдыха, когда не ложатся подремать, а вот так сидят, неспешно перебирают вчерашнее, сегодняшнее. Чаще же вспоминают.

Они поженились еще в начале века, а стоит на дворе середина его! Сколько прожито вместе и как! Отец говорит, что они, сколько ни живут, ни разу не поссорились. Да бывает ли так? Даже в песне, даже в сказке люди ссорятся, а наяву — дня не проходит, чтоб сосед дед Демьян перед бабкой Ириной костылем не размахивал. Да чего там — какую хату ни возьми, даже самую согласную, нет-нет да и загорится брань, как солома в грубке, так и вспыхнет.

Наедине спрашиваю бабушку: «Правда, вы никогда не ссорились с дедушкой?» — «Ссорились, детка, — помолчав, отвечает бабушка. — Два раза ой как ссорились! Перед самой германской дедушка твой на старосту накричал на сходе. Тот староста худой был человек. И властный, в силе. Я и упрекать, зачем ты с ним связываешься? На его стороне сила». — «А на моей правда, — говорит дедушка». — «Я баба, — говорю, — и то знаю, что от правды твоей жита в доме не прибавится». Ну дедушка и хлопнул дверь. А другой раз, на свадьбе племянницы, он, до водки не охочий, на радостях напился так, что два дня отхаживали. Его жаль, детей жаль, их у нас уже четверо было, самый меньший еще в зыбке лежал. Еле отходили. Радоваться бы, а я его (ему и без того белый свет не мил) извожу, на детей показываю: «Ты же их чуть сиротами по миру не пустил, окаянная душа!»

«Окаянная душа» — единственное и самое страшное бабушкино ругательство. Летает коршун над огородами, высматривая цыплят, — «окаянная душа», коза забрела на капустные грядки — тоже «окаянная душа», мороз побил рассаду — «окаянная душа».

Сидят на завалинке, неспешно, тихо беседуют.

Два дома построили. Четверых кровных вырастили. Да четверых чужих в войну от голода выходили. Сколько раз сеяли и пожинали рожь, да возвращали сады, да чистили колодцы!

Нигде не бывали, кроме отчего уезда, ничего не видели, кроме этого:

село да поле, поле да село, но сколько же в них было такого, что надо было бы взять и мне (да Бог не дал), что согдилось бы во все дни. Их уход я ощутил как обрыв. Что-то невосполнимое обрывалось в моей связи не только с ними, но и с прошлыми веками моей родины.

В детстве, глядя на них, неспешно, тихо беседующих на завалинке, думал: вырасту и раздобуду билет в самый лучший санаторий, где дедушку и бабушку излечат от всех хворей и где будут они жить вечно (думал, что есть такой санаторий и все дело лишь в билете).

Стою на косогоре, и бурьянные стебли жестко чиркают о ветхие скошенные кресты, о крепкие каменные пирамидки. И среди этого печального уголья два бугорка в отцветших цветах, два склоненных куста шиповника.

Мир вам, мои родные!

МАТЕРИНСКИЕ РУКИ

Давнее. Склоняясь над прорубью, мать полощет белье.

Берег обрывист, глубина — сразу у берега, да такая, что саженный шест не достает дна; лед — метровый, январский, странный по окраске: сизый-не сизый, зеленый-не зеленый. И — прорубь! как глубокое вздрагивающее око. Или рана навывлет. Или темная бадья с темной водой; впрочем, вода в проруби лишь на погляд темная, а так — чиста до хрустального звона, прозрачными струями стекает с отжимаемых сорочек.

Руки у матери сизые, насквозь схваченные стужей. Кажется, их уже ничем не согреть, не выдернуть из студеной воды, из ледяной неволи: окунает и полощет, окунает и полощет. Но мальчик-сын даже и не думает, и не верит, что материнским рукам холодно: они всегда такие горячие, когда мать обнимает его перед сном!

Прорубь и страшит, и притягивает. Что там, под ледяным панцирем? Сонные рыбы? Несчастные утопленники? Неразорвавшиеся в войну снаряды? Осколки?.. Для русалок уже и места не остается. Не здесь искать подводное царство, в каком побывал Садко, древнерусский веселый купец. Но почему же так притягивает?

Красные, замученные материнские руки полощут, полощут. Это они его пальцецо, какое он измазал в чернила и грязь, полощут; его штанишки, сорочки, его маечки.

Жаль только, что боль и благодарное признание придут поздно, — когда он уже сам будет взрослым, будет иметь сына, и приснится ему сон...

Сын, солдат, несущий службу на южной границе, вернее, воюющий за границей, вне родины и не за родину, появляется вдруг дома — под ночь и на мгновение; сняв свою фотографию со стены, уходит, успевая сказать: «Позвони по телефону НОЛЬ-ТРИ!» Когда отец набирает номер, раздаётся глухой леденящий подземный голос: «Да, слушает прорубь».

«К чему бы сон?» — просыпаясь, в холодном страхе думает отец. — Вон что творится на южной границе. Зачем там сын?»

Южная граница. Северная граница. Западная граница. Восточная граница. И сколько ни стоит мир — гибнут сыновья и скорбят отцы.

«Великая моя родина... бедная моя родина... несчастная!»

ИЗРАНЕННАЯ ЗЕМЛЯ

Погожее, ласковое лето — все лето, которого он так ждал в надежде отдохнуть, оказалось кинутым в котлован: ушло на большой фундамент маленького дачного-садового домика. «Канцерогенный особняк» — сараюшко три на шесть, с шиферным верхом и шиферными, изнутри стекловатными стенами — мог бы долго и безутратно стоять на четырех дубовых комлях, но он с чего-то вообразил, что нужен добротный фундамент.

Время, время... Как случилось, что он кинул его в ров. Ему и прежде выпадала возможность приобрести дачный дом, но он отказывался, боясь, что дача станет пожирать его время. Он опасался всего, что бы могло отнимать его время, — он думал написать ни больше ни меньше «Историю обманутого человечества», он и от машины отказался, за бесценок продал, когда увидел, что и она время отбирает. А теперь — или поддался общему наваждению? Люди словно забыли о евангельской мудрости насчет сырых и нагих, насчет скромности, насчет того, что не гордыней и не золотыми богатствами богат человек, отказались от векового миростроя народа и что им пословица «Трудом праведным не наживешь палат каменных», если так приманивает беструдное и стремительное богатенье!

Незатейливый этот шиферный курень, отнюдь не способствовавший здоровому долголетию, приобрел он в спешке и единственно из-за того, чтоб не увязать в строительстве. Но именно — увяз. Сначала он с немалыми мытарствами завез кирпич, песок и щебень, затем наспех, словно его кто подталкивал сзади, разметил границы фундамента под шиферный свой курень и взялся за лопату. Да с каким рвением! Словно надеялся, что таким образом, когда-то крестьянский внук, вновь возвращается к земле. Не раз слышав, что фундамент следует закладывать поглубже, чтоб он не «плавал», он явно перестарался: выкопал ров в полроста человеческого, и такой ширины, что можно было бы уложить все четыре кита. И столько туда ухнуло песка, щебня, битого кирпича, цемента, всяческого лома, что на таком фундаменте впору было бы возводить мощный замок.

Пригородное поле, со всех сторон окруженное лесками, было веками спокойной, мало чем тревожимой пядью земли. А тут — фундамент: одним звучанием как бы вдавливают!

Под осень на высокий кирпичный цоколь взгромоздился канцерогенный особняк — сараюшко три на шесть, несуразно тянувшийся вверх, как жираф на известной картине известного художника-авангардиста.

Дальше сложилось так, что долгие месяцы он был в отъезде, а когда вернулся и вновь попал на свой садовый участок, не узнал окрестного. Целый город вырос здесь. Были и сараюшки наподобие им поставленного, но чаще вздымались двух-трехэтажные домины, тяжелые, как рыцари в латах. Вот тогда он и подумал, что еще одна пядь земли перестала быть почвой и здоровой землей. И он среди тех, кто сделал ее такой. Право, для того, и чтобы разбить сад, не требуется столько бетона.

Невольно ему вспомнилась концовка одной зарубежной повести: вырастали дома, больницы и тюрьмы, а их не хватало, и вырастали новые дома, больницы и тюрьмы, а их не хватало, и вырастали новые дома, больницы и тюрьмы...

Он знал, что подобных «садовых домиков» — многоэтажных домин, разворотивших землю и словно бы похваляющихся друг перед другом своей безвкусной сановитостью, — хоть пруд пруди и по берегам рек, и в

пригородных степных балках и лесках. Что ж, время сметает время. Вре-
мя убивается временем.

Тучи птиц кружили над израненной землей, отданной человеку, ма-
шине и камню. Прислушаться — словно бы зывали: «Опомнитесь! Не о
том заботитесь!»

Но откуда неразумной птице знать, почему человек строит часто не
самое лучшее? Рушит часто не самое худшее? И во всем не ведает ни меры,
ни уёму-удержу?

Дает жизнь камню, убивая свою жизнь.

ОТЧИЙ ДОМ

Какой там дом? Так себе... четыре угла, белая мазанка под соломен-
ной крышей, хатенка в две низенькие комнатки, да узенькие сенцы, да
наугольная открытая верандочка.

Хата строилась в тот год, как фронт откатился от Дона, оставив пос-
ле себя выжженные села, вырубленные леса: не было ни дерева, ни кир-
пича, ни гвоздя, и можно представить, каково досталось дедушке возвес-
ти этот кров! Здесь уж было не до удобств: тепло, да и ладно. Впрочем, это
взрослые говаривали «вернуться негде», а мне хата казалась простор-
ной и своими окнами открывавшей простор. Именно простор. В северное
окно видать огород, долгий, изрезанный белыми оврагами выгон, на вы-
гоне длинный, как барак, овечий хлев, печально примечательный и па-
мятный тем, что однажды ночью в него забрались волки и, выбив двери,
гнали овец до самого леса; в южные окна — вид еще более широкий и даль-
ний: затравенелая, в калачиках и лебеде улица, сухие плетни, редкие
хаты, ничем не хвелящиеся друг перед другом; за улицей — левады в гу-
стых терновниках, картофеле и кукурузе, а дальше — дорога, уводящая
в ближние хутора, дальние села, в районный городок и вообще, может
быть, во все концы света.

По этой дороге возвратился мой отец, и я его воспринял не испод-
воль, как бывает в мирном и ничем не омраченном младенчестве, но
вдруг, внезапно, как ослепительный взрыв, — он явился в звоне побле-
скивающих орденов и медалей, внеся в дом запах пшенично-дымных,
выжженных пространств моей родины и дождливых польских равнин
и пороховую гарь поверженной чужой столицы. Возвратился, как бы-
линный воитель, высокий, сильный — та самая знаменитая косая са-
жень в плечах: едва вошел в дом, как тут и ощутил, что хата и впрямь
мала, сразу стало тесно и как будто не хватало тех трех и вправду кро-
хотных окошек, хоть бери топор да прорубай еще одно. Впрочем, и тем
крохотным спасибо за их распахнутость, за молчаливое приглашение в
большой мир, за вечернюю звезду и месяц, ронявший на пол зыбкие
кресты — тени от окон. Как хорошо и неясно думалось и мечталось в
позднеевечерние часы после отцовского рассказа про Тараса Бульбу или
маминих сказок, когда светил в изголовье ласковый месяц: и успокаив-
вал, и волновал.

Все было в этом доме — и свет, и тьма, и праздники и, чаще, будние
и трудные дни, хлеб желудевый, налоги, стылые зимние часы. И сволок —
главная несущая балка — шел по потолку через обе комнаты, и в нем ос-
тавался крюк, на котором в незапамятные дни колыхалась моя зыбка; этот
подгоревший, но не сгоревший сволок дедушка перенес из старого дома,
и он словно являл собою продолжаемость и несгораемость жизни. Чувство-

валось, что и отцу по душе эта балка; ведь она была вестью о старом, прежнем доме, да еще какая: зыбка сына раскачивалась на ней.

А по утрам время от времени появлялись, поднимаясь вверх, все новые засечки на дверном косяке: я расту! Да ведь возрастало не только тело, возрастала душа, наполняясь радостью и болью при виде всего, что окружало меня: эти хаты, эти левады, Дон, а дальше... весь мир. Каждый день я уходил из дому и каждый день возвращался, благодарно засыпая на привычном месте, на деревянной, с резной спинкой кровати у окна. И думал, что так будет всегда. Не знал я, что этого дома не станет, и не знал, что, утраченный, несуществующий, он станет для меня еще живее и дороже.

И вдруг через тридцать лет, застигнутый именно на чувстве — еще живее и дороже, услышал я напористое, четкое, жесткое: «Мой адрес — не дом и не улица...» И, как обычно бывает при захватных набегах моды, на той же неделе меня снова настиг все тот же ритм, и я не без досады подумал, что, небось, расстукивает он уже и на моей детской улице.

...Дом, село, город, страна, мир — широта земная и ширь человеческая. Но узок, безнадежно узок человек, если он в бегах по восходящей спирали, с одной ступени на другую, забудет о родном доме и не вернется к нему, хотя бы даже сожженному или разрушенному.

Плыл, ехал, летел по огромной стране. Взглянешь на карту — пять тысяч верст до тугого маленького кружка «Воронеж», а оттуда — еще двести километров, где твоя малая родина.

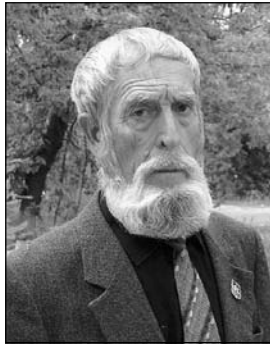
Плыл, ехал, летел, куда ни забрасывала судьба. Пересекал границы, проезжал европейскими, азиатскими землями.

Со временем (так жизнь идет) человечество станет единой страной, единым домом. Но и тогда останется капелька малая — родина малая. И воспоминание о родине отчей, национальной не стает, не уйдет.

Взглянешь на карту, где, подобно синему зрачку птицы, мерцает знакомый кружок, и будто увидишь дорогой тебе город, откуда всего лишь двести километров до самого дорогого для тебя уголка придонской земли. И, уплывая, уезжая, улетаая все дальше от малой родины, мысленно начинаешь возвратное путешествие. И вот уже районный городок Россошь, весь в садах, с бело-голубой колокольней, затем сизый шлях через долгие немые поля, затем зеленый яр с тихими купами верб, дорога на подъем и... и с забытого увала — белые хаты, белые косогоры и река твоего детства. Дон. Он синий, он сизый, он серый... И ты купаешься, взмываешь на его беспечальной волне, а потом возвращаешься в отчий дом. Его давно уже нет. И все же он есть... Темнеют зарубки на дверном косяке и под сенью акаций дремлет окошко, в которое ты заглядывал на звезды.

И ты все меньше, все беспомощней. Теряется, ускользает нить. И вот точка. И вот... тебя еще нет в мире.





Василий Павлович Жилев родился в 1932 году в селе Гороховка Новокалитвенского (ныне Верхнемамонского) района. Окончил Воронежский педагогический институт. Сорок лет проработал учителем. Публиковался в журналах «Подъём», «Содружество», «Московский вестник», «Роман-журнал XXI век». Автор книги «Донское Белогорье». Член Союза писателей России. Живет в селе Новая Калитва Россошанского района.

Василий Жилев

ЧТОБЫ СВЕТОМ НАПОЛНИЛАСЬ ПАМЯТЬ

НА ТОМ БЕРЕГУ

Тихая, светлая родина.
Где ты? — На том берегу.
Жизнь моя всеу пройдена.
Вся голова в снегу.

Сколько о том рассказано!
Там мое детство, там.
Сердце навек привязано
К тем золотым летам.

Там, где, не сдвинув брови,
Ждут голубой рассвет.
Там, где солнце в коровник
Цедит сквозь щели свет.

Там, где журчит в подойник
Теплое молоко.
Там, где пасутся кони,
Где на душе легко.

Там, где родные лица,
Говор не режет слух.
Там, где к твоим ресницам
Льнет тополиный пух.

Помню смуглянку в белом.
Помню девчонку ту...

Мне ли смуглянка пела
На жердевом мосту?

Где же ты, прежняя родина?
Вот и на том берегу
Все сокровенное продано
Алчному, злему врагу.

Выгорел неба ситец.
Трудно живет село.
В гости иду, проститься.
Судорогой рот светло.

Род мой славянский вымер.
Встречусь ли ныне с кем?
Чье прочитаю имя
На именной доске?

Избы на ладан дышат.
Где он, старинный лад?
Храм без креста и крыши.
Бывший колхозный склад.

Люди дошли до ручки,
Многие пьют с тоски.
В поле — полынь, колючки,
Ветер, жара, пески.

Тот, кто ломал подковы,
Где он теперь? Бог весть...
Тот, кто к земле прикован,
Здесь доживает, здесь.

ИСХОД

В чернолесье, без троп,
В заколдованном сумрачном царстве,
Среди прелой листвы
И бескрайних низинных болот,
Испытав на себе
Беспредел и земные мытарства,
Брел, не зная куда,
Отступивший от Бога народ.

Как во всякой толпе,
Где соседствуют конный и пеший,
Был неясен исход,
Было множество разных идей.
Исподлобья глядел
Царь лесной — озабоченный леший —
И по кругу водил
Заплутавших в трущобе людей.

Кто-то крикнуть успел.
Угодивши в крутую трясины,
Чей размеренный шаг
Был вначале и прям, и упруг.
Кто-то в сильном бреду
Тонкоствольную видел осину.
И над ней, в синеве —
Ослепительный солнечный круг.

А еще далеко —
С переливами море пшеницы.
И большое село,
Где малиновый звон по утрам.
И красивых людей
Со славянскими светлыми лицами,
Отворяющих дверь
В златоверхий спасительный храм.

ИСТОЧНИК

В грибную октябрьскую пору,
В далеком сосновом заречье,
Следы в перекрест косогору, —
Кабаньи и человечьи.
Оранжевый дым тонкостволья.
Смолистая свежесть. Прохлада.
В истоках земного приволья —
Взаимность высокого лада.
Хронометром чуткого сердца
Отмечено время в дорогу.
О нет, не с душой иноверца
Иду к милосердному Богу.
В раскладах печатного хлама
Мне выдали редкую книгу.
Напомнили: «Пуще зеницы
Храни золотые страницы!
Служи мимолетному мигу
Под сводами Вечного Храма».
Но мудрость заплечною ношей
И в зное, и зимней порошей
Трепал, ни на что не взирая,
Под небом свинцовым и синим
От белых часовен России
До пагод буддийского рая.
Иссякло мое многострочье,
Рулоном скрутилась бумага.
И вдруг — сокровенный источник,
Где воздух пьянит, но не брага.
Чистейший и терпкий напиток
Не та круговая сивуха,

Когда сатанинский избыток
Лишает и зренья, и слуха.
Прилягу на жесткую хвою,
Устало прикрою ресницы.
И время взмахнет надо мною
Крылом обессиленной птицы.

НАД ДОНСКИМ БЕЛОГОРЬЕМ

Боже мой! Эти лунные тени
В переулке, на нашем пути...
Среди новых добротных строений
Тех, старинных, теперь не найти.

Досиня побеленные мелом,
В древних шапках соломенных крыш,
Прижимались избушки несмело
К тем сараям, где спряталась тишь.

Под плетнями дежурили кошки,
Точно совы, луну сторожа.
Где-то всхлипы далекой гармошки
Уплывали, в аккордах дрожа.

Те тропинки, что были короче,
Будто сделались уже, длинней.
Мы любили бродить в эти ночи
Среди звездных и лунных огней.

Чтобы светом наполнилась память,
Мы на землю ложились ничком
Средь ромашек, в июльскую замять,
Под звенящие трели сверчков.

Мы теряли из виду друг друга.
Нас по-волчьи преследовал рок.
Нас кружила смертельная вьюга
По кривью, по изломью дорог.

Сколько душ унесла в Запределье!
Мне подкинула снег на виски.
Нет, не маюсь, не мучусь бездельем
На правах пенсионной тоски.

По привычке седлаю Пегаса
Из отпущенных Господом сил,
Чтоб меня до закатного часа
В царство памяти конь уносил.

Невесомую голову вздыбив,
Сквозь забвенья и суетный быт —

В край, где солнце серебряной зыбью
Подкует полукружья копыт.

В край, где живо заветное слово
И поставлена в храме свеча,
Где раздольные песни Кольцова
Над задумчивым Доном звучат.

Там в есенинской взвихренной кепи,
Над донским белогорьем кружа,
Опрокинусь в кольцовские степи,
В чабрецовый полуденный жар.

Станет мир ослепительно синим.
Будет в поле торжественный гуд.
Обрету уголочек России,
Что в народе погостом зовут.

Среди пыльных акаций и кленов,
Средь надгробий и ржавых оград,
Подчиняясь великим Законам,
Лягу вровень с ушедшими, в ряд.

СРЕДИ ВЕЧНЫХ СЕЛЕНИЙ

Жить да жить в нашем яростном мире,
Почитая молитву за труд.
Только в роще, как в голой квартире,
Вдруг качнешься на стылом ветру.

Вдруг накатит горячей волною,
И земля, как волчок, — из-под ног.
И почувствуешь нечто спиною,
Что глазами увидеть не смог...

Берег палым листом припорошен.
В глубине — будто проблески рыб.
Машет гривой каурая лошадь
С меловой крутолобой горы.

Чья-то странная лошадь над Доном
Мне встречается в яви не раз.
И размеренным, грустным поклоном
Приближает назначенный час...

На корме опрокинутой лодки
Я присяду, коль станет невмочь.
Белый сумрак в душе моей соткан.
Не понять — то ли день, то ли ночь.

В зеркалах проплывающих льдинок
Млеют отсветы розовых круч.
В поднебесье, в венце триедином,
Догорает негреющий луч.

Предвечерние зыбкие тени,
Словно змеи, ползут на восток.
Знаю, брат, среди вечных селений
Не прочтешь этих искренних строк.

Так, в юдоли земной, успокоясь,
«До свидания!» — крикну тебе,
Прикоснувшись небритой щекою
К заповедной скрипящей вербе.



Артур Георгиевич Ктеянц родился в 1983 году в городе Баку. В начале 90-х семья переехала в Россошь. Окончил Россошанское медицинское училище. В настоящее время – студент факультета психологии Воронежского экономико-правового института. Живет в Россоши.

Артур Ктеянц

СМОТРИ НА МИР, НЕ ОПУСКАЯ ГЛАЗ

* * *

Памяти погибшего товарища

Нет птиц под синим небосводом
И лик у месяца усталый
Как странно но с твоим уходом
Меня как будто меньше стало

Ты в повседневной суете
Умел увидеть Божьи знаки
А помнишь небо на воде
А помнишь строки Пастернака

Сегодня ночью выпал снег
Земля от холодов укрылась
С тех пор как ты дожил свой век
Здесь ничего не изменилось

Стоят туманы на реке
Как прежде август пахнет волей
Тоскует где-то вдалеке
Тобой не пройденное поле.

* * *

В этом городе забытом
Ничего не происходит
Тот же скотч в окне разбитом
Тот же кот по крыше бродит

И бранит соседка мужа
За пристрастие к алкоголю
Фонари в вечерних лужах
И на все здесь Божья воля

Люди по уши в кредитах
Разговоры о погоде...
В этом городе забытом
Ничего не происходит.

* * *

Он идет дорогой предков
Перед ним тернистый путь
Весь порезанный о ветки
Месяц сдавливает грудь

И на грусть его похожи
Эти топи и леса
Всё обман ему негоже
Больше верить в чудеса

Пряча рану ледяную
На подставленной щеке
Он судьбу свою хмельную
Нес в зажатом кулаке

Но знамением чудесным
Ночь смогла ему сказать
Что отец его небесный
Не оставит умирать

Не бросая крест свой тяжкий
Он пройдет сквозь темный лес
И в разорванной рубашке
Вознесется до небес.

* * *

Правят планетой страсти
Грезят одни победами
Ну а другие властью
Только они не ведают
Что откупившись золотом
Время не спрячет лиц...
Те кто стрелял по львьятам
Пусть опасаются львиц.

* * *

Папе

Смотри на мир не опуская глаз
Прищурившись мгновение лови
О том как ты сумел прожить без нас
Молчи и никому не говори

Лицом к лицу с чужой тебе страной
Где человек посмел Христа распять
Несешь наш крест уставший но живой
Никто не в силах этому мешать

Один за всех не вправе пасовать
Ты молча отбываешь жизни срок
Хоть в глубине души тебе плевать
На этот ближний дальний нам восток.

* * *

Жизнь оголенный провод
Все покатилось прахом
Это еще не повод
Лечь головой на плаху

Руки взмываешь к небу
И проклинаешь власти
Это всего лишь несчастья
Тоненький хрупкий стебель

Высшая степень печали
Это присев у моря
Вечно хранить молчанье
Не выдавая горя.



Марина Васильевна Венделовская родилась на хуторе Остров Богучарского района Воронежской области. Окончила физический факультет Воронежского государственного университета. Работала во многих СМИ. Публиковалась в коллективном сборнике «Распутье». Живет в селе Новая Калитва Россошанского района.

Марина Венделовская

ТИШИНА ЗВЕНИТ...

* * *

Кладу на чашу правую весов
Тяжелые, безрадостные годы.
На левую кладу, из сердца вынув,
Неправедную, грешную любовь.
А между ними нервной струною
Трепещет жизнь
В тревожном ожиданье,
Еще не зная —
Что же перевесит?

* * *

Грани размыты... Вплелись в настоящее
Сладкие сны и счастливая небыль.
Память меня возвращает все чаще
В день, где мы вместе.

В то, чего не было.

Утро. Росою умытое солнышко.
Поровну полдень испитый до доньшка,
Вечер, что нам опустился на плечи.
Руки твои встрепенулись навстречу...
Даже не жест — лишь намек на движение.
Души взмывают в бескрайнее небо.
А в глубине твоих глаз — отражение
Нашего счастья.

Того, чего не было.

* * *

Открытая душа...
Она дрожит от взглядов,
Чей холод так знаком,
От больно бьющих слов,
И оттого, что нет
Другой такой же рядом,
И слишком резок свет
Для искренних стихов.

* * *

И нахлынула ливнем беда
На мою легкокрылую нежность.
Громом грянуло:
— Никогда!
Эхом вскрикнуло:
— Неизбежность!
Чередой проходят дни...
Нет, вернуть ничего не хочется.
Только вот телефон не звонит,
И в ушах тишина звенит,
Горьким словом звенит —
Одиночество.

* * *

Нам листьев неприкаянную медь
С небес, как подаянье, кто-то бросил.
Кружат и веруют они — еще не смерть!
Нельзя же просто взять — и умереть...
Бездонно небо. Над вареньем вьются осы.
Осень...



Михаил Петрович Шевченко (1929—2010) родился в слободе Сагуны Подгоренского района Воронежской области. Окончил Россошанское педагогическое училище, Литературный институт им. А.М. Горького. Автор двух десятков книг стихов и прозы. Лауреат премий им. Н. Островского, Ленинского комсомола. Награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета».

Михаил Шевченко

ПОПУТЧИЦЫ

Рассказ

Поезд внезапно сбавил ход, вагон накренило, закачало, и я проснулся, уцепившись рукой за край полки, чтобы не грохнуться на пол.

Был третий час ночи. Вагон, едва освещенный тускло горевшей лампочкой, спал. Окно купе в дороге приоткрылось, и сырой холодный ветер, теребя занавеску, дул мне прямо в лицо; врвался железный шум движения поезда, а сквозь шум — тяжелые вздохи паровоза: он шел на подъем.

За окном чернела ноябрьская земля.

Поезд вошел в лес, темнота за окном сгустилась.

До Мичуринска, где мне предстояла пересадка, было далеко. Укладываясь поудобнее на жесткой полке, я собирался опять уснуть, когда уловил внизу, подомной, разговор женщин.

— И ты, Настя, тож хоро-о-ша. Подруга называется, — медленно, беззлобно говорила одна. — Боялась познакомиться. Съела б я твоего братца!

— Та я ж тебя познакомила, — возразила Настя.

— Ага! Уже когда я вас с чемоданами на улице побачила, уезжал он. Спасибо за такое знакомство... Шоб раньше зайти до нас? Посидели б... От он уехал, и все. Думаешь, чудачка, шукать я стала б его? Ни

за шо! Он сном и родом ничего б не знал. Та и тебе и в рот бы не влезло, шо у меня твой племянник растет.

Помолчали. И снова:

— Грунь, а Федька-кондуктор?.. Он вроде б то и клин под тебя подбивает. Статный та хороший собою...

— Скажешь тож! Якими ж я очами его жинку встречу? Другое дело — брат твой: уехал, и все... Шо б ему сталося? А у меня б хлопчишко рос, знала б я, для чего живу. Тебе-то хорошо-о... У тебя целых трое...

— Ой, Грунечка, та и правда! Я про це и не подумала, — удрученно проговорила Настя. — А чуешь, он обещался на то лето... Я и не подумала.

— Не подумала... То-то и оно, шо не подумала, — по-прежнему беззлобно ответила Груня. И неожиданно тепло и ласково заключила: — А брат твой так на Гришу моего скидается — и русявый такой, и росту высокого, даже каблуки наружу стаптывает, в точности як Гриша...

Мне показалось, что Груня улыбнулась при этих словах.

Обе женщины, как и я, в поезд садились в Россоши; туда они, чтобы наверняка уехать, прибыли километров за пятнадцать с соседнего разъезда — на разъезде поезда хотя и останавливаются, но почти никогда не предоставляют мест для тамошних пассажиров.

Во время посадки женщины суетились, с грохотом двигали по тамбуру свои деревянные красные чемоданы. Настя была большегрудая веснушчатая толстуха, пуговицы ее железнодорожной шинели, казалось, вот-вот отлетят, а вся шинель разлезется по швам — так сильно она была натянута на тучной Настиной фигуре. Необычайная подвижность Насти вызывала удивление. Груня, наоборот, была сухощавая, с узким худым лицом, на котором выделялся длинный нос; одета она была в фуфайку и сапоги. Глядя на суетливость Насти, она растягивала в снисходительной улыбке полные губы, при этом открывалась щербина спереди в верхнем ряду зубов.

От окна сильнее тянуло холодом. Но я не шевелился, боясь прервать разговор.

Поезд между тем останавливался. По вагону, согнувшись под огромным полосатым узлом, не вмещавшемся в проходе, громыхая чайником, к тамбуру протискивался коренастый старик с запорожскими усами и сизым носом.

— Девчатушки-лапушки-и, побережи-ись, — будил пассажиров его бас.

Разбуженные люди с ворчливой готовностью убирали свисавшие в проход ноги — голые, в чулках, в носках домашней вязки.

Я осторожно приподнялся на локте и посмотрел вниз. Груня, не сняв ни сапог, ни фуфайки, лежала на спине, отвернувшись к стене и закинув руки за голову. Сквозь выбившиеся из-под косынки волосы розовела мочка уха, на покачивающейся сережке тускло вздрагивал отсвет лампочки. Настя, потупясь, сидела возле и пухлой, короткопалой ладонью то и дело сметала с подола юбки что-то невидимое.

Обе не замечали ни остановки поезда, ни веселого старика, ни меня.

Поезд постоял минуты две. Потом поплыли назад перрон с оголенным палисадником, вокзальчик, увешанный лозунгами, зевающий дежурный по станции в помятой шинели, с желтым фонарем в руке. Снова к поезду подступила темнота, застучали колеса, отдаваясь где-то в самом сердце.

В тамбуре хлопнула дверь, в служебное отделение прошла заспанная проводница.

— Шо ж, пора на покой, — сказала Груня.

— Ты извиняй меня, — ответила Настя. — Виновата я...

— Ничего ты не виноватая... Просто приходит мне в голову разное-подобное... — не сразу отозвалась Груня.

Настя ушла в соседнее купе. Там затрещала полка, послышалось кряхтенье, а вскоре — похрапывание.

За окном далеко-далеко всплыли огни. Они ринулись навстречу поезду, потом исчезли, и стало еще темнее.

Я спустился со своей верхотуры.

— Вам некуда притулиться? — не глядя на меня, сказала Груня. — Сидайте, я встану.

Она поднялась, одергивая юбку, отодвинулась в угол и начала поправлять волосы. Присев напротив, я хорошо видел и не узнавал ее. Грунины глаза, еще недавно холодноватые и грустные, скажи, будто кто заменил. Живые, с теплым отсветом лампочки, они хранили в себе только что высказанные ею мысли и делали близким и желанным ее похорошевшее лицо.

— Я помешал вам дышать, — сказал я.

— Не, ничего... Шось не спится, — ответила Груня.

— Надо бы поспать. Ехать небось далеко?

— Ехать до Ленинграду. С подругой захотели отпуск прокатать.

— Лучше бы с мужем, интереснее...

Она вскинула голову и долго смотрела на меня, точно догадываясь, что я подслушал разговор.

— Немае мужа.

— Что, и не были замужем?

— Як вам сказать...

Груня ответила не сразу. Она помолчала, вздохнула и вдруг заговорила с той откровенностью, с которой всегда говорят или с давно знакомым человеком, каким, видимо, была ей Настя, или только однажды, в дороге, со случайным попутчиком, когда ты уверена, что никогда с ним больше не увидишься.

— Як вам сказать, була я замужем чи ни... Гуляла я с одним парнем в сорок первом году, с Гришей Соловейковым. Наш, с разъезда, плотничал в колхозе. С полгода гуляли. В июне пожениться надумали. Батько и маты мои — суперечить, чересчур молода була я, семнадцатый годок шел всего-навсего. Та чи нас удержать!.. Свадьбу назначили на воскресенье. А оно такое выпало на мою долю — воскресенье. Була я в тот день и счастливая, и несчастная... Як же! Разом и свадьба, и прощание... В понедельник — от тебе повестка. А во вторник нацепил Гриша сумку на плечо, и проводила я его в Россошанский военкомат. В Россоши — товарный эшелон... Сидали мы вчера в поезд, я все-все припомнила. Уехал он, як в воду канул... От и понимаете, була я замужем чи ни... Вскорости принесли бумагу, шо Григорий Ефимович Соловейко — убитый под городом Могилевом. Товарищи его прописали. Через ту бумагу и сына не доносила до сроку, родила я его слабеньким... Умер... От тебе и замуж...

Груня замолчала и глядела в темноту за окном, будто вслушиваясь в железный шум поезда.

— Целые годы никто мне любый не був, — тихо продолжала Груня. — А сейчас за кого пойду? На разъезде у нас дворов полтораэта. С каждого на войну брали мужиков. А с войны пришло четверо... За кого ж я пойду? Ровесников немае, побили, молодым я стара. Голова, бачите, в паутине... Оглянешься — девки сидят, никто их не берет. Кому ж я нужна?

Який из нашего брата, простого железнодорожника, норовит на инженер-ше жениться, даром шо она постарше его годов на десять. А мне не за кем було учиться. Я стрелочница... Та и не хочу я подобного...

Поезд мчался мимо безвестного поселка. В степи железный шум и вздохи паровоза скрадывались пространством, среди строений они почти оглушали.

— Надоело одной, — железный шум не забивал голос Груни. — На работе, на людях забываешься, а придешь до дому... Рада, шо наморишься, скорее спать. Та не всегда обманешь себя... Хуже всего на праздники. Подчас нишо не милое. От в Ленинград еду, кой-чего из барахла купить. А на шо мне? Для кого надену его?

— А что, если вам на какую-нибудь большую стройку податься? Там множество людей, там легче встретить человека по своим годам, — сбивчиво посоветовал я.

— Оно-то так. Та у меня маты стара. Под восемьдесят уже. На кого ее бросить? И батька, и трех братьов тож война сгубила...

Груня вздохнула.

— А шо, кажете, по годам найти, то не иначе вдовца с детьми. А оно... оно своих хочется...

— Грязи! — объявила заспанная проводница. — Кому нужны Грязи?

Купе через два от нас молодая женщина в темном демисезонном пальто присела на корточки перед девочкой лет четырех-пяти.

— Мы сходим в Грязях, — говорила она, застегивая на девочке серую заячью шубку.

Полусонный ребенок еле держался на ногах, валился на плечо матери.

— Проснись, Сима, — женщина легонько шлепала девочку по подбородку. — Ну, проснись. Сейчас папка нас встретит.

Застегнув шубку, женщина поднялась, достала из-за обшлага пальто зеркальце и посмотрелась в него.

— Пойдем к выходу. — Она взяла девочку за руку. — Ступай вперед.

Когда мать и дочка поравнялись с нами, ноздри у Груни задрожали, глаза заблестели, она часто-часто заморгала ими, отпрянула в угол и отвернулась к окну. Я вышел в тамбур и закурил.

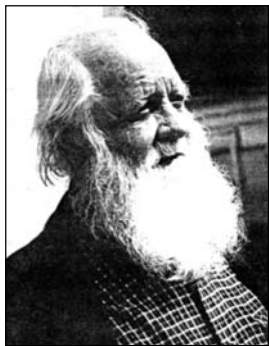
Женщину и девочку встретил милицейский капитан. Он взял Симу с площадки тамбура на руки, помог сойти женщине и понес дочку к вокзалу. Жена с баулом шла сзади и снова посмотрелась в зеркало.

Когда я вернулся в вагон, Настя по-прежнему похрапывала, а Груня лежала на полке, поджав ноги, накрыв голову платком. До Мичуринска она не шевельнулась. Может, уснула.

На рассвете небо затянули тяжелые тучи. Запыленное стекло рябили дождевые капли.

1955





Евгений Васильевич Карпов родился в 1919 году на хуторе Эсауловка близ станции Россошь Острогожского уезда Воронежской губернии. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Автор двадцати книг прозы, в том числе «Сдвинутые берега», «Новое небо», «Все было». Живет в Киеве.

Евгений Карпов

ХУТОР ЭСАУЛОВКА

Рассказ

Всё в жизни человека начинается с его дороги, начала и конца которой он указать не может, потому как родился вместе с нею и умрет в тот же день, в тот же неведомый миг, как и она. А вот мосты, без которых нет дорог, он избрал.

Это они проносят его над теснинами, речками, позволяют постичь дальние дали с их тайнами. Мосты делают его жизненный путь непрерывным — от начала и до самого конца. Мосты — зримые и незримые, потому что идет он путями — зримыми и незримыми.

* * *

Те дни так далеки, что уже не вызывают у меня ни грусти, ни печали, потому что отделились и существуют сами по себе, а я — сам по себе...

...Эсауловка.

Интересный это был хутор.

Был, потому что теперь его уже нет — город вобрал его в себя.

Строения в нем, тогдашнем, были украинские — низкие хаты с высокими соломенными крышами, с узорчато расписанными ставнями и окнами, с завалинками и чисто выбеленными стенами. Были и русские — дома, крытые железом, обшитые тесом, с резными фронтонами и железными петухами на трубах.

В школе хуторяне учились русскому языку, а у себя дома говорили на «хохлацком», какой-то смеси из русских и украинских слов. И называли они себя хохлами, уверяя, что украинцы и хохлы — это совсем не одно и то же. Работали хуторяне на железной дороге, на станции Россось. Сажали бахчи, водили птицу, коров, свиней. Даже не поймешь: хуторяне были рабочими или рабочие были хуторянами.

Эсауловка эта самая — хутор есаула казачьего войска Слободской Украины. Растянулся он вдоль просторных плесов речушки Черная Калитва в версте от станции Россось Юго-Восточной железной дороги, в трех верстах от города Россось Воронежской области, возникшего в семнадцатом веке, как казачья слобода Слободской Украины.

А вообще я назвал бы это место, всю эту местность — исторически сквозняковой.

Вот что говорится в Большой Советской Энциклопедии:

«Начало слободского казачества положили украинские казаки, переселившиеся сюда уже в XVI веке. В XVII количество переселенцев возросло. В 1638 на Слободскую Украину перешло свыше 1000 казаков — участников крестьянского восстания 1637-38 годов, во главе с повстанческим гетманом Я. Острянином. Много было переселенцев в годы Освободительной войны украинского народа 1648-54 годов. В 1652 г. сюда перешли вместе с семьями Черниговский и Неженский полки во главе с полковником И. Дзиньковским.

В 1765 г. была образована Слободско-Украинская губерния, в 1835 г. переименована в Харьковскую губернию».

Город Россось остался в Воронежской губернии. В нем еще была школа, где учились на украинском языке. Правительственный дом назывался по-украински — Будынок Рад, потом — Дом Советов.

Жили эсауловцы своим тихим, веселым и красивым мирком, отдельно от всей земли...

Был и у меня на речке свой, отдельный мирок.

Пройдешь переулком, утопая по щиколотки в горячем белом песке, выйдешь к речке на лужок между высокими, кряжистыми вербами. Росли здесь подорожники, одуванчики, густая кудрявая мурава, которая никогда не желтела. Снег так и ложился на нее — зеленую, душистую. Мальчишки здесь играли в лапту, а парни и девчата устраивали танцы под гармонию и цимбалы.

Отсюда надо идти вдоль речки, там есть другой лужок, и хотя он меньше первого, называли лугом, потому что косили его травы на сено. А еще росла на нем осока — высокая, острая, как бритва. Под ветром она не шелестела, а как-то по-змеиному шипела.

Комаров там — тучи.

Воздух — тяжелый. В жаркие дни задыхаешься от болотного смрада.

Земля под ногами там колыхалась. Бабушка говорила, что в стародавнюю старину в том болоте жил одноногий черт. Он по ночам зажигал красивые огоньки, заманивал людей и топил в болоте. Я боялся этого луга и проходил по нему торопливо, оглядываясь по сторонам.

За лугом начинались заросли лозы. Кривые ветки чернолоза накрепко спутаны плетями ежевики и крапивой.

Если пойдешь напрямик к речке через эти кусты, то будешь пробираться не меньше, чем полдня, изорвешь всю одежду, испарапаешься, а

если не будешь слишком горяч, присмотришься повнимательнее — увидишь узенькую тропинку, она похожа на нору в сплошной зелени. Пойдешь этой тропинкой, и хоть тебе придется все-таки остерегаться крапивы, сгибаться под ветками, зато ты услышишь, как ругаются синицы, будто на базаре сварливые бабы, как тихонько плачут пигалицы, словно жалуясь на сварливых синиц и, конечно, услышишь соловья. Он пел здесь и днем.

А как там пахло мятой и любистком!

Эта тропинка приведет тебя к небольшой заводи. Это и есть мое любимое место.

Не знаю, может быть, это просто детские впечатления, но наш хутор мне казался очень похожим на ту заводь. И ветряк с обдерганными крыльями, как у битой и недобитой вороны, и огороды со смешными чучелами и золотыми подсолнухами, старики и старухи на завалинках, игра довольных мужиков в карты на лужке — все это было так похоже на заводь, своей дремотной жизнью.

И хотя мимо хутора проносились поезда, они не нарушали этой дремотности.

Хуторяне по «казенным» билетам ездили в отпуск в Москву, Воронеж. Возили туда арбузы, дыни, вишни. Оттуда привозили яркие ситцы, тульские пряники, граммофоны и много разных рассказней, былей и небылей о городах. К побывавшему в Москве или Ленинграде по вечерам собирались любопытные, и разговорам не было конца.

Я слушал рассказы о городах и не мог отличить эти рассказы от сказок. Единственное, что мне казалось правильным, настоящим и понятным — это наша Эсауловка, моя заводь.

Но вот приехали строители, и мир для меня сразу стал шире. Я только тогда смутно начал понимать, что такое Россия.

В стороне от железной дороги, на берегу речки стояли товарные вагоны с остекленными окнами. Рядом — брезентовые палатки, дощатые сарайчики. Между ними — натянуты веревки, на которых сушились штаны, рубахи, детское белье. Тут же стояли железные печки, или треноги, — на них готовили еду.

Вокруг всего этого громоздились штабеля досок, кирпича, лежали бревна, железные мостовые фермы, бочки со смолой, с вонючим раствором для пропитывания свай.

Вечером в лагере загорались костры. Душистый дым стлался сизым пластом над речкой. Пляшущие огни отражались в темной воде, и мне казалось, что по речке плывет невиданный в Эсауловке, а может, и на всей земле, корабль.

Варили еду, пели песни, играли гармошки, гудели кавказские бубны. У одного костра плясали лезгинку, у другого — гопака...

Забывая о еде, о доме, я просиживал на стройке целыми днями.

Наш хуторянин — человек не жадный, но бережливый, хозяйственный. Попадется ему на дороге гвоздь или какая-нибудь ржавая железка, он обязательно поднимет ее — пригодится в хозяйстве. Дрова рубил так, чтобы щепки не разлетались. Каждая из них имела цену в наших степных местах.

А вот строители!

Они жили так, будто черпали большими ковшами родниковую воду и, весело смеясь, пили ее, брызгались, обливались! Помню, мы, мальчишки, с мешками ходили на стройку за щепками.

Иные плотники разрешали их брать, а другие прогоняли, требуя взамен махорки или молока.

Особенно мне запомнились два плотника. Один — старик, другой — молодой парень. У старика Фомы Пантелеевича были длинные, с сединой темные волосы. Он перевязывал их тесемкой, чтобы не рассыпались. Одевался в широкие полотняные штаны, в длинную, навывпуск полотняную рубаху с расстегнутым воротом, с засученными рукавами. На ногах — лыковые лапти.

Я никогда не видел лаптей и глазел на них, как на заморское чудо.

Говорил Фома Пантелеевич звучными, круглыми словами, четко выговаривая О. Я слушал его говор, как музыку.

Напарник Фомы Пантелеевича Иван, понижая свой голос до баса, сердито насупив рыжие брови, дразнил старика:

— У нас в КОстрОме, на тОй стОрОне все дрОва градОм пОбило!

Старик, сощурившись, пискляво отвечал ему своей насмешкой:

— ВанькЯ, глянькЯ, пупырЬ лЯтить! Рязань, Она и есть Рязань кО-сОпузая!

Фома Пантелеевич у пойманного мальчишки щепки не отбирал. Они с Иваном брали мальчишку за руки, за ноги и бросали в речку.

Сначала это «ОмОвение» нас пугало, а потом стало нравиться: ведь в жаркий день хорошо выкупаться в одежде. И родители не ругались — ведь мы со щепками приходили домой.

Однажды плотники сидели на только что вытесанном бревне, готовились обедать.

Иван — парень щеголеватый, даже на работу ходил в хромовых сапогах и кумачовой косоворотке. Он резал хлеб никелированным складным ножиком, всю еду раскладывал на большой вышитой салфетке. Молоко наливал в расписную фарфоровую кружку.

Фома Пантелеевич резал хлеб и колбасу топором, молоко пил прямо из бутылки.

Я выждал, пока плотники по-настоящему увлеклись едой, выбрался из-за бревен и стал торопливо накладывать в мешок щепки, радуясь удаче.

Иван тихонько подкрался сзади и схватил меня за шиворот.

— А-а, бясенок рябой, вот и ты все-таки попался. Купнем яво, Пантелеич!

— Оставь его, дуралей большой! — сердито остановил его старик. — Иди ко мне, мальчишечка, не бойся. Садись рядышком со мной... Вот и хорошо! У меня внучок — тоже рябенкой. А ты этим не смущайся и так отвечай: каждая моя рябинка — серебряна полтинка! На рябом хлеб сеют, а на гладком собаки гадют.

Он угощал меня колбасой, расспрашивал о папе с мамой, где мы живем.

— Вот мы с тобой, внучок, и подружился. Соскучился я по дому своему, по рябенкому внучку, по всем соскучился. А вот я тебе штуку сооружу. Одним топором орудовать буду.

Он принялся за работу.

Большим плотницким топором работал, и не понятно, как сделал медведя, мужика, посадил их на речки!..

Как, как он это мог! Чудо прямо какое-то!

— Мы, плотнички — Боговы работнички! — громко, почти запел Фома Пантелеевич. — Глазом поведу, топориком взмахну, дуну, плюну — дом готов! Живи в нем сто годов!

И мне казалось — он все может! Вот только посильнее взмахнет топором, повелительно крикнет громовым голосом, и перед ним встанет настоящий дом. Иван тоже смотрел на Фому Пантелеевича с восхищением:

— Эх, и могуч же ты, ух, как могуч! С тебя бы картины писать.

— С меня и так уже довольно написано. Как на картине русский богатырь, так вот он, стало быть, и я.

...С того дня я часто ходил к ним в гости и, понятное дело, лучшие щепки были мои, а вечером он брал меня с собой к костру, сажал рядом:

— Ты, гляжу, любопытствующий, понятливый, вот и гляди, любуйся, вникай!

Приходили к костру уральские каменотесы, пильщики из Белоруссии, мастера из Москвы. Слушал я там певучий, разноязыкий говор, видел зипуны, поддевки, азиатские халаты, кавказские черкески. Приходилось там попробовать и сибирские пельмени, и русскую похлебку, и грузинский шашлык, и северные шанежки.

Запомнился из строителей и еще один мастер. Как говорили о нем — первостатейный печник и каменщик. Подсобные рабочие его не любили. «Сам, как вол, тянет, — говорили о нем, — и подсобников своих заставляет тянуть». Хотя сам он работал без особого усилия, но так быстро, что несколько его подсобников не управлялись ему подавать кирпич и готовить раствор. К тому же, мастер — так звали его все — никогда не садился на перекур, курил во время работы — сигарка так и висела на его нижней губе.

Каждое воскресенье мастер приходил на лужок. Карманы его были полны разных конфет и пряников. Как только большое красное солнце уходило за реку и пряталось там, когда утки длинными цепочками пробирались по узким тропинкам в высокой траве домой, а гуси — большие и неуклюжие — пролетали низко над лужком и потом, грохнувшись на песок в переулке, шли пешком в свои сараи, нас, мальчишек, невозможно было зазвать домой — мы ждали мастера.

Он появлялся в белой, вышитой косоворотке, выглядывавшей из-под расстегнутого пиджака, в картузе с лаковым козырьком и начищенных хромовых сапогах. Шел, заложив руки в карманы брюк, большими, размеренными шагами.

Мы бежали ему навстречу:

— Здравствуйте, дедушка!

— Добрый вечер, диду!

Он широко разводил длинные руки. Его глаза, немного мутные от вина, но веселые, улыбались:

— Здорово, молодцы!

Он садился на траву, а мы вокруг него, и затихали. Он не любил галдежа.

— Сказку бы вам рассказать, да я, грешник, ни одной не знаю. Ну, да не беда — посидим и без сказки, вприкуску с конфетами и пряниками.

Давал не всем поровну; младшим — побольше, старшим — поменьше, а иному и вовсе не давал.

— Ты почему такой грязный? С поросятами спал, что ли? Пойди в речку вымойся, тогда и получишь свое. А ты совсем не подходи, я видел вчера, как ты окурки собирал и потом курил.

Хуторяне не могли наудивляться, как это он на чужих детей столько «грошей» тратит.

Мастер с упрёком отвечал им:

— Эх, бабы! Как это дети могут быть чужими, как?!... А что такое деньги? У меня что ни кирпич, то копейка, а их вон сколько напластовано, кладь только! Детишки — это наша вечная радость! Разве можно не залюбоваться цветочками-василечками... Вот с этой машиной разделаемся — поеду к своим внучатам-перепелятам, к воробушкам-соловушкам! Эх, бабы!

Как-то я проснулся очень рано — солнце еще только-только поднималось. Вышел на крыльцо.

Что такое?!

На насыпи другого берега было очень много народа. Они стояли в два ряда и держались за канаты, привязанные к мостовой ферме. Я понял, что сейчас они будут ее передвигать.

Это все равно, подумалось мне, что землю, что небо сдвинуть!

Забрался я на насыпь и замер, изготовился к чуду.

Строители курили, тихонько переговаривались. Совсем тихонько. Мне показалось, что они тоже готовились к чуду.

Немного в сторонке стоял инженер в светло-сером костюме. Он немного важничал, отдавая какие-то распоряжения толстому усатому десятнику.

Стал десятник между рядами строителей — большой, важный, важнее самого инженера, важнее всех.

Поднял руку.

Совсем все затихло такой тишиной, какой больше я уже никогда не слышал.

— Запе-евай! — грозно скомандовал, будто в бой идти приказал десятник. Еще тише, еще невозможней стало.

Чернобородый, без рубахи, словно к схватке приготовился мужчина, широко перекрестился, глядя в небо, и как бы снизу, поднимаясь высоко вверх, запел сильным, звонким басом:

Много песен слышал я в родной стороне,
И про горе и радость в них пели...

Я не мог дышать от волнения.

Тихонько, как бы робко нащупывая мелодию и еще что-то, стали входить в песню строители и потом грянули:

Эх, дубинушка, ухнем,
Эх, зеленая, сама пойдет!
Подернем, подернем!
Да у-у-ух-нем!

В такт песне строители подергивали канат, и стальная машина двинулась. В такт рывкам, будто шагала.

Еще немного, еще немного!.. Еще самую малость!.. И вот она, как бы вздрогнув, остановилась, соединив собою два берега Черной Калитвы.

Но почему черной?! Ведь она такая же голубая, как небо!

Я поднялся и смотрел на людей в рубашках и без рубашек, в лаптях и сапогах, бородатых и бритых.

Богатыри.





Галина Иосифовна Петриева родилась в селе Марки Евдаковского района Воронежской области. Окончила Россошанское педагогическое училище, Московский государственный заочный педагогический институт. Работала заведующей детским садом войсковой части, бухгалтером Центрального аппарата Главного военного советника в республике Афганистан, сотрудником Хозяйственного управления Государственного комитета СССР по печати. Автор шести сборников стихотворений, рассказов, сказок, а также двух детских книг. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Галина Петриева

ДОМОВОЙ

Бывальщина

В моем родном хуторке в Придонье непостижимым образом уживается православная вера с язычеством. Всяких духов в каждом дворе, в каждой хате — что живности на подворье. В банях обязательно живут банники, в хатах — домовые, в копанках — русалки... Дачная копанка, расскажу тем, кто не знает — это неглубокий колодец в том месте, где близко подходят грунтовые воды. Вода в ней служит для полива сада и огорода.

Встреча с Домовым вышла у меня вскоре после нашего переезда в новую квартиру. Узнав о нашем скором переезде, моя тетушка дала мне наказ: «Ты ж Домового не забудь с собой забрать. Возьми какую-нибудь посудину да проговори три раза: «Хозяин, хозяин, пойдем вместе с нами хлеб-соль кушать». С детства люблю сказки, а тут сама жизнь предоставила возможность поиграть в сказку. Так что, уложив нехитрые пожитки, взяла я кувшин, привезенный когда-то из родного хуторка, да шутя и проговорила трижды слова, подсказанные тетушкой. С тем и вселились мы в новую квартиру. Кувшин занял свое место на кухне, а о Домовом я и думать забыла: не до сказок было.

Я-то забыла, да он, видно, помнил обо мне. Однажды заболела я. Температура высокая поднялась, за сорок, муж «ско-

рую» вызвал. Прошу прибывшего доктора сделать мне жаропонижающий укол — он ни в какую не соглашается, говорит: нельзя стирать картину болезни, диагноз затруднительно будет поставить. Велит собираться в больницу: ясное дело, с таким жаром надо госпитализировать...

Для меня любое хождение по врачам смерти подобно. Прошу оставить меня дома хотя бы до утра: может, отступит болезнь. Доктор берет расписку об отказе от госпитализации и инструктирует: если в течение двух часов температура не снизится, снова вызывать «скорую» и уж тогда «не шутить с болезнью, а бегом бежать в больницу». Я обещала. «Скорая» умчалась на новый вызов, я же, заботливо укрытая теплым одеялом, уснула.

Проснулась от ощущения, что кто-то сидит у меня на груди. Открываю глаза — и в тот же миг пушистый серый комок сползает вместе с одеялом за диван. Стоял ясный день, и этот странный комок я отчетливо видела!..

— Крыса!.. У нас завелась крыса, — не своим голосом закричала я.

На крик прибежал муж. Обшарил все уголки в комнате, отодвинул шкаф, диван, кресла. Никакой крысы не было и в помине.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил муж, явно намекая на галлюцинации от высокой температуры.

— Нормально, — ответила я, протягивая ему градусник, на котором температура зафиксировалась на отметке тридцать шесть и шесть. Болезнь ушла, ее как рукой сняло!

— Домовой!.. — вдруг вспомнила я. — Это Домовой «стацил» с меня болезнь! Это он сидел у меня на груди, — радостно констатировала я. Муж с тревогой смотрел на меня.

Зазвонил телефон. Врач «скорой» справлялся о моем здоровье. Муж ответил, что температура нормализовалась, и добавил: «Домовой вылечил». На том конце положили трубку. Поблагодарила я Домового за быстрое исцеление, да и забыла о нем в суете сует.

Прошло какое-то время. Купили мы у знакомых дачу: щитовой домик советского образца на неполных шести сотках. Стали обустраиваться, утеплять, прихорашивать избушку на курьих ножках, с нами занимались хозяйством и маленькие внуки. Однажды муж уехал по делам в Москву, а я осталась с внучатами на даче.

Свечерело. Мы уютно устроились в спальне на втором этаже. Рассказываю детям сказки, они уже и засыпать стали. И вдруг комната стала наполняться страхом!.. Тяжелым, липким, ядовитым. Как мутная вода, как дым страх напал, наливался в комнату. Я даже точно ощущала, откуда он течет: из антресолей, выгороженных под ломаной крышей. Боясь напугать детей, я, как ни в чем не бывало, продолжала рассказывать сказки. Но внуки, что-то почуяв, начали проявлять беспокойство. Наконец, прижавшись ко мне, стали уговаривать: идти среди ночи пешком в Москву, до которой всего-то 104 километра!..

Я догадалась прочитать несколько молитв, которые жизнь заставила меня выучить в Афганистане. Дети потихоньку успокоились и уснули, а я так и не смогла до утра глаз сомкнуть: боялась, что страх вернется и навредит им. Так и просидела до рассвета, размышляя, что же за наваждение явилось к нам. Не придумав никакого более или менее толкового объяснения, решила, что страху ночью напустил Домовой, которого старые хозяева продали нам вместе с дачей. Он испытывал меня, а, может, мстил за то, что прежние владельцы дома не взяли его с собой.

Утром вернулся муж. Выслушав мой рассказ, объявил, что я трусиха. А Домового приплекла, чтобы «припудрить свою трусость». Крыть было нечем, пришлось смириться с клеймом «трусихи». А жизнь покатилаась вперед.

Прошло время, и дачу мы «вынянчили». Посадили сад — и он вырос. Стены избушки, хозблока, летней кухни украсили аппликациями из дерева. Устроили маленькие прудики для лягушек, птицам кормушки соорудили. В ландшафт участка гармонично вписали малые архитектурные формы: мельницы, колодец-цветочницу, белкин домик, камин, тачки-цветочницы... Внуки выросли, реже стали бывать на даче. У меня появилось время рисовать, лепить, писать сказки.

Особенно работа спорится по ночам. Спит дачный поселок, спит за забором лес, спит наш сад, после трудового дня отдыхает на втором этаже муж. А я сижу себе за столиком перед остывшим камином — и рисую. Вдруг ощущаю на себе чей-то пристальный взгляд. В камине шуршание — наверное, мышка... Ан нет. Чумазый человечек с насмешливыми глазками. Он ничего не говорит, но я каким-то образом считываю его мысль: «Ну, что, здорово я напугал тебя прошлый раз?»

— Так это все-таки были Вы? — вежливо интересуюсь у Домового. Ему, видно, понравилось такое обращение. Продолжает «говорить» мне: «А здорово ты украсила избушку! Трав много по стенам развесила, пахнут вкусно. Да и чистенько у тебя. Моей Домовихе нравится. Ссориться с ней перестали из-за того, чья очередь убирать подошла. Теперь она у меня, как барыня, на вышитых подушках вылеживается. Вот только сердится на тебя, что ты седьмого февраля, в наш день рождения, угощение нам не выставляешь».

— Буду исправляться, — отвечаю.

— Да уж!.. — прошелестело в камине.

«Никак задремала? — задаю сама себе вопрос. — Сейчас распишу последний лепесток ириса и пойду спать».

Только обмакнула кисть в краску — глядь, а картина-то готова. Все цветы в букете, как живые, да еще и росинками украшены. «Ну, спасибо тебе, Хозяин, уважил. Спокойной ночи тебе и твоей милой женушке», — сказала я тихонечко.

А утром муж, разглядывая акварель, похвалил: «Ну, ты, мать, даешь!.. За одну ночь такую красоту сотворила».

Я промолчала, а так хотелось поведать ему, что закончить рисунок мне помог Домовой!

Но ведь муж опять скажет, что я блаженненькая, и все «подтягиваю за уши», лишь бы очередную сказку сочинить. И как я докажу ему обратное? Приходится мириться с прозой жизни, а по ночам тайком ходить в гости к сказке...

Поди разберись, что тут правда, а что вымысел. Что болезнь «снял» с меня Домовой — правда. Что до смерти напугал нас на даче Домовой — тоже правда. А вот что рисовать помогал — не помню, правда ли было или приснилось-привиделось?

Погодите-погодите, а что это за буквы на картине — «йД»? Я так не подписываюсь. Тогда кто оставил этот знак?

Как кто? Домовой, конечно: «йД» — это последняя и первая буквы в слове Домовой, в его имени. Раньше-то я и не догадывалась, что Домовой свои каракули нацарапывает справа налево! Значит, не приснилось, а на

самом деле Домовой помог мне написать картину, что украшает нынче интерьер избушки.

Вот сказка о Домовом и сочинилась, теперь бы издать. А что? Глядишь, Домовой поможет.

Я верю в чудеса.

БАЕННИК

Всему честному народу известно, что в крестьянских баньках за каменной или под полком живет дух — Баенник, или Банник, маленький старичок с радужными глазами. Слывет он духом недобрый, а порою и злым. Может и погубить человека, затеявшего мыться в неурочное время. Обитает такой и в нашей баньке-сауне...

Банька наша сухая, чистенькая, уютная. В предбаннике развешаны пучки духмяных трав: любисток, кервель, анис, Melissa, кориандр, иссоп, чабрец, базилик, лаванда, монарда, мята, душица... Среди запахов солирует полынь серебристая. А в душевой — свежесрезанные веточки смородины и молодые побеги черемухи с миндальным ароматом. Да все благоухающие травки и не перечислишь! Скажу только, что службу свою они исполняют добросовестно. Окунешься в крепкий, годами настоянный коктейль из ароматных запахов, искупаешься в нем, впитаешь их и телом, и душой — словно по степи родной пройдешься в жаркий летний день. И выйдешь из баньки здоровым и помолодевшим на десяток лет.

Уютно жилось в бане и нашему старичку, пока не пришла нам с мужем идея украсить стены парилки. С любовью и фантазией изготовили мы панно, на которых разместили русалочек, рыбок, морских коньков. Русалочки играют с медузами и пузырьками воздуха. Коньки и рыбки резвятся вместе с водяными духами. Красота!.. То ли ты в бане паришься, то ли на берегу морском греешься да русалками любишься.

Но недолго длилась эта идиллия: стали приключаться в бане всякие странности. То вдруг печка задымит, то вода ни с того ни с сего с потолка польется, а то воздух начнет гулять по трубам, издавая пугающие звуки... Никак не могли мы понять, в чем дело.

Однажды, проходя по саду, услышала я плач. Заглянула в предбанник — и увидела того самого старичка с радужными глазами, которого люди прозвали Банником. Он сидел в уголке холодной бани и горько-горько плакал. Мне стало жаль окоченевшего беднягу, и я спросила, почему он так рыдает. Оказалось, Банник обиделся на нас за то, что мы любим русалочек, а его, старенького и одинокого, никто не любит!.. Это он своими проказами пытался привлечь наше внимание, догадалась я. Ну, чистый ребенок!

Я извинилась перед Банником за то, что на его территории поселили мы духов другой стихии, водных жителей. А чтобы хоть как-то скрасить будни хозяйка бани, предложила ему забаву — резиновую игрушку-петушка, которая осталась у нас от выросших внуков. Я нажала на гребешок — петушок весело прокукарекал. Баннику игрушка понравилась, только играть с петушком он стал по-своему: быстренько залез внутрь игрушки и попросил надавить на гребешок. На весь сад разлетелось звонкое: кукареку!.. Банник развеселился и сказал, что жить теперь будет в игрушке. Только попросил не выносить петушка из бани: он же все-таки Банник, а не Петушинник какой-то! На том и договорились. Старичок

сторожит баню, а мы, приезжая на дачу, заходим к нему поздороваться и «озвучить» его игрушку. Так и жили по уговору, который старались не нарушать.

Весной, после долгой и холодной зимы приехали мы на свое подворье — и с головой окунулись в работу. О Баннике забыли, и снова он обиделся. Да и как не обидеться?!... Четыре месяца — долгих-предолгих, холодных-прехолодных! — замерзал он, один-одинешенек в нетопленной бане, сторожил ее, прогонял чужих банников, которые искали жилище потеплее, скучал... А мы приехали и не соизволили даже проведать его, угостить корочкой хлеба, напоить родниковой водицей, да просто узнать, как он тут перезимовал без нас!.. Обида тут же выплеснулась наружу.

Не успели мы затопить баньку, как повалил дым, да такой черный и густой, что в парной и при свете ничего не было видно. Муж решил, что засорилась труба, и полез на крышу чистить ее: привязал к веревке камень, опустил его в трубу... Обратного вытащить камень никак не удавалось. И так и сляк — не идет веревка обратно, и все тут. Видно, зацепилась за что-то. И по трубе хозяин стучал, и длинным шестом пытался отцепить ее — ничего не выходит. Устал, сажей весь перемазался, сам стал на печного духа похож, а веревка все на месте, и камень в трубе сидит...

И тут я вспомнила о былом уговоре. Скорехонько побежала в баньку, схватила игрушку, поцеловала петушка в гребешок, извинилась перед Банником. Веселое кукареканье наполнило баню — и тут же муж прокричал мне с крыши: «Готово! Вытащил камень!..».

После этого помыла я баньку, проветрила, пучки первой весенней травки да веточки смородины по стенкам развесила. Банька топилась, свежая травка источала аромат, петушок кукарекал, Банник нежился...

Уж как там удалось духу бани ужиться в петухе, крика которого боится вся потусторонняя сила, не знаю. Да только обитает в нем Банник и по сей день. С той поры мы стараемся не забывать наш уговор, а если когда заработаемся и не зайдем сразу в баньку поздороваться, то в трубах начинает сердито булькать вода, сам собою включается свет, слышатся всхлипывания и вздохи... Приходится идти извиняться. Разве скажешь после этого, что чудес на свете не бывает? Еще как бывают!

Приходите в нашу баньку поздороваться с Банником, сами увидите.





*Рита Александровна
Одинокова родилась в Баку.
Окончила геологоразведоч-
ный факультет Азербайд-
жанского института не-
фти и химии, факультет
психологии Современной гу-
манитарной академии
(Москва). Автор сборников
стихотворений «Носталь-
гия», поэзии и прозы «Виног-
радный бунт». руководи-
тель творческого объеди-
нения «Слово». Живет в Рос-
соши.*

Рита Одинокова

ЧТОБ НЕ СПУГНУТЬ НАДЕЖДУ У ОКНА

* * *

Вся жизнь моя как на ладони
У говорливого села.
Я не в обиде, пусть постонет
На среднерусское раздолье,
Что я гусей не развела.

Что у меня в карманах ветер,
А в голове сплошной дурман.
Мне солнце утром на рассвете
Подарит полевой букетик
И рек молозивный туман.

С травой я поделюсь печалью
Пришедших и минувших дней.
Проснувшейся степною далью,
Раскинув руки, убегаю
Навстречу радости своей.

И пусть для многих я — чужая.
Меня ж тропинка привела
Туда, где в небе птичья стая
Закатом кружится, играет
У говорливого села.

ДЕД-АБРИКОС

Все сегодня не так.
Все из рук, словно в тысячный раз.
И над Россошью серенький день
разразился дождем.

Желтый лист
прилепился к окну,
как полуночный глаз,
не желая прощать,
никого не прося ни о чем.

Не начало.
Ноябрь. Уже не намек и не спор.
Опираясь на палку-клюку,
стонет дед-абрикос.
Из разорванных ран —
лишь смола, как холодный укор.
Это — жизнь для других,
на излом, на измор, на износ.

Сколько бедных в саду!
Тычет в спину костлявая вновь
своей острой косой —
не надейся, не жди, не проси.
Что с Россией моей?
Что ей вера? И где здесь любовь?
Далеко до тепла,
до весны воскрешенья Руси...

* * *

Россия! Ты и мачеха и мать.
Не призываю, но молю и плачу.
«Все — к лучшему», — учили горевать
Нас старики и верили впридачу.

Куда уж лучше!
Щурится сова,
И воронье откаркивает в хоре
Прощание с теплом на Покрова,
И посиделки птичьи на заборе.

Здесь прорастают кленами дома.
Здесь заплетает бурьяном дороги.
Здесь, как и прежде, тюрьмы да сума,
И где-то там, за облаками, боги...

* * *

Все решено за нас не нынче, не вчера.
Давным-давно, до нашего зачатья.
В декабрьские седые вечера
Сложением и вычитаньем счастья.

Давным-давно по воле чьих-то рук,
По памяти ль чужой, друг друга рая,

Мы ощущаем кожей адов круг
Иль сладость поцелуев утром ранним.

Все решено... Затихнет бой часов.
Сыграют все мелодии по нотам.
И мы лишь дополняем сотней слов
Судьбу по предначертанным высотам.

* * *

Приберегу слова для жарких дней.
А нынче — помолчу в дождливый полдень.
И если ты меня уже не помнишь,
О чем мне капли пишут без затей?
Они рисуют улицы дождей
И тишину распахнутых объятий.
А мне — и запятой, наверно, хватит,
Чтобы поверить в истину вестей.
По серому стеклу ползет луна,
И желтый круг меняется с рассветом.
Я помолчу, пожалуй, и об этом,
Чтоб не спугнуть надежду у окна.

* * *

Я стала слабее. Ты разве не видишь, мой друг?
Все туже сжимается жизни безжалостный круг.
Все четче портреты, все ярче родные места.
Все чаще встречаю с улыбкой — «дожить бы до ста».

Все меньше со мной тех, кто знает и любит, и ждет.
Все выше березы у старых зеленых ворот.
Все ближе зеркальная гладь голубого холста,
В котором события летят все быстрее неспроста.

Четверг распоясан ответственным знаком — пора,
Прощается лето, уходит листвою со двора.
И прячется солнце от злого в ладони зимы,
Чтоб свет сохранить для красивых закатов земли.

Все слаще в руках виноград для безумия слов.
И песни — бальзам для души у сентябрьских садов.
Все радужней дни. Без причины. Легко. Просто так.
Я стала сильнее. Ты разве не видишь, мой враг?

КОНЬ

Конь мой, конь, куда несешься,
Под собой не чуя ног?
Не у реченьки пасешься,
Где душистый сена стог?

Не резвишься на просторе
Ты с подругою гнедой?
Рай, не рай — земное поле,
Жизнь, не жизнь — да нет иной.

Но печален взгляд нетленный,
Уши ловят шум дождя.
Там, у краешка Вселенной,
Чья-то память ждет тебя.
Конь мой, конь, Пегас мой верный,
Ввысь — так ввысь, а вниз — так вниз.
Бей копытом Иппокрену!
А без крыльев — что за жизнь?

Мне за гриву не держаться
На заоблачных бегах.
Пробуждаться и сражаться
Здесь, на русских берегах.
Но коль скинешь с божьей сути
На холодные поля,
Коль взыграешь на распутье —
Вновь взлететь сумею ль я?

Под тобой земли багрянец,
Над тобою небосвод.
Ты — как вечный чужестранец,
Полонен страной свобод.
Оттолкнуться, не споткнуться,
Крылья ветру развернуть,
Конь мой, конь, деревья гнутся,
Нам показывая путь!

* * *

Со мною ты становишься святым.
И я с тобою становлюсь святою.
И дождь апрельский, как водой живою,
Рождает в нас небесные цветы.

И прорастает радость над и под,
И сквозь, телес не чувствуя преграды.
И ангелы, смеющиеся рядом,
И мы в ладонях держим небосвод.

И зацветают серые дома,
И городские башенные пасти...
Иль сходим мы к божественному счастью,
Иль с нами мир чуть-чуть сошел с ума?

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА

Как только садится за крышами солнце устало,
Спешу я к беседке, где силу вбирает лоза.
И за день работы она успевает так мало:
Всего лишь за листиком листик. Иначе нельзя.

А утром роса окропит ее влагой живую.
И, выпив с рассветом надежды заветный глоток,
Еще одну тайну мне мудрые ветви откроют —
Как вновь появился на свет изумрудный листок.

И так день за днем, продолжая немое творенье,
Плетутся ажурные веточки с солнцем в пути.
Родятся зеленые гроздья — лозы продолжение.
У них, как у деток, вся сочная жизнь впереди.

Лозы виноградной плетенье довольно простое.
Была бы опора (подставь ей, мужчина, плечо!),
Укроет беседку собой от июльского зноя,
И в дождик спасет, и вином угостит. Что еще?

Всему свое время. Всему свой черед и прозренье.
И зрелость однажды придет с золотистым лучом
Заполнить прозрачную ягоду ярким свеченьем
И в землю уйти, не жалея совсем ни о чем.

* * *

Не спрятаться за темные очки!
Саму себя обманывать нелепо:
Не для меня в траве поют сверчки
И, как от зверя, убегает лето.

Смотрю на жизнь, что вовсе не моя,
Прикладываясь к зеркалу отважно.
Где та, которой, мыслей не тая,
Рассказывал о счастье лист бумажный?

Мне б вытянуть из зазеркальных пут
Еще один заветный день беспечный,
Чтоб обрести желанья снова вдруг,
Чтобы любить и верить бесконечно.



Татьяна Ивановна Воробьева родилась в городе Россошь. Работает экскурсоводом в отделе эстетического воспитания библиотеки им. А.Т. Прасолова. Участвовала во многих музыкально-поэтических фестивалях. Автор сборника стихотворений «Малиновый чай». Живет в Россоши.

Татьяна Воробьева

СО МНОЮ БЫЛО ВСЁ ЭТО ОДНАЖДЫ

МОЯ ДЕРЕВНЯ

Мой прадед строил сельский Божий храм.
Гражданской пламя опалило деда.
Отец, весь вкус другой войны изведав,
Вернулся в дом седым не по годам.

Прабабушка несла смиренно крест.
А бабка — враз детей осиротила,
И мама, младшая из всех сестер-невест,
Стояла над бездонною могилой.

Родимый край. Здесь предки испокон
Пекли хлеба, траву в лугах косили,
Отца и маму бабушки носили,
Прозя благословенья у икон.

Я родилась вдали от берегов,
Где прадеды казачьи песни пели,
Где перекатным эхом отзвенели
В лесах ольховых звуки голосов.

Но с детства я несу в себе любовь
К тебе, многострадальная деревня,
И в тень кудрявых крон твоих деревьев
Душою возвращаюсь вновь и вновь.

Все корни — здесь. Сапеловка моя,
Я — веточка на дереве могучем.
Пусть над тобою не чернеют тучи,
Пусть под тобою не горит земля.

* * *

Приспущены флаги, припудрены лица,
Над пропастью бабочки вьюгой кружатся.
На чистом листе молчаливой бумаги
Мой росчерк петлей непонятной ложится.

Заманчивы сети вселенских просторов,
А остров везения необитаем.
Чтоб вышить в сердцах человеческих узоры —
В них острые иглы с любовью вонзаем.

Бесшумные стоны, беззвучные вопли
Спиралью по кругу, по белому снегу,
И больно под грудью, и в небо — с разбегу,
Чтоб ноги в воде ледяной не промокли.

Летаю над бездной в одеждах красивых,
На небе безоблачном вспышки от молний,
А Черного моря зеленые волны
Баюкают женщин, когда-то любимых...

Соленые брызги, соленые слезы —
Не жалко, не стыдно, не больно, не страшно!
...Со мною ли было все это однажды?
В моих ли ладонях, как гвозди, занозы?

* * *

Я не Поэт. Поэты — велики!
Я просто рифму подобрала к солнцу,
И вылетело слово из оконца,
Как бабочка, вспорхнувшая с руки.

Я не пишу. Мне просто не до сна,
И что-то из груди на волю рвется,
И больно очень, если остается
Без крохотных подснежников весна.

Не Мастер я. Но где-то в облаках
Надежды парус все зовет в дорогу!
...Когда-то меня звали недотрогой,
Теперь — несчетно линий на руках...

ПОЛЕТ БЕЛОЙ ВОРОНЫ

Я живу у себя самой в неволе,
Хотя клетка не под ключ и пуста.
У людей дворы, сады, картошка в поле,
У меня — поле белого листа.

Над картофельно-свекольным раздольем
Я мечтательной вороной кружу,
Мне на землю бы, как все, из неволи,
Мне бы с белых облаков на межу,
Разделяющую пашню и воздух.
Но полета изменить не дано!
Так и буду между травами и звездами
Вышивать своей судьбы полотно.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Из зазеркалья мне навстречу
Выходит женщина. На плечи
Наброшен шарф.
Рукой взмахнула невесомо...
Мне эта женщина знакома:
В ней легкий шарм,
И челки вечная небрежность,
И нарочитая беспечность
В ее глазах.
Всю жизнь мы смотрим
Друг на друга,
Но из очерченного круга
Не сделать шаг,
Не прикоснуться, не исправить,
И профиль в призрачной оправе
Не изменить.
Она зовет из-под вуали,
Но не пускает в зазеркалье
Из шелка нить.
Я ухожу, и исчезает
Другая женщина,
Смывает
Дождями след...
Мы с ней в единое начало
Сольемся, песня прозвучала,
В тоннеле — свет.

* * *

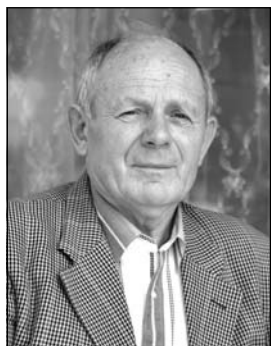
От листвы в сентябре
До стозвонной капли,
Словно птицы на юг,
Мы на запад летели.

От огня до огня,
От костра до кострища
Гонит ветер меня,
Волки серые рыщут.

От свечи до свечи,
От сомненья до веры
Проверялись поверья,
Умножались потери.

От «люблю» до «прости»,
От вина до полыни
Я укуталась стынью,
На губах моих иней.

Ни тебя, ни огня,
Ночь длинна до рассвета...
Разве стоит об этом?
Разве стоит об этом?



Иван Митрофанович Кветкин родился в 1935 году в селе Ровеньки Белгородской области. Лауреат нескольких всероссийских фестивалей самодеятельных художников, среди которых «Славные сыны Отечества», «Салют, Победа». Занимается также прикладным искусством и художественными ремеслами. Живет в Россоши.

Иван Кветкин

КРАСОТА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ

*Первое дело — мир освещать,
Второе дело — мир утешать,
Третье дело — мир исцелять,
Четвертое дело — чистоту соблюдать.*

Русская народная песня

Особую роль в развитии слободской украинской культуры играло декоративно-прикладное искусство, берущее начало в среде русских промысловиков Московского воеводства и украинских поселенцев, казаков Острогожского полка, осевших на землях от Дона до верховьев реки Черная Калитва.

Каждый хозяин строил свое жилище добротно и красиво, увязывая его с окружающей средой, с духовностью среды обитания. Древние традиции наших предков проявились в своеобразной самобытной восточнославянской архитектуре жилища — с элементами пропиленной резьбы по фасаду, деревянными резными элементами, венчающими карнизы, козырьки жилых домов, выездными воротами, парадными крылечками, филенчатыми дверями, оконными ставнями.

Прежний человек стремился к тому, чтобы было удобно жить в построенном доме. Например, учитывалось, как будет падать свет из окна, когда женщины сядут прясть и ткать. В зависимости от этого были хаты «пряхи» и хаты «непряхи». Красивым считался дом, где планировка и обстановка давали возможность удобно работать и отдыхать.

К середине XIX века на юге Воронежской губернии сложились индивидуальные промыслы. Чтобы стачать хорошие сапоги сапожному мастерству учились по пяти и более лет. Гончары делали глиняную кухонную и хозяйственную посуду, по качеству не уступающую древнегреческим образцам. Кузнецы готовили подковы для лошадей, ухнали (специальные гвозди для подков), ободы для деревянных колес, запоры для ворот, делали почтовые колокольчики, ремонтировали самовары и сельхозтехнику. Столяр-краснодеревщик изготавливал мебель, шкатулки, свадебные сундуки, а художники расписывали их национальным орнаментом.

Развивалось лозоплетение — плели плетни, хозяйственные корзины, рыболовные «верши». Скорняки выделывали кожи, готовили хомуты, праздничную и рабочую сбрую для лошадей.

Девушки с детства приучались прясть нитки, вязать, вышивать, ткать, шили национальные костюмы с узорами в украинском и русском стиле, готовили себе приданое, при этом достигая высокого мастерства.

Девушки южновеликорусские, называемые «хохлушки», в основном носили сарафанный паневный набор. Юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяного или самотканого полотна, стягивалась на талии узким пояском-гаешником. Рубаха, запан, навеска (или фартук), покроя, гарус, одно-два монисто и полный каскад бус, серьги-янтарики. Из головных уборов, в основном, надевали кички или «сорочки», кокошники и имели комплект платков, шалей и подшальников, дубленые шубы, полушубки или крытые материалом, а также набор обуви. Женская одежда росошанского края по богатству, художественным качествам была самым ярким нарядом на юге Воронежской губернии.

Наши предки почитали красоту неотъемлемой частью любого предмета. В немалой степени подручный материал определял необходимые качества изделий.

Декоративно-прикладное искусство, переданное из поколения в поколение, получило распространение среди жителей Росошанского района. В часы досуга одни достают цветные нитки и вышивают, другие — берут резец и претворяют свои творческие замыслы в дереве.

С особой выдумкой создают сказочные сценки, в основе которых просматриваются поэтические, жизненно правдивые образы.

Старинная одежда с украшением и вышивкой вдохновляет по сей день мастеров. Анна Леонтьевна Зрожаева из поселка «Начало» из штапельного полотна шьет мужские рубашки с узорами в украинском стиле, русские национальные рубашки с петухами. Шерстяными нитками она вышила картины «Нысэ Галя воду», «За околицей». Дома в ее коллекции — рубашки, скатерти, полотенца, салфетки, наволочки.

Чтобы ни делал мастер, он всегда старался украсить свое изделие символическим орнаментом. Например, узор из колосьев — знак изобилия, благоденствия, пожелание иметь столько детей, сколько зерен в колосе. Три пересекающихся круга — единство души, тела и помыслов. Часто декоративные орнаменты выполнялись как оберег, призванный обезопасить владельца вещи. На стремяна конской сбруи казака наносили чеканный узор, в котором заключено пожелание удачи всаднику, неутомимости коню.

Кузнец, художник и дизайнер Владимир Андреевич Боргуль в молодости мечтал примирить характеры цветного камня и металла. На заказ выполнял фамильные перстни, кулоны. Теперь может оформить двор, изготовить ажурные уличные фонари и решетки. На его жанровых сценках в металле по краям отчеканены слова: «Коль муж трудяга, да жена умна, долго жить семья должна»; «Испокон веку народ русский был и есть — зодчий, воин и сказитель».

Мастерица старшего поколения Антонина Павловна Ковтун по профессии — полиграфист, токарь. Она распускает старые цветные шерстяные вещи, которые приносят ей друзья и знакомые. «На новые шерстяные нитки пенсии не хватит, вот и

делаю из ненужных вещей красоту», — говорит Антонина Павловна. И показывает свои произведения: ковры, дорожки, салфетки и замечательные жанровые картины, полные света.

В коллекции мастеров цеха художественной керамики ЗАО «Коттедж — индустрия» немало уникальных произведений. На многих изделиях воспроизведены сюжеты известных русских художников, портреты светских и духовных деятелей. Рядом нарядная хозяйственная и кухонная посуда, декоративно оформленные вазы-призы. Чуть поодаль добрые домашние и дикие животные, букеты цветов и рамы. Все это выполнено с душой руками художников Анны Васильевны Цимбалист, Евгении Викторовны Петровой, формовщицы Светланы Викторовны Могильной и оператора Александра Сергеевича Суховерхова.

Чтобы научиться работать на гончарном круге, нужно запастись терпением. Из куска глины под руками формовщицы Светланы Викторовны рождается удивительной красоты изделие. Затем оно оказывается на столе перед художником, который его декорирует, для чего применяет окислы металлов. Серно-кислый кобальт дает синий цвет; перекись марганца — коричневый; окись хрома — зеленый; окись никеля — желтый; окись железа — красный; смесь окисей хрома, марганца и кобальта — черный цвет. Оператор осторожно переносит разрисованные изделия на специальные противни и ставит в печь, посматривая на часы.

Изделия из обожженной глины принято называть керамикой. Ею славилась Древняя Русь. Из мастерских прежних керамистов вышли известные промыслы — гжельский, скопинский и другие. В Воронежской области пользуются заслуженным авторитетом мастера, изготавливающие терракотовые изразцы, посуду, разнообразные игрушки.

Традиции старинных русских ремесел украшают жизнь современного человека.





Виктория Донгарова

ГДЕ ЖИВУТ ТАЙНЫ

(Живопись Бориса Литвинова и Надежды Радевской)

Россошь — родина многих талантливых живописцев, чье изобразительное творчество известно не только в Воронежском крае, но и далеко за его пределами. В числе таких имен Федор Басов, Владимир Цимбалист, братья Григорий и Борис Гончаровы. Самым ярким, самобытным по праву считается Григорий Гончаров. Участник Великой Отечественной войны, уроженец слободы Россошь Острогожского уезда Воронежской губернии, с 1937 года он работал художником-оформителем в Воронеже и занимался в изостудии, где его учителем был известный воронежский художник А.А. Бучкури. Впоследствии Г. Гончаров учился заочно в Московской изостудии Центрального Дома народного творчества в классах И. Грабаря и К. Юона. Художник был участником многих республиканских и областных выставок. В 90-е годы прошлого столетия его картины охотно покупали коллекционеры из многих европейских стран, а также Африки и Японии. Большое внимание в своем творчестве Г. Гончаров уделял сюжетам из истории Воронежского края. Значительное место в его живописи заняли жизнь и творчество поэтов А.В. Кольцова и И.С. Никитина. С удивительной художественной силой его кистью созданы картины «Юность поэта», «Алексей Кольцов в донских степях», «Думы поэта», «Алексей Кольцов у А.С. Пушкина», «И.Н. Крамской в гостях у И.С. Никитина». Четыре полотна из «кольцовианы» Г. Гончарова находятся в Россошанском краеведческом музее. Городу Россоши художник передал в дар более ста полотен.

Сегодняшнее поколение россошанских художников продолжает славные традиции именитых коллег, радуя своим талантом земляков и гостей.

Более пятнадцати лет назад мне посчастливилось познакомиться с удивительным, светлым художником Борисом Тимофеевичем Литвиновым. Седой, невысокого роста, жилистый мужчина легко и быстро передвигался по распахнутым кабинетам опустевшей «художки». Ученики давно разошлись по домам, а учитель, наводя порядок в классе, выносил картины в полуподвальный кабинет. Там, сложенные друг за другом как карты в колоде, стояли картины разных размеров россошанских художников и их учеников. На полу, на стульях, повидавших многое на своем веку, на высоких подоконниках, везде стояли живые свидетели рукотворного мира живописцев. Оставляя свой след на холсте, каждый из них вписывал историю своей жизни в разноцветную палитру времени.

Пристальный взгляд Бориса Тимофеевича выдавал равнодушное отношение к окружающему. Поймав мое внимание к одной из работ, он с удовольствием рас-

сказал мне нехитрую историю ее рождения. Случайно, гуляя по песчаному берегу донского пляжа, он увидел огромную корягу. За ней вдалеке мальчуган пытался ловить рыбу, неумело закидывая удочку. Рядом лежала перевернутая лодка. Золотистый вечер ложился на плечи старого Батюшки-Дона, далекий левый берег которого был укутан зеленою шалью кустарников, тополей и сосен. Что-то необыкновенное, неувлимо-прекрасное было в этом обыкновенном.... И как было не запечатлеть это мгновенье художнику?

Тогда, в покосившейся от времени старой «художке», я будто на миг очутилась в своем детстве. В нем были точно такие же лодка, мальчик, огромная коряга. Толь-



Борис Литвинов

ко в моей картинке память рисовала бескрайнее море, а тут — река, сжатая берегом. В тот момент незримая ниточка благодарности за пойманную вибрацию из моей жизни легла между мной и Борисом Тимофеевичем на долгие годы. Я всегда с удовольствием следила за его творческим путем и радовалась его находкам и новым впечатлениям, которыми он щедро делился со своими зрителями.

Свыше сорока лет Борис Тимофеевич отдал преподавательской деятельности, воспитал немало россосанских художников, которыми сейчас по праву гордится.

В выставочном зале города Россоши картины Литвинова легко узнают не только его ученики, но и наблюдательные зрители. «Сиреневый вечер», «Стародонье», «Венчальный букет», «Луч солнца»... Любая из его картин, наполненная тончайшим светом вдохновения и мастерства, говорит о том, что художник хорошо знает и любит родную природу. Рассматривая его произведения, можно многому научиться, и в первую оче-

редь — любить Россию и крохотную точку на карте, имя которой — малая родина.

Многие картины Литвинова находятся в различных картинных галереях Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа и других городах страны, а также за рубежом. Полотна живописца имеются и в частных коллекциях ценителей искусства.

— Среди моих картин нет особо любимых. Каждая, пусть даже наименее удачная, — это ступенька к мастерству. А любимая — это та картина, над которой работаешь в данный момент, — сказал мне однажды Борис Тимофеевич.

Поражают глубиной тщательно выписанные портреты художника. Великолепны пейзажи. Зрители подолгу задерживаются возле «Восхода солнца», «Радути над Доном», «Паруса одинокого». Нежность, верность и безграничное чувство любви в почти прозрачной и легкой картине «Свадебный подарок», написанный художником к торжеству близкого человека. Завораживает взгляд «Донская поэма» с почти объемным, гобеленовским панорамным изображением батюшки-Дона с высоты птичьего полета. Вообще, многие картины художника впечатляют именно высотой творческого взгляда мастера кисти. Как признался однажды Борис Тимофеевич, он с детства мечтал быть летчиком. Но судьба распорядилась иначе, и, наверное, это правильно.

Он берется за кисть, когда того требует его душа. Может, оттого практически все его работы интересны и оригинальны. Его творчество открыто, а образы воссозданы глубоко. Кажется, что он берет сложный цвет и смешением красок добивается в полотнах некоей «жемчужности», что придает его работам особый оттенок прозрачности. Настроение присутствует обязательно. Живописец обладает особым даром скрупулезно и точно передавать переходные состояния природы: рассветы и закаты, сумерки, первый и последний луч солнца, туман, который вот-вот рассеется, или, скажем, дождик, который вот-вот начнется, мимолетную радугу или воздушную летучую тень.

Как говорит сам художник, он старается писать так, чтобы в картине всегда присутствовала тайна. Даже если это обычный пейзаж с облаками или первый весенний луч. Многие полагают, что работам Бориса Литвинова присуща не только насыщенность и контрастность, но и звучность. Может быть, художнику удалось понять и раскрыть секрет соединения световых и цветовых сочетаний, которые, в конечном итоге, и создают на полотне эту волшебную единую музыкальную гармонию.

ХРУПКИЙ И ПРОЗРАЧНЫЙ ВОЗДУХ

Летом на небольшой речушке Черная Калитва у маленького мостика всегда многолюдно. Детвора, да и взрослые росошанцы очень любят это красивое местечко. Красиво, зелено, пахнут мятной свежестью травы, птицы поют. Не мудрено, что встречу со мной росошанская художница Надежда Радевская назначила именно здесь.

Она показала издавдала, ведя по песчаной дорожке велосипед. Увидев меня, Надя помахала рукой, мол, я уже близко. Мы проходим вдоль бережка вглубь чащи и, расстелив коврик, усаживаемся у самой воды.

— Я могу сидеть здесь часами, вслушиваясь в шелест деревьев, шум детских голосов, тихий плеск речушки. Иногда заглядишься, как падает луч света, отражаются блики на воде, едва уловимый необычный цвет неба, и чувствуешь — надо писать, — рассказывает Надя.

Еще будучи совсем маленькой, Надежда с отцом, который работал художником-оформителем, часто бывала на пленэрах. Как-то раз, когда он писал старую ветряную мельницу, девочка, взяв в руки карандаш, примостилась рядом. Постепенно на бумаге появлялось незатейливое изображение, но почему-то крылья мельницы не поместились на листе. Тогда девочка поняла, что рисовать надо учиться.

После окончания школы Надежда Радевская поступила в Бутурлиновское педагогическое художественно-графическое училище, а потом — в Курский пединститут на художественно-графический факультет, который окончила с отличием. Первые работы написаны ею в студенческие годы. В основном это были этюды — реки, меловые отроги окраины Бутурлиновки.

— Помню, на одной работе особенно красиво получились меловые откосы. Кто ни посмотрит, говорит: ты что, мелом тут написала? — и пробуют потирать пальцами, — вспоминает художница. — А в институте дипломная работа была по портрету. Вообще у меня портреты выходят лучше. Не все, конечно, удаются, но портреты людей, которых люблю, чувствую и понимаю, всегда получаются. Так родились портреты поэтов Василия Жилиева, Алексея Шаповалова, Райсы Дерикот.

Из корзинки Надежда достает большой альбом, который полностью заполнен фотографиями проданных картин и тех, которыми автор щедро одаривает своих друзей. С материнской любовью и гордостью за свои творения она листает одну страницу за другой, рассказывая мне историю той или иной работы. Все они выписаны кропотливо, тщательно выстроены композиционно. За художественную искренность и открытость мастера, за необыкновенную легкость не полюбить ее картины просто невозможно.

Мы беседуем об истоках творчества, о вдохновенных порывах, о чувствах и мироощущениях, и как у художника и поэта наши мысли в чем-то сходятся, а в чем-то не совпадают. Знаю, что Радевская всей душой любит и ценит поэзию, часто сравнивая поэтическое и изобразительное творчество, почему-то не в пользу последнего.

— Ну, что я есть такое? — спрашивает она у меня. — Я состою из всех вас, тех, кто меня окружает: моих родных и близких, талантливых поэтов и писателей, музыкантов. Мое становление было бы невозможно без Раисы Ефремовны (Дерикот), без Бориса Тимофеевича (Литвинова), без Алексея Шаповалова и многих других коллег по творческому цеху.

Трудно с ней не согласиться, потому что каждый творческий человек живет в общении с себе подобными, черпая в этом мудрость, новизну, узнавание себя и других. И, конечно, общение — это и желание понравиться. Ведь когда твоё творение нравится тем, кто тебя окружает, человек верит, что приносит радость близким, и это придает ему силы для будущих работ.

В картинах Радевской обязательно присутствует настроение. Она обладает особым даром удивительно точно передавать переходные состояния природы: сумерки, рассветы и закаты в солнечных отсветах, изморозь. Однажды в морозный день она вышла во двор вывесить постиранное белье. Вышла и ахнула — какой необыкновенной красоты был день — деревья, словно в серебре, стояли, покрытые инеем, воздух был хрупким и прозрачным. Ей так захотелось написать это состояние. Быстренько достирала, выходит — а, все! нет сказочного инея и воздух совсем другой. Но вдохновение осталось. Так родилась картина зимнего двора художницы, посреди которого ветер полощет развешанное белье.

А ведь — подумать только — когда-то особенно пейзажи никак не удавались Радевской. Бывало, придет на пленэр, настроится. И вот место выбрано, сердце уже любит именно эти куст, траву, спуск к реке, дерево над водой. Людей рядом нет и дышится легко. Но написанное совсем не передает того настроения, которое изначально присутствовало. «Не поддавался мне пейзаж — и все тут! — делится мастер. — Когда я писала деревья, они у меня такие тяжелые получались. И вдруг в один из дней, когда мы гуляли с Раисой Ефремовной возле нашей речки у маленького мостика, она прочитала посвященное В.Г. Цимбалисту стихотворение. В нем были такие строки: «Полумрак, полусвет, полутьма, блики пятен, просветов оконца...». Думаю, стоп, вон почему у меня деревья тяжелые — нет просветов. Удивительная сила слова! Вон они — оконца. Так постепенно стали получаться и пейзажи».

Говорят, что художники видят больше нюансов, цветовых переходов именно в пасмурный день, когда нет ярких солнечных лучей. А в насыщенном солнечном дне палитра ограничивается — есть свет и тень, есть контраст, но гораздо меньше количества оттенков, их просто не воспринимает глаз. Сейчас, по словам Надежды, она



Надежда Радевская

стремится показать именно свет, солнце, хотя раньше нравилось все разнообразие цветовых переливов. Это — новая грань ее творчества. И, возможно, в недалеком будущем появятся картины, залитые солнечным светом.

Радевская рассказывает, что творчество, даже если ничего не происходит, как-то накапливается, накапливается. Это состояние похоже на беременность. Когда она чувствует, что приближаются «роды», ей никто не сможет помешать, этот процесс нельзя остановить. Тогда те, кто рядом, стараются оставить ее в покое. «Все, я уйду!» — кричит родным женщина, бросая все домашние дела, и отправляется на этуоды.

— Но когда долго ничего не пишется, теряется навык, — говорит Надежда. — Можно совершенствоваться душой, пониманием происходящего, но если у тебя не «работает» рука, все тормозится. И в поэзии, наверное, так же. Чтобы творить, обязательно нужно вдохновение.

На холстах можно увидеть то, что еле уловимо, что легким намеком сказал художник. Одна из любимых картин Радевской — «Февральский туман», в которой именно «полусвет, полутень...». Как и во многих других картинах, волнует не столько изобразительность, общая цветовая гамма, сколько незримая энергетика.

Такая энергетика и у моей собеседницы. Расставаться с ней не хочется, а время, как назло, бежит, неутомное, вперед. Каждую из нас ждут дома семья, готовка, уборка и прочие житейские радости. По дороге домой я все думаю о нашей беседе и мысленно возвращаюсь к фотографиям картин из Надиного альбома. Есть у нее совсем незамысловатые работы, в которых вроде бы и ничего особенного, а ими любишь и подходишь к ним еще и еще, чтобы насмотреться. У меня над кроватью висит ее «Букетик роз». Каждое утро, просыпаясь, я вижу, как цветы мне улыбаются нежными бордовыми и белыми лепестками. В зависимости от погоды за окном, они то грустны, то загадочны, то откровенно великолепны, какими могут быть только розы. Иногда мне кажется, что в комнате пахнет цветами... Игра воображения или сила искусства?





Светлана Михайловна Редько родилась в белорусском городе Слоним Гродненской области. Окончила строительный факультет Новополоцкого политехнического института. Работала в проектно-монтажном отделе Могилевского объединения «Химволокно», в настоящее время — инженер отдела комплексного проектирования ЗАО «Коттедж-индустрия» в Россоши. Публиковалась в газете «Труд», коллективном сборнике «Волны «Калитвянского причала», журнале «Подъём». Живет в Россоши.

Светлана Редько

Я РАСПРАВИЛА КРЫЛЬЯ...

Я СКУЧАЮ ПО БЕЛОЙ РОССИИ

Из глин белорусских
Я вырвала корни свои,
Врастая не сразу, не вдруг
В черноземы тугие.
Здесь те же березы
И так же поют соловьи,
А я все скучаю по маме,
По Белой России.

Там небо высокое
Глаз моих пьет синеву,
Роняя ее васильками
В поля золотые.
Здесь тоже могу я
Упасть в луговую траву,
Но я так скучаю по маме,
По Белой России.

От спелой черники язык,
Будто клякса во рту,
Грибы разбежались по лесу,
Как дети босые.
А здесь тополя пирамиды
Глядят в высоту...
Я очень скучаю по маме,
По Белой России.

И «щырае дзякуй»¹ из губ моих
Рвется в ответ
На мовы хохлацкой певучей
Вкрапленья живые
В могучий великий язык,
Словно в «Ветхий завет»...
Ах, как я скучаю по маме,
По Белой России!

Надену веночек льняной
И льняным рушником
Я слезы утру, здесь дожди,
Как и дома, косые.
Над Доном и Щарой²
Туман расплескал молоко...
И Белая Русь
Неделима Душою с Россией.

КТО МЫ?

Мы — птицы, склевавшие чьи-то черешни.
Мы — дети, невольно спугнувшие птиц.
До всплеска руками, до взмаха ресниц
Жалеем из рук упорхнувших синиц,
Скрывая печаль за спокойствием внешним.

Мы — ангелы, ангельский чин не в почете.
Мы — парии, с неба упавшие ниц.
Бескрыло боимся оскаленных лиц,
Следящих за нами с газетных страниц,
Стреляющих влёт нас, когда мы в полете.

Мы — коконы, свитые светлым сияньем.
От каждого тонко протянута нить
Вопроса извечного «... быть иль не быть...»,
Помиловать люто иль нежно казнить,
Себя отдавая себе на закланье.
Мы — твари Господни, Его в нас дыханье.

* * *

Хороню этот мир, хороню...
Все, что было придумано нами,
Я в картонке от шляпы храню
Среди ветхих шелков с кружевами.

Там, в бездонном немом уголке,
Где застыли часы и века,

¹ Щырае дзякуй — большое спасибо.

² Щара — река.

Семь колец мне как раз по руке
Упокоены наверняка.

Нечет-чет, нечет-чет, все же — нечет!
С древней магией чисел не спорю.
Только время нас больше не лечит,
А кольцует, чтоб... в радости, в горе.

Не покатится больше колечко
По лесам и долинам покатым.
Сказка кончилась... тихо, сердечко,
В наших душах фонит «мирный» атом.

Не разъякать, разтыкать, размыкать
Память сердца, чтоб стало не больно.
Я — Хатынь, я — Майданек, я — Припять,
Я — всей кровью свидетель невольный.

Сохраню этот мир, сохраняю...
Все придумано вовсе не нами.
Хрупкий шарик, одетый в броню,
Окольцован в любви с небесами.

* * *

Ночные небеса — дырявый бархат черный,
В прорехах — любопытство звездных глаз.
Зачем так устремленно и упорно
Они веками изучают нас.

Какого мирозданье ждет ответа
На вечный и безмолвный свой вопрос?
И души наши, лишь комочки света,
Себя считают звездами всерьез.

Стремятся в изумленные высоты,
Им тесен плен в трехмерных зеркалах.
Медоточивы сладостные соты
Любви, разлитой в трепетных мирах.

Но их с небес на землю опускает
Наш скорбный, мелкий, суетливый быт.
И лишь поэт юродивый летает
И звезды душ с душою звезд роднит.

* * *

На калине весной прошлогодние ягоды рдеют,
Словно капельки крови кропят молодую листву.
Я расправила крылья, зимой они странно немеют,
Я глаза окунула в небесную синь-синеву.

Прошумели дожди, напоили усталую землю,
Пробужденью ее удивляюсь, как чуду любви.
Мне казалось, что чуда давно я уже не приемлю,
Я забыла, что в роще опять запоют соловьи.

* * *

От любви к нелюбви только шаг, только миг.
Вот — пылал, вот-горел, в тихой нежности таял.
Только шепот однажды сорвался на крик.
Перешел, преступил... В этих играх без правил

Победителей нет и виновных не судят.
Я — на цыпочках, вытянув шею, в петле
Захлестнувших обид между «было» и «будет»,
Ты — с терновым венцом на упрямом челе.

Эта жизнь в нелюбви как бездарная пьеса.
Кто в ней зритель, а кто неумелый актер?
В затянувшейся сказке о спящей принцессе
В роли принца — палач, поцелуя — топор.

* * *

Кто-то становится ведьмой от горя и бед,
Кто-то ломается спичкой в негнущихся пальцах.
Я же сказала однажды себе: я — поэт,
Вышив узор из стихов на линованных пальцах.

Это теперь наказание и счастье мое,
Долго не пишется, маешься как от простуды.
Маешься дурью, упреков кружит воронье,
Делом займись: постирай или вымой посуду.

Делом, так делом, но вам у меня не отнять
Этот полет вдохновенный над миром и бытом.
Крылья обрежете, все-таки буду летать,
Но на метле... одинокой и злой Маргаритой!

* * *

Июльской лазури небесной
не тронуть души моей струны.
От рыжего жгучего солнца
укроюсь в тени октября.
Там бабочки листьев порхают,
слагая заветные руны,
А время увязло в пространстве,
как мушка в смоле янтаря.

РОДИНА-БАБУШКА

Я — славянских кровей, оттого я в России, как дома,
Боль ее у меня отзывается болью в груди.
Возле ветхой избы, ненадежно укрытой соломой,
Моя бабушка Текля, устало согнувшись, сидит.

Сердце мячиком звонким в далекое детство рванулось,
Через луг покатилося, на горку, к родному порогу...
Но старушка чужая глаза подняла, улыбнулась:
— Накопала богато картох, проживу, слава Богу.

Ее рук узловатых, уроненных тяжко в колени,
Я коснусь осторожно, поглажу, щекой припаду.
И увижу в глазах ее мудрых любовь и терпенье,
То, что вызрело спелой антоновкой в старом саду.

Этот сад вместе с мужем еще до войны посадили,
Народили сынов, из самана построили дом.
Бедно жили и трудно, но счастливы, счастливы были,
А потом... похоронка и слезы в подушку тайком.

На сиротах и вдовах, убогих, каликах, юродивых
Выживала Россия и вновь поднималась с колен.
Для меня незнакомая бабушка эта, как Родина!
За любовь и терпенье ее, что я дам ей взамен?..



Раиса Ефремовна Дерикот (1937—2005) родилась в селе Новая Сотня Острогожского района Воронежской области. Окончила Россошанское педагогическое училище. Работала воспитателем, экскурсоводом, мастером по моделированию народного костюма. В 1991 году создала в Россоши детский литературный клуб «Малая Медведица». Автор нескольких поэтических сборников, среди которых «Свет любви», «Распутье», «Здравствуй, Россошь».

Раиса Дерикот

У САМОГО КРАЯ СУДЬБЫ

* * *

Небогатая доля досталась в наследство —
Безотцовщины званье да звезды с росой.
Я пришла из бездонья военного детства,
Где меняли последние вещи на соль.

Были желудь и жмых, лебеда и мякина,
И ботинки с шипами, одни на семью.
Были бомбы, рвались итальянские мины,
Гильзы цапкой бросали в кроватку мою.

Шел и немец, и финн,
Итальянец с мадьяром,
Рос недетский испуг за мою спиной.
Были двери хатенки, стоящей над яром,
Перекрестком войны и самой войной.

* * *

Спешу в тепло от зимней стужи —
И вдруг споткнулась на бегу,
Увидев горсть сосновых стружек
На свежеснеженном снегу.

И сразу — память в годы детства,
Где в школе мыли и скребли
Войны недоброе наследство,
Чтоб мы за парты сесть могли.

И овдовевший дед Матюха,
Что без руки с войны пришел,
Засунув карандаш за ухо,
Мне ладил первый школьный стол.

Уставши, воду пил из кружки
И, в лад руке качнув спиной,
Ронял на снег тугие стружки,
Что пахли миром и сосной.

Давным-давно война потухла,
Но там, на давнем берегу, —
Год сорок третий, дед Матюха
И россыпь стружек на снегу.

* * *

А. Хильченко

Впереди — хлопотливое лето
И безденежья вечная грусть.
И не всех самобытных поэтов
Соберет Воронцовая Русь.

Но из Каменки катится эхо,
Разлетаясь в любые концы:
«Отзовитесь, кто может приехать:
Зацветают в степи воронцы».

О названии даже не спорим,
Не в названии суть, наконец.
Цвет лазорев, пион, марьин корень,
А у нас он — цветок воронец.

Там, в логу, где остатки дубравы,
Каждый кустик нарядно певуч.
И ласкает медвяные травы
Неиссякший Серебряный ключ.

Не вмещает весеннее вече
Ольхов лог с дерезой по краям,
И ведут воронцовые речи
И гитара, и звонкий баян.

Окликаются доли и веси,
Здесь ты сам и творец, и актер,
И возносит поэзию песен
До небес воронцовый простор.

* * *

По дороге нагретой,
Где полынь и ромашки,
Чья-то юность бродила
В белоснежной рубашке.

А моя промелькнула,
Как ночной метеор.
Только счастья осколки
Сердце жгут до сих пор.

* * *

С. Чернышёву

Ну, пошел и пошел...
Что ж так сердце болезненно сжалось?
Опустевший перрон,
Так же осень светла и тепла.
Ну, пошел и пошел...
Только острая терпкая жалость
Неизбывной печалью
Тихонько за сердце взяла.

И сентябрь, как сентябрь...
Так же ласточкам в небе леталось.
Их нечеткие тени
Вечерняя вычеркнет мгла.
И сентябрь, как сентябрь,
Да почти вековая усталость
На сплетенье морщин
У излучины глаз залегла.

Может, там, впереди,
Листопада скользящая свежесть
Обновит и остудит
Родник у иссохшей вербы.
Может, там, впереди,
Есть надежда, и вера, и нежность.
На осеннем излете.
У самого края судьбы.

* * *

Жизнь пытала, как только хотела:
На изгиб, на износ, на излом.
Чье-то счастье в ночи пролетело
И незряче задело крылом.

Холод ночи невольно забылся,
Время чутко замедлило бег...
В темноте обреченно кружился
Лепестков абрикосовых снег.

* * *

Судьба лежит изношенной подковой.
С невольной грустью на нее гляжу;
За все должна — по прихоти суровой
В шелках долгов всю жизнь свою хожу.

Всему свой срок. Кому должна теперь я
За предков, за потомков, за врагов?
Темным-темно. И за немою дверью
Не скрыться от немислимых долгов.

Срываюсь в темноту, но у порога —
Надежных рук нежданное тепло,
Которое во мраке дня слепого
Меня в таком отчаянье нашло.

И вижу свет. И удивляюсь снова,
Что свет любви со мною и во мне.
За все долги отдам судьбы подкову...
Да знать бы, что желанный на коне.

* * *

Четверговой свечой
Я рисую кресты.
Все продольное — я,
Поперечное — ты.

Это ты высотой
От земли до небес.
Я — незримой чертой
Через поле и лес.

Я — туманом седым
Над стоячей водой.
Но находят следы
Мои горе с бедой.

Ты растешь, я стелюсь.
Тебе страх незнаком.
Я в нужде становлюсь
И плющом, и вьюнком.

Я тянусь, я стремлюсь,
Мне нужна высота.
Но, скользнув, остаюсь
У изножья креста.

* * *

За день, что мною прожит,
За каждую зарю
И за судьбу, быть может,
Я жизнь благодарю.

За речку в дымке вешней,
За шелест камыша,
За тишину, где нежной
Становится душа.

За ноченьки в тумане
С предутренней росой,
За лепестки герани,
Когда идешь босой.

За паутинку тонкую,
Присевшую на сук,
За яблоко антоновку,
Что я в руке несу.



Татьяна Петровна Малютина (Чалая) родилась в городе Россошь. Окончила исторический факультет Воронежского государственного университета, кандидат исторических наук. Автор книг «Во глубине славянских руд», «Славянский мир Н.И. Костомарова», «Слобожанская тетрадь» (в соавторстве с П.Д. Чалым), «Россошь. Визитная карточка». Публиковалась в журналах «Вопросы истории», «Военно-исторический журнал», «Историчный журнал» (Киев), «Журнал военной истории» (Букарест), «Подъём». Живет в Воронеже.

Татьяна Малютина

РОДИНА НЕГРОМКАЯ МОЯ

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СКВОЗЬ ТУМАН ВЕКОВ**

У первой части этих записок два автора. Оба они священники, жившие в рубежное время — на грани XIX — XX веков. Для них, как и для меня, человека уже иной эпохи, Россошь стала судьбоносной. «Под куполом небес есть место золотое» — милая родина...

Россоши и Россошанскому району повезло. Уже в XIX веке здесь жили люди, интересовавшиеся историей родного края. Они по крупицам добывали сведения о его прошлом. Описывали, анализировали и изучали современные им события. Имена наших первых краеведов, к счастью, не канули в Лету. Их труды до сих пор вызывают интерес исследователей.

Так историю сел Россошанского района — Новой Калитвы и Старой Калитвы (в XIX веке слобод Острогожского уезда Воронежской губернии) дал в своих очерках священник и педагог Николай Алексеевич Куфаев. Он служил в Троицкой церкви Новой Калитвы. Одновременно преподавал в земской школе Закон Божий и другие учебные предметы. При его участии была открыта и действовала церковно-приходская школа. Он писал и печатался в «Воронежских епархиальных ведомостях», «Воронежских губернских ведомостях». Уезжая в 1902 году из слободы, Н.А. Куфаев подарил свой дом

церковно-приходской школе, свидетельствуют старожилы. В советское время в нем располагалась детская библиотека. О Новой Калитве писал и учитель Ново-Калитвянского земского училища, краевед Алексей Хреновский — автор очерка «Слобода Новая Калитва», напечатанного в «Воронежских епархиальных ведомостях» в 1874 году.

История храмов края изложена в труде церковного деятеля, историка, краеведа Дмитрия Ивановича Самбикина «Хронологический указатель церквей в Воронежской епархии (1586—1886)». Статистические данные, затрагивающие изучение доходов крестьян слобод Лизиновка, Новая Калитва и Старая Калитва, в XIX веке были собраны и обобщены под началом историка, экономиста, земского и общественного деятеля Федора Андреевича Щербины.

Что касается собственно Россоси, то ее первая, известная на сегодняшний день, летопись была написана историком Тихоном Митрофановичем Олейниковым. Он родился в 1883 году в селе Неровновка Острогожского уезда (ныне Ольховатского района) в семье священника. Высшее образование получил в Духовной академии. С 1910 года — преподаватель словесности в Воронежской духовной семинарии, председатель церковного историко-археологического комитета, редактор журнала «Воронежская старина». В советское время работал хранителем краеведческого музея. Был репрессирован.

Очерк о нашем городе Тихон Митрофанович назвал просто: «Слобода Россось Острогожского уезда и ея Крестовоздвиженская церковь». В предисловии к своему труду автор указывает, что в его основе материал архива Воронежской Духовной Консistorии и летопись, «написанная и ныне еще здравствующим протоиереем Ильею Андреевичем Соколовым, проживающим в своем доме, в слободе Россоси».

Илья Андреевич Соколов был священником россосанского Крестовоздвиженского храма 31 год. В 1890-е годы он был одним из инициаторов строительства второго храма в слободе — Пророко-Ильинского. В 1900 году он перешел в Тверскую епархию. В городе Осташков был произведен в сан протоиерея, служил настоятелем Троицкого собора. В 1905 году, «выйдя заштат», он снова вернулся в слободу Россось. Здесь в XIX веке, кстати, 49 лет прослужил священником и его отец, оставил о себе добрую память.

Предлагаемый читателям журнала «Подъём» краеведческий очерк о нашем городе был впервые опубликован в журнале «Воронежская старина» в далеком 1916 году. Текст печатается с сокращениями.

Слобода Россось Острогожского уезда и ее Крестовоздвиженская церковь

Слобода Россось (Россоса) находится в Острогожском уезде.

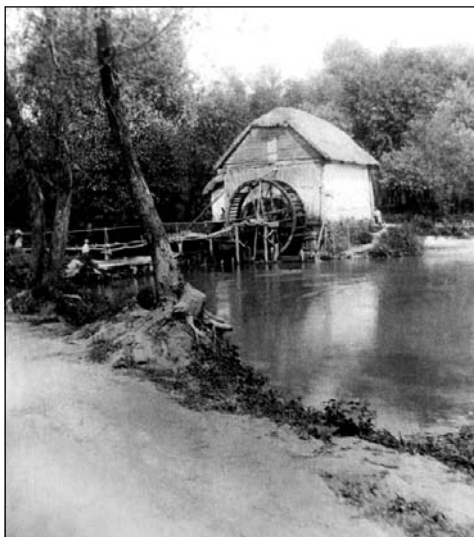
Земля Острогожского уезда до заселения черкасами, а затем русскими, вся была государственная; никаких земельных участков, принадлежащих частным лицам, не было.

Здесь кочевали татары. Занимаясь грабежом, они так полюбили эту местность, что больших усилий стоило прогнать их отсюда.

В настоящее время о татарах свидетельствуют попадающиеся в Россосанской местности курганы. Некоторые из этих курганов, по раскопкам Г.А. Черткова, оказались могилами; другие, очевидно, были сторожевыми пунктами.

Татары имели здесь и свои кумирни: около слободы Ровенек, близ реки Айдары, крестьяне при распашке земли плугом вытащили несколько татарских божков. Это было лет 50 тому назад.

Когда черкасы устроились слободами, появились Калитва, Белогорье, Ровеньки и другие селения; им дарована была правительством земля и на первых порах де-



Девушки-хохлушки в национальной одежде. Россошанская волость.
Водяная мельница Р. Буцке на реке Чёрная Калитва.
Фото начала XX века



Древнее городище располагалось на правом высоком берегу Дона
южнее села Нижний Карabut.

нежное жалование, с наказаниями, чтобы они Государю служили, Русь от врагов оберегали, в своих слободах на вечное житье строились, и земли пахали, и хлеб сеяли.

Когда прошла нужда в охране, боевой образ черкасов уступил место мирным сельским занятиям. Они стали именоваться войсковыми жителями, а потом государственными крестьянами.

Поселенцы слободы Россоси и некоторых окрестных слобод и хуторов пришли в здешние края позже. От них уже не требовалось сторожевой службы, хотя и им приходилось в первое время отбиваться от воровских татарских шаек. Они заняли землю, которая принадлежала наказному полковнику Острогожского полка Ивану Ивановичу Тевяшову, современнику Петра Великого. Поселившиеся казаки были закрепощены и стали именоваться подданными черкасами.

Заселение слобод и хуторов, закрепощенных за Тевяшовым, происходило таким образом: малороссийские казаки из Черкасс и других мест целыми сотнями верхом на лошади, пешком и на возах с семьями и домашним скарбом двигались на Острогожск, где в то время были власть имущие. В Острогожске они узнавали о свободных местах для заселения, заручались разрешением и отправлялись по назначению. Но было и так, как рассказывают старые люди: с Острогожска шел большой шлях на Дон. На этом шляху, в 65 верстах от Острогожска, был маленький хутор Развилки (теперь Новопостоялый). Развилки и все кругом на громадное расстояние земли принадлежали помещику Тевяшову. При этом хуторе дорога разветвляется: вправо идет на Ольховатку, влево на слободу Россось. Тут были устроены несколько землянок и курень; в этих помещениях жили казаки, слуги Тевяшова. У них в курене была водка в бочонках. Едут поселенцы. «Здоровы буллы, панове! Куды Бог несэ?»

— А хибя не бачитэ, шо шукаем воли». Слово за слово. Дело слажено. Партия поселенцев препровождается в Ольховатку, или в Россось, или в другие хутора Тевяшова, где они водворялись.

Петр Великий за верную службу по охране «украины» отдал в вечное владение с указанием границ полковнику Ивану Ивановичу Тевяшову следующие поселения: Колыбелку, Марок, Солдатку, Переезжую, Гредякин, Ивановку и другие поселки. Все эти поселки И.И. Тевяшов передал своему сыну Степану, а другому сыну Ивану достались слободы Россось, Ольховатка, Михайловка и село Воскресенское. Таким образом, нынешний Острогожский уезд был отдан Тевяшовым за их заслуги. Заслуги же Тевяшовых состояли в том, что они, не щадя жизни своей, охраняли «украину» от крымских, ногайских татар, над которыми они одержали великую победу.

Около Острогожска есть местность, называемая Ризанка: говорят, что тут между казаками и татарами произошло огромное сражение, перешедшее в резню: татары были опрокинуты и уничтожены. Вероятно, победителем был полковник Тевяшов.

Название Россоси

Реки — Россось и Черная Калитва (Черною названа потому, что на глубоких местах реки цвет воды — черный; густые и высокие камыши с двух сторон сделали воду еще чернее), имея течения: первая — с севера, вторая — с запада, образуют угол. В этом углу на рубеже XVI-XVII веков стали селиться первые поселенцы. От расположения хат по берегам обеих рек, имеющих форму угольника, или так называемой «россохи», и слобода получила название Россось.

Другое название Россоси производят от слова «роскошь». Природа в то время была, действительно, роскошная: многоводные реки изобиловали множеством рыбы (сомы, говорят, были таких размеров, что поедали уток), озера и болота —

многочисленными стаями всякой птицы (лебеди и дикие гуси имели выводки), дремучие леса — всякого рода животными (водились олени, медведи), а луга и степи покрыты были прекрасными травами.

В слободе Лизиновке, в семи верстах от Россоши, протекает маленькая речонка, называемая Свинухой. Берега этой реки и низменные места покрыты были глубокими камышами. Тут водились дикие кабаны и свиньи, от которых никому не было прохода. Несколько лет было употреблено поселенцами, чтобы уничтожить их.

Могло быть так: те, которым было поручено указывать поселенцам места для заселения, называли эту местность «роскошью», а потом и Россошью.

Первые поселенцы слободы Россоши были малороссийские черкасы. Черкасами писались они в исповедных книгах росошанской церкви и в 1812 году, а в метриках они просто назывались подданными.

Какова была Россошь изначально? Во-первых, реки Россошь и Калитва в то время были значительно шире и глубже; берега рек покрыты были сплошными камышами. За рекою Россошью, где теперь Заболотовка, и далее к вокзалу, были громадные болота, поросшие камышом и осокой; по этим местам в ту пору нельзя было ни пройти, ни проехать.

Росошане с этой стороны были вполне обеспечены от набегов татарских шаек, с южной стороны была также природная защита для них: река Калитва настолько была глубока и широка, что перебраться через нее было очень трудно, а по ту сторону реки, по направлению к Лизиновке, — опять сильные камыши с дикими свиньями и кабанами. С северной стороны, где теперь большое кладбище, кирпични и улицы, что на реке Россоши и под горой, был громадный лес, который тянулся до Лескового и далее к Ольховикову. В этом лесу прадеды наших росошан парили лес и гнули ободья, почему и вся эта местность называется «парня».

Открытой была одна западная сторона, но с этой стороны, по словам старожилов, была глубокая канава и вал. Своими концами вал упирался в берега рек Калитвы и Россоши; в середине вала были ворота, а по линии вала сторожевые вышки, на которых караулили по очереди росошане. При появлении врагов, все женщины, старики и дети прятались в камышах, а мужчины вступали в бой с врагом, отстаивая свои семьи и «худобу».

Умерший 35 лет тому назад крестьянин слободы Россоши (умер 80 лет от роду) свою фамилию Дирконос объяснял так: прадед его воевал с татарами, которые часто набегали на Россошь и разоряли ее. Вражья стрела попала ему в нос и «пробила дырку»; с той поры и стали дразнить его Дирконосом.

Занятие росошан

Жители слободы Россоши издавна занимались и занимаются земледелием. Последняя вдова и та старается засеять хотя бы малую часть земли. Но кроме этого, многие из росошан промышляют овчарством. Все лишние в семье мужчины от 15 до 60 лет уходят в донские места, в овчары, с первого марта до «отбойки» — т.е. до 15 ноября. Девушки уходят тоже в донские места партиями на черную работу.

Иные занимаются торговлей, ссыпкою хлеба, извозом, многие служат на железной дороге.

Крестовоздвиженская церковь

В Россоши издавна существует Крестовоздвиженская церковь. По преданию, первая росошанская церковь в честь Воздвижения Креста Господня построена в царствование Петра I. Освящена, вероятно, с разрешения Воронежского митрополита Пахомия, управлявшего епархией с 1714-го по 1723 год. О постройке цер-

кви ходатайствовал сподвижник Петра I полковник Черкасского полка Иван Иванович Тевяшов.

Первая церковь была лубяная, т.е. покрыта липовыми лубьями, и существовала не более 20-30 лет. Вследствие усиленного заселения слободы Россоши и окрестных хуторов черкасами — с разных сторон малороссами-переселенцами, построенная церковь скоро оказалась малопоместительной. В силу этого, после смерти И.И. Тевяшова в 1725 году сын его, тоже Иван Иванович, современник Анны Ивановны и Елизаветы Петровны, начал ходатайствовать о построении в слободе Россоши новой церкви.

«Имеется у меня нижайшего, — так писал он 28 апреля 1742 года Епископу Иоакиму, — в слободе моей Россоши церковь во имя Воздвижения Честного Креста, которая весьма мала. И по прошению той слободы всего народа и по желанию моему надлежит оную церковь вновь построить в другом удобном месте: того ради ваше преосвященство покорнейше прошу для оклада оной церкви дать преосвященства вашего Острогожскому протопопу Антонию — повелительный указ».

Вторая церковь в Россоши уже была готова к освящению в 1744 году. Но в этом году церковь не была освящена. Задержка произошла потому, что Острогожский протопоп Антоний не мог представить данный ему указ о построении церкви в слободе Россоши (указ сгорел в его доме). Завязалась переписка, оттянувшая освящение церкви до 1747 года.

В начале 1760-х годов церковное строение изветшало. Россошане получают разрешение строить новую церковь.

Она строилась семь лет. Хотя жители слободы Россоши дали обещание строить церковь самостоятельно, тем не менее, в июле 1766 года они уполномочили своих священников Василия Венецкого и Михаила Васильева, дьякона Дионисия Васильева и двух своих ктиторов Семена Будкова и Ивана Фроленко просить бывшего тогда Епископом Святителя Тихона о выдаче книги для сбора пожертвований на «иконостас и церковную утварь». Святитель Тихон 4 июля 1766 года положил резолюцию: «Дать книгу и указ».

В мае месяце 1769 года священник Василий Венецкий, сообщая Епископу Тихону о том, что церковь в слободе Россоши закончена, просил его дать указ об освящении.

26 мая церковь была освящена.

Так как новый иконостас и иконы еще не были готовы, то поставили пока иконостас и иконы из старой церкви.

Новый иконостас готовился сравнительно долго: так, уже в 1770 году священнослужители и жители слободы Россоши просили Епископа Тихона дать книгу для сбора пожертвований на уплату за иконостас.

Старая церковь была продана жителям слободы Александровки, а те, устроив у себя каменную церковь, уступили ее жителям слободы Терновки, где она существует в разобранном виде и по настоящее время.

В одном из формуляров за 1818 год выстроенная церковь так описывается: «2-х престольная — престол в честь воздвижения Животворящего Креста Господня освящен в 1779 году; престол во имя Св. Стефана Архиепископа Сурожского, освящен в 1797 году (имя Стефана Сурожского носил помещик Степан Иванович Тевяшов). Церковь крепка, на каменном фундаменте. Вновь покрыта железом. Утварь достаточная. При ней колокольная деревянная, построена в 1787 году, покрыта железом. В 1818 году устроена каменная ограда с железными решетками; на востоке в ограде устроены каменные башни, а на западе каменный караульный дом, 4 каменные лавки, одна маленькая деревянная и больничный дом с двумя покоями. По преданию, живое участие в постройке этой церкви принимал полковник Степан Иванович Тевяшов, сын Ивана Ивановича, который заботился о

построении второй Россошанской церкви. Церковь эта была устроена на том же месте, где и была вторая церковь, ближе к западной стороне старой базарной площади. Существует и глухая каплица на месте престолов. Такая же каплица устроена была и на месте престола первой церкви, немного дальше к востоку той же площади».

Эта церковь обслуживала духовные нужды росошанских обывателей и хуторян 65 лет, до окончания в 1834 году настоящей каменной церкви, которая находится на новой базарной площади.

Со смертью Степана Ивановича Тевяшова, род Тевяшовых прекратился. Имение перешло во владение фамилии Чертковых. Единственная дочь Степана Ивановича Евдокия вышла замуж за Дмитрия Васильевича Черткова, сына Василия Алексеевича Черткова, Воронежского Генерал-Губернатора. Во владение Евдокии Степановны от отца поступило крестьян обоого пола 13950 душ и 200000 десятин земли в Острогожском, Богучарском и Валуйском уездах. Заботу о построении каменной церкви принял на себя Дмитрий Васильевич Чертков, а после смерти — его сын Генерал-Лейтенант Николай Дмитриевич, которому в 1829 году по разделу имения досталась Россошь с ближайшими хуторами, с населением душ мужского пола 6144 и землю 55 тысяч десятин.

Настоящий Крестовоздвиженский храм построен и освящен в 1834 году, а окончательное устройство внутри храма — в 1843 году, по освящении северного предела. Устроен на кошельковые, свечные и просительную книжку деньги. Пособием служили мостовые и гуртовые сборы: с посторонних с каждого воза брали по две копейки, с рогатого скота, прогоняемого на ярмарки, по одной копейке. Помещик Николай Дмитриевич Чертков, как видно из просительной книжки, первый подписал на храм 1000 рублей ассигнациями (298 рублей 33 копейки серебра). Отец его Дмитрий Васильевич еще в 1820 году входил с прошением к преосвященному Епифанию Епископу Воронежскому и Черкасскому о дозволении взамен обветшавшей деревянной церкви устроить новую — каменную. План и фасад храма утверждены 16 сентября, а грамота подписана 30 сентября 1820 года. В грамоте выражено желание преосвященного, чтобы здание окончено было в пять лет. Но постройка храма затянулась почти на 14 лет. Причиной замедления постройки мог быть не состоявшийся еще раздел имения Дмитрия Васильевича между тремя сыновьями и двумя дочерьми и, вероятно, неблагоприятные годы: 1831-й и 1832-й, первый — холерный, второй — совершенно голодный.

В голодном году нашим малороссам впервые пришлось познакомиться с «москалями» северных уездов Воронежской губернии. У них жители наши зимовали свой рогатый скот и овец. Там они научились и сеять рожь, а то все сеяли одну пшеницу.

В архитектурном отношении Крестовоздвиженский храм вполне может быть назван величественным. Не только приезжие восхищаются его видом, но и местные жители часто останавливают свой взор на нем. Форма храма почти квадратная; длина внутри 40 аршин, ширина 36 аршин, высота до кольца в среднем куполе, на котором висит люстра, 41 аршин, высота же всего храма с крестом на главе 52 аршина. Храм имеет пять куполов, средний круглый с такою же крышей, внутри в окружности имеет 40 аршин, по углам купола квадратные, с полукруглыми крышами, значительно выше среднего купола. Они покрыты кровельным железом, окрашены зеленой краской, главы и кресты на них вызолочены. Купола утверждены на 4-х обширных каменных столбах, поддерживающих своды. С наружной стороны храм имеет 4 одинаковой формы фронтона. С восточной стороны фронтона 3 окна; выдвинутый вперед, он увеличил размер главного алтаря. С западной, северной и южной сторон фронтоны поддерживаются 6-ю высокими круглыми столбами, украшенными сверху алебастром. И так как

тут же в стенах здания устроены входные двери, то к фронтонам, во всю длину их, приделаны из плит и самородного камня паперти. Церковь и доселе существует в том виде, в каком была первоначально. Чтобы сделать храм более просторным, строители на первых порах сделали некоторое отступление. Решено было каменную колокольню устроить отдельно.

К постройке колокольни приступили в 1836 году. Она была очень небольшая, в два этажа, но имела очень высокий шпиль, почти равнявший ее с высотой церкви. 19 февраля 1861 года на ней еще производился звон, призывавший крестьян для выслушанья Высочайшего Манифеста Императора Александра II о дарованной помещичьим подданным свободе.

Крестовоздвиженский храм 3-х престольный. Главный — во имя Честного и Животворящего Креста Господня, освящен 15 сентября 1836 года, с южной стороны придел во имя Св. Николая Архиепископа Мирликийского, освящен в 1834 году 17 сентября, и с северной стороны придел во имя Св. Дмитрия Ростовского, освящен 1843 года августа 21 дня.

До 1851 года стены Крестовоздвиженского храма внутри белились известью, а алтари красились голубой краской. В 1851 году началось расписывание всей церкви, которое и закончилось в 1853 году. В 1879 году было произведено новое расписывание церкви: прежние стенные изображения были уничтожены и заменены новыми из Библии по рисункам Доре.

Придельные престолы в храме были освящены в честь тех святых, имена которых носили помещики Чертковы, принимавшие живое участие в его построении. Впрочем, и некоторые хуторские поселения получали имена своих владельцев. Так, слобода Александровка названа по имени зятя Дмитрия Васильевича Черткова — тайного советника Александра Солнцева, а именем жены его Екатерины Дмитриевны хутор Стрыжкова назван Екатериновкою. Слобода Марьевка — бывший хутор Гвоздев, названа по имени Марии — дочери Дмитрия Васильевича Черткова. Хутор Маловатский назван Лизиновкой по имени Елизаветы Ивановны Чертковой, которая была замужем за генералом Григорием Ивановичем Чертковым, сыном Ивана Дмитриевича Черткова. Хутор Ольховиков назван Николаевкою по имени генерал-лейтенанта Николая Дмитриевича Черткова.

Еще был и такой обычай: когда умирал помещик, а Чертковы все были в генеральских чинах, мундиры их, шитые золотом, звезды и ордена передавались в храмы на память. Делался ящик за стеклом, куда помещались каска с перьями, мундир, звезды, лента, ордена. Ящик устанавливался в притворе храма, чтобы народ, приходя в церковь, видел, какой чести заслужил их покойный помещик. Спустя более или менее продолжительное время, все эти вещи церковными старостами сдавались золотых дел мастерам для обмена на церковную утварь.

Настоящая колокольня Крестовоздвиженской церкви, отдаленная от церкви на 65 шагов, имела 4 этажа и была восьмигранная, купол и шпиль — железные, покрыты жстью, глава и крест — медные, вылащены через огонь. Каменной кладкою колокольня выше церкви, вышина 82 аршина. Устроителями этой весьма величественной колокольни были всецело два лица: отец Андрей Степанович Соколов и близкий ему по духу церковный староста Михаил Данилович Жарый. К постройке здания приступили они «без гроша денег». Жарый от предшественника своего церковного старосты Ивана Сухомлина принял ключи от церкви и несколько медных пятаков. Между тем, при помощи Божией, за колокольню уплачено около 30 тысяч рублей.

В начале 1861 года отец Андрей Соколов пешком предпринимает путешествие в Москву. Была цель поклониться московским святыням и попросить нового россосанского помещика тайного советника Александра Дмитриевича Черткова, которому после смерти Николая Дмитриевича Черткова досталась по разделу



Участники украинской художественной самодеятельности. Россошь. 1929 год

Первый автобус на улицах Россоши. 1936 год



Автомобили ЗИС-5 на центральной площади Россоши во время всесоюзного автопробега 1932 года. На заднем плане слева — Крестовоздвиженская церковь, построена в 1834 году.



Учения по противохимической обороне в Россоши. 1940 год



Юные жители города Россоши летом на реке Чёрная Калитва.
30-е годы прошлого века

Россошь, оказать помощь по сооружению колокольни. Отец Андрей нашел Александра Дмитриевича в подмосковном имении Чернево. Был радушно принят. Выслушав просьбу, Александр Дмитриевич послал за архитектором Г. Бурениным, которому и поручил составить план на колокольню. Через несколько дней, пока отец Андрей ходил на поклонение в Ростов, Новый Иерусалим, Звенигород и другие места, план был готов, с которым он и возвратился в Россошь. Колокольню строил московский подрядчик Грязнов. При постройке колокольни не обошлось без несчастья. Один из рабочих упал со второго этажа и разбился насмерть, а когда здание было окончено, звонарь из местных жителей упал с третьего этажа и был поднят без признаков жизни. По окончании постройки колокольни, отец Андрей приступил к сооружению в нижнем этаже колокольни храма в честь Благочерного Князя Александра Невского, имя которого носил Александр Дмитриевич Чертков. Для этого он неоднократно с преданными ему стариками и своими ученицами-певчими ходил с иконой Немецкой Божией Матери по всему приходу из хаты в хату, служил молебны и просил, кто сколько мог пожертвовать. Сын умершего Александра Дмитриевича Черткова капитан гвардии, впоследствии Обер Церемонимейстер Григорий Александрович Чертков на устройство иконостаса пожертвовал семьсот рублей. Престол освящен по распоряжению Архиепископа Серафима местным благочинным протоиереем Георгием Петровым в 1876 году 13 января.

Крестовоздвиженская церковь всегда была достаточно снабжена необходимой церковной утварью. Так, в еще в 1744 году в Крестовоздвиженской церкви были серебряные вызлащенные сосуды, ризы (были даже шелковые) и все церковные книги.

Кроме Крестовоздвиженской церкви, в слободе Россоши существует и другой храм во имя пророка Божия Илии. Храм этот был заложен в 1897 году 20 июля, а освящен 31 мая 1916 года. На построение этого храма сдал свою жертву (200 р.) приснопамятный пастырь праведный протоиерей Иоанн Сергиев Кронштадтский.

Храм построен в Византийском стиле и представляет величественное здание; увенчивается главным куполом и прилегающими к нему с 4-х сторон 4-мя полукуполами. Высота его внутри от пола до средней высшей точки главного купола 56 аршин. Обилие света в нем необычайное; достаточно упомянуть, что во всех 5-ти куполах имеется 52 окна. Постройка храма с иконостасами обошлась более ста тысяч рублей.

Священники Крестовоздвиженской церкви

Кто был первым священником в Крестовоздвиженской церкви, неизвестно. В 1744 году священником состоял Григорий Ефимиев; с течением времени в Крестовоздвиженской церкви появляются два священника, затем — три, позже — четыре. Очевидно, число священников увеличивалось по мере увеличения народонаселения слободы Россоши, а также и хуторов, принадлежащих к ней.

В 1848 году к Россоши принадлежало 11 хуторов, из которых в двух были молитвенные дома. Генерал-лейтенант Чертков, которому тогда принадлежала Россошь, просил Епархиальное Начальство открыть четвертый штат с тем, чтобы два священника оставались в Россоши, а два других жили в тех хуторах, где располагались молитвенные дома.

Итак, первоначально был лишь один священник при Крестовоздвиженской церкви, при нем даже не было дьячков и пономарей, их обязанности исполнял кто-нибудь из прихожан. Впоследствии при церкви появились дьяконы, дьячки, пономари, звонари.

Духовенство Крестовоздвиженской церкви «кормилось» и «кормится» глав-

ным образом кружечными доходами. В настоящее время духовенство пользуется луговой землей в количестве 99 десятин. Прежде церковной земли было значительно меньше; так, в формулярной ведомости за 1818 год написано: всей земли церковной сенокосу 25 десятин и лесу 8 десятин. Впоследствии Г. Чертков прирезал несколько десятин; стало 60 десятин, остальные добавил Г.А. Чертков. Эта добавка было где-то в степи, как распашная, но отец Андрей Соколов упробовал Г.А. Черткова заменить эту землю луговой, что и было исполнено. Земля находится в одном участке при реке Калитве близ хутора Осаульска.

Не всегда духовенство пользовалось церковной землей: так, в 1744 году «определенной пашенной земли и сенных покосов за священно и церковно служителями не имеется, понеже у них вольная степь».

Церковных домов для духовенства не имеется; есть один церковный дом, но он сдается в аренду и плата идет в пользу церкви; имеются подцерковные усадьбы, некоторых семь.

В Россоши шесть кладбищ, на коих погребены местные торговцы и крестьяне. Каких-нибудь выдающихся памятников нет. Где были престолы двух прежних церквей, находятся две каменные глухие каплицы. Около них выстроена часовня последним помещиком слободы Россоши капитаном гвардии Григорием Александровичем Чертковым.

Школы

В настоящее время в слободе Россоши шесть школ: церковно-приходская, двухклассная министерская, остальные — земские; есть также женское учебное заведение, содержимое Г. Ульяницевой, типа женских гимназий.

Школы в слободе Россоши существуют издавна; так, еще в 1862 году в Россоши было три школы, кроме той, где занимался священник Андрей Соколов.

Одна школа называлась общественной и помещалась в общественном доме; обучалось в ней 39 душ мальчиков и девочек. Учителем здесь состоял Острогожский мещанин Биндас.

Две школы были «частные»; в них занимались временнообязанные крестьяне Лукьян Сибирка и две девицы сестры Васса и Параскева Воскобоевы.

Двухклассное училище открыто в конце 60-х годов. В это время правительство постановило такие училища открыть в больших селах на дальнем расстоянии одной школы от другой. С этой целью директорам гимназий, которые в то время заведовали всеми школами, предписано было иметь у себя означенные училища с тем условием, чтобы отведена была земля не менее двух десятин под школу, доставлен был строительный материал и обязательство содержать сторожа, здание и отопление.

На все эти условия согласились жители слободы Ровеньки и к ним, по поручению директора Г. Белозорова, уже ехал Острогожский штатный смотритель Капитон Капитонович Решетков, чтобы окончательно решить дело.

Когда Решетков проездом остановился в Россоши, то местный священник И.А. Соколов дал знать об этом помещику Черткову, который пригласил к себе этого Г. Решеткова и дело кончилось тем, что училище было открыто не в Ровеньках, а в Россоши. Занятия в этом училище начались в 1871 году в доме на углу старой базарной площади.

Каких-нибудь достопримечательностей в слободе Россоши нет.

В последнее время поднят вопрос о том, чтобы преобразовать слободу Россошь в город. Война помешала этому.

1916 год

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Из слободы — город

Россия, Россошь, Родина — слова близкие, светлые и напевные по звучанию и дорогие по смыслу. Это наше Отечество, наш край, наш дом. Россошанский район Воронежской области — малая крупница России, но по занимаемой площади (2,4 тысячи квадратных километров) лишь немногим уступает европейскому государству Люксембург.

Современная Россошь — промышленный городок среди полей, по-домашнему уютный, тихий и гостеприимный, со смешанным русско-украинским населением. Он полностью соответствует своему ласково-певучему имени, которое произошло, вероятнее всего, от названия речки или места расположения. Воды Россоши текут по «ростоше» — равнине, разделяющей невысокие холмы. А поселение возникло на «россохе» — у слияния речек.

Родившись слободой, Россошь постепенно росла, переживая исторические события, выпадавшие на долю Отечества. В 1923 году официально стала городом и центром нового Россошанского уезда, а с 1928 года — административным центром Россошанского округа и района Центрально-Черноземной, а затем Воронежской области.

Сейчас по численности населения (около 62 тысяч человек) — город третий в Воронежской области.

Жизнь Россоши неразрывно связана с сельским хозяйством. Большая часть предприятий города ориентирована на переработку сельхозпродукции.

Химический завод выпускает богатый «набор» минеральных удобрений. Россошанский мясокомбинат — лидер мясоперерабатывающей промышленности области. Фирма «Молоко» выпускает более 60 видов продукции, которая вырабатывается из натурального коровьего молока без консервантов и добавок. Особое место в ее производстве занимает редкий сейчас натуральный яблочный сок, получаемый путем прямого отжима. Завод растительных масел выпускает не только масло и ароматнейшую халву. Там установлены линии по розливу минеральной воды и лимонада. Россошанский элеватор — старейшее предприятие города, выпускает более 100 тонн хлеба в месяц. В его ассортименте также мука, пряники, крупы, макаронные изделия.

Россошь — родина известных в России людей, славно послуживших Отечеству. В их числе Герой Советского Союза панфиловец Дмитрий Каленик, полный кавалер ордена Славы Алексей Рябошлык, Герой Социалистического Труда механизатор Татьяна Никитина.

Город издавна является культурным центром на юге Воронежской области. Здесь находятся старейшие учебные заведения округа — медицинское училище и колледжи — педагогический и мясной и молочной промышленности. Россошь — родина поэтов Алексея Прасолова и Почетного гражданина города Михаила Шевченко. Сейчас тут живут и трудятся шесть членов Союза писателей России. Выходят газеты «За изобилие», «Россошь», «Химик Придонья», «Россошанские ведомости», «Россошанский курьер», литературный историко-краеведческий альманах «Слобжанская тетрадь». Военно-патриотическую газету «Русский фронт» издает поэт-фронтовик Михаил Тимошечкин.

Россошанский детский коллектив народного танца «Раздолье», ансамбли «Росичи», «Добродей», хор ветеранов «Славянка», молодежный театр-студия «Рамс» неоднократно становились лауреатами областных, российских и международных конкурсов.

Сегодня Россошь растет, учится, работает...

Битва у Дона великого

Излюбленное место отдыха многих жителей и гостей Росоши — центральный парк «Юбилейный», расположенный между улицами Пролетарской и Простеева. Заложен он был в 1970-е годы коллективом нового предприятия — химического завода, сейчас он именуется акционерным обществом «Минудобрения».

Здесь гуляют мамы с малышами, катаются на «Чертовом колесе», «Веселых горках», качелях-каруселях ребята постарше, делают памятные снимки у белоствольных березок молодожены, отдыхают от домашних хлопот и забот люди средних лет, встречаются для длительных бесед на свежем воздухе ветераны...

Тихие аллеи. Нарядные, ухоженные, яркие с весны и до поздней осени цветники-клумбы, уютные кафе. Летними, теплыми вечерами для молодежи на специально оборудованной площадке устраивается дискотека.

Украшает городской парк небольшой пруд с заросшим плакучими ивами островком. Желающие могут попасть туда по деревянному — будто сказочному мостику с ажурными коваными решетками.

В центре парка стадион, где проходят соревнования городского, районного и областного уровня в различных видах спорта. К парку примыкает спортивный комплекс «Химик» с бассейном, игровой площадкой, тренажерными залами. Рядом недавно открыт великолепный ледовый дворец, на арене которого уже сражаются хоккеисты и выступают спортсмены-фигуристы.

На главной аллее парка московский скульптор Казанцев воплотил в камне героев жемчужины древнерусской литературы — «Слова о полку Игореве». Потупив взгляд, в безмолвии и горьких раздумьях застыл князь Игорь Святославович. Легко узнаваема в беломраморном барельефе тоскующая княгиня Ярославна. Она в плаче призывает в помощь попавшему в плен мужу все силы природы. Коварный половецкий хан Кончак довольно потирает руки. Рядом упал сраженный русский воин. Сокол над местом битвы...

Сказитель Боян подложил усталые руки на гусли. Скульптору удалось передать на его лице скорбь, душевную боль и страдание. Но его печаль не только о поверженном Игоревом войске. Боян волнуется за судьбу всей, некогда великой и сильной Руси, которую обессилили и раздробили княжеские междоусобицы.

Эта беломраморная скульптурная группа расположена здесь не случайно. По одной из версий, трагическая битва русичей с половцами в далеком 1185 году произошла в наших краях.

В «Слове» и летописях четко описан путь, каким шло войско Игоря от современного райцентра Новгород-Северский Черниговской области до реки Оскол. А вот дальше маршрут и, главное, место битвы до сих пор вызывают споры. С течением времени изменились названия речек, на берегах которых сражались русичи с половцами. Найти Каялу, Сальницу, Сюрлий уже двести лет пытаются исследователи.

Среднедонская версия похода князя Игоря утвердилась в науке в XIX веке. Ее автором был историк русского права И.Д. Беляев. В статье «Географические сведения на Руси», напечатанной в 1852 году в «Записках Географического общества», он утверждал: «Игорь держал свой путь на Донец, потом на Оскол и далее к Сальнице (вероятно, нынешний Богучар)». Иван Дмитриевич доказывал, что путь на средний и верхний Дон был исхожен и знаком славянам.

В XX веке версия получила развитие в исследованиях москвичей Поливановых. Приезжавший в Росошь в довоенную пору Николай Николаевич Поливанов был уверен: князь Игорь сражался вблизи слияния речек Черной Калитвы и Росоши.

Его исследования продолжил племянник Алексей Магвеевич Поливанов, действительный член Российского Географического общества. В 1976 году он отдал на научную экспертизу изъеденное ржавчиной древнее копьё, найденное маль-



Улица Пролетарская у моста через речку Россошь после боя. 1943 год



Мороз -30 градусов, а до Италии очень далеко. Январь 1943 года

чишками на дне речки Россошь. «Подобный тип копий хорошо представлен в домонгольских памятниках Древней Руси», — такое заключение сделали специалисты Государственного исторического музея в Москве и указали примерный возраст находки — XII или XIII век.

Незадолго до своей кончины А.М. Поливанов выпустил вторым дополненным изданием книгу «Где ты, Каяла?» (Москва, 2003). В ней он, используя знания гидрологии, астрономии, математики, археологии, топонимики, а также фольклорные и военно-тактические данные, доказывает, что «местом битвы русских с половцами было устье речки Россоши (Каялы) при впадении ее в реку Черную Калитву (Сальницу), притока Дона».

Крест войны

Тяжелые испытания выпали на долю жителей Россоши в XX веке. Много крови впитала наша земля, много подвигов и страданий видела.

В годы Первой мировой войны сотни росошанцев ушли защищать Отечество. Сражались, не жалея себя. Многие были награждены орденами и медалями. В земском госпитале Россоши лечили раненых на фронте солдат.

В мае 1918 года немецким оккупантам удалось взять слободу. Три дня они хозяйничали здесь: забирала у населения скот и зерно, расстреливали сопротивляющихся.

После октября 1918 года, когда противостояние революционных и контрреволюционных сил заставляло каждого сделать свой выбор, власть в Россоши была сосредоточена в руках революционных комитетов. Немецкое командование пошло на сотрудничество с атаманом Войска Донского П.Н. Красновым. Для противодействия наступлению белоказаков в слободе создается партизанский добровольческий отряд, получивший название «14-я Россошанская рота». Возглавил его герой-фронтвик Михаил Максимович Малоедов. После изгнания казаков Краснова с территории Острогожского уезда партизанский отряд был преобразован в батальон Красной Армии. Командиром назначили Малоедова. Он погиб в январе 1920 года в боях за Ростов. Похоронен был в Россоши.

Летом 1919 года Россошь была захвачена частями Добровольческой армии генерала А.И. Деникина. Освободили слободу 11 декабря того же года.

Осенью 1920 года в слободе Старая Калитва, в 40 километрах от Россоши, вспыхивает крестьянское восстание. Крестьяне взяли за оружие, протестуя против грабительских действий продотряда, конфисковавшего не только зерно, но и нехитрую крестьянскую утварь. Возглавил восстание фронтвик Иван Сергеевич Колесников. Он создал боеспособный отряд с хорошо налаженной разведкой. Постепенно под командованием Колесникова оказалось пять тысяч бойцов, а в особо крупных операциях участвовало до 21 тысячи штыков и сабель. Осознав опасность сложившейся обстановки, В.И. Ленин пишет записку губернскому комитету ВКП (б) с требованием «принять все меры к ликвидации восстания Колесникова в связи с угрозой захвата губернского города Воронеж. В подавлении восстания участвовал будущий маршал Г.К. Жуков. Есть версия, что Колесников сошелся с ним в рукопашном бою и чуть не отправил на тот свет. Некоторые военные операции Колесников планировал совместно с А.С. Антоновым, руководителем восстания крестьян в Тамбовской губернии.

28 апреля 1921 года в степном овраге у хутора Зеленый Яр Колесников был убит. Могила атамана не найдена. По свидетельствам старожилов села Первомайское (бывшее Дерезоватое), тело Колесникова было ночью захоронено на сельском кладбище родственниками Ивана Безручко — одного из ближайших соратников атамана.

Цветы на броне

Теоретики военного искусства и ученые-историки называют «Сталинградом на Верхнем Дону» блистательную Острогожско-Россошанскую наступательную операцию, проведенную силами частей Воронежского фронта 13-27 января 1943 года. В ее подготовке и проведении принимали участие Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин и будущие советские маршалы Г.К. Жуков, А.М. Василевский, Ф.И. Голиков, К.С. Москаленко, П.С. Рыбалко.

Советские войска шли на риск. Ослабив второстепенные участки фронта, незаметно для врага в условиях зимнего бездорожья собрали основные силы на трех ударных направлениях: на севере со стороны Сторожевского плацдарма, на востоке — со Щучьенского и на юге — со стороны Кантемировка. Ударил одновременно. Пехоту сразу усилили танками. Прорыв поддерживала массивированным огнем артиллерия, где позволяла погода — и авиация.

Вырвавшись вперед на южном направлении и оказавшись без связи и поддержки, командир 106-й танковой бригады 12-го танкового корпуса третьей танковой армии Иван Епифанович Алексеев имел лишь 16 танков и малочисленный десант. Ему надлежало двигаться в сторону Ольховатки. Но части, каким предписывалось брать фашистский аэродром под Россошью, поотстали. Понимая, что танк в снегах прекрасная мишень для авиации, комбриг Алексеев принимает смелое решение — атаковать Россошь. Он знал, что в городе вражеской силы скопилось немало. Знал, что бой будет неравный. Надеялся на внезапность нападения — в глубоком тылу фашисты спокойны.

Так и вышло. Ранним утром 15 января 1943 года горстка храбрецов ворвалась в город и сковала силы врага, пожертвовав собой. Командир итальянского корпуса Габриэле Наши бежал из Россоши в панике со своим штабом. Самолеты, представлявшие грозную силу для наступавших советских войск, спешно перебазировали в тыл под Харьков.

Подоспевшие пехотные батальоны, танкисты без больших потерь 16 января освободят Россошь. Звание Героя Советского Союза будет присвоено Ивану Алексееву. Посмертно.

В эти же январские дни 1943 года — о разгроме штаба 24 немецкого танкового корпуса в селе Жилино. Силы врага были одновременно лишены управления.

Это была первая победа в далеком пути от Дона к Берлину. Танкистам армии Павла Семеновича Рыбалко она останется надолго памятной. В повести Леонида Леонова «Взятие Великошумска» есть упоминание о Россоши — «если шепнуть это слово вовремя, на ухо обессилевшему товарищу, оно удваивало отвагу, воскрешало».

В ходе Острогожско-Россошанской наступательной операции советские войска продвинулись на 140 км на запад и разгромили основные силы 2-й венгерской армии, итальянский альпийский и 24-й немецкий танковые корпуса. 15 дивизий были полностью разгромлены, еще 6 потерпели поражение.

Был освобожден железнодорожный участок Лиски — Кантемировка, что позволило улучшить снабжение советских войск на южном секторе фронта. Было взято в плен около 86 тысяч солдат и офицеров противника.

Россошь помнит тот январь, когда в огне снег кипел...

Именами героев названы улицы города. Мемориальный бюст Ивану Епифановичу Алексееву установлен в сквере у городской поликлиники. Острогожско-Россошанской операции посвящены монументы Боевой славы у площади Ленина и на площади Танкистов. В память о подвиге танкистов — освободителей земли Россошанской на каменный постамент поднят танк. Здесь всегда венки и живые цветы...

Вишневый край

Если чеховские герои лишь мечтали украсить Родину садами, то в Россоси жил человек, какой это делал. Имя его известно каждому садоводу-любителю, ведь яблони Михаила Михайловича Ульянищева растут сейчас по всему белу свету. Россосанские яблони весной зацветают не только в садах Черноземья, но и в Сибири, и на Урале. Известный сорт «Россосанское полосатое» прижился в Кремлевском саду, на ВДНХ, и даже за границей — в Германии, Великобритании, Канаде...

Стараниями М.М. Ульянищева еще в довоенном 1937 году был учрежден Россосанский плодово-ягодный опорный пункт, позже преобразованный в зональную плодово-ягодную станцию. Ученый дал жизнь 36 сортам яблонь, десяткам новых сортов абрикоса, сливы, винограда и других культур. Без защиты диссертации за научный труд получил степень доктора сельскохозяйственных наук. Был отмечен большими и малыми золотыми, серебряными медалями ВДНХ СССР. Награжден орденом Ленина.

А начинал свое дело Михаил Михайлович простым огородником. На своих 15 сотках выращивал новые сорта картофеля и томатов. Постепенно увлекся садоводством и как напишет в служебной автобиографии — «был захвачен идеей обновления земли». На себе испытал, как никто другой, что работа селекционера — это искусство, требующее правильного расчета времени и большого мастерства.

Его работу продолжили ученики и последователи: дочери Анна и Ольга, Георгий Дмитриевич Непорожний, Александра Яковлевна Ворончихина и многие другие. На Россосанской плодово-ягодной опытной станции уже выведено около ста сортов яблони, груши, вишни, абрикоса, черешни, винограда, отличающихся высокой урожайностью, отличным вкусом и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям.

В их числе сорта яблони: «Апрельское», «Россосанское полосатое», «Россосанское багряное», «Россосанское вкусное», «Ренет Воронежский», «Степная красавица», «Россосанское зимнее», «Россосанское лежкое». Урожайность этих сортов яблонь от 100 до 200 килограммов с одного дерева. Плоды большинства из них сохраняются до весны, а «Россосанское лежкое» в обычном подвале можно хранить до двух лет.

Выведенные в Россоси сорта груши: «Мраморная», «Десертная россосанская», «Гранатовая», «Лучистая», «Нежная», «Подгорянка», «Дюймовочка», «Тихий Дон», «Бере русская».

Вишня и черешня: «Гирлянда», «Гриот россосанский», «Лада», «Черная крупная», «Галочка», «Россосанская золотая», «Юлия».

Абрикос: «Воронежский крупный», «Сын краснощекого», «Степняк россосанский».

Слива: «Братская», «Голубка», «Награда», «Россосанская крупноплодная».

Кроме того, сотрудники Россосанской плодово-ягодной станции занимаются сортоиспытанием, работают с ягодными кустарниками, виноградом, проводят селекцию роз и других цветов.

Ежегодно опытная станция производит до 2000 тонн яблок и груш, до 300 тонн вишни, черешни, абрикоса, сливы, алычи, до 500 тысяч саженцев плодовых, ягодных и цветочных декоративных культур.

Сейчас Россось известный научный садоводческий центр юга Черноземья. Не случайно на голубом щите городского герба наливное золотобокое яблоко.



Педагогическое училище.
Начало 50-х годов прошлого столетия



Городской рынок в конце 40-х годов прошлого столетия

Ангел храма

С какой стороны ни въезжаешь в Росошь, сразу видишь устремленные ввысь светлые храмы. Белой лебедью уже второй век плывет над городом колокольня во имя Святого защитника земли Русской Александра Невского. А рядом вознесся золотыми куполами в небесную синеву, встал, будто древнерусский витязь, огромный пятикупольный красавец — совсем молодой Ильинский храм.

Люди говорят, что крест на куполе колокольни намоленный — чудодейственный, помогает в делах и начинаниях, охраняет путешествующих.

Росошанский священник XIX века отец Андрей Соколов ради ее строительства пешком отправился в подмосковное имение помещика Григория Черткова. Заручившись его поддержкой и согласием, совершил паломничество по святым местам Отечества, испрашивая духовного покровительства и заступничества новому храму.

Колокольня была построена в 1876 году по проекту московского архитектора П.П. Буренина. Четырехэтажная, восьмигранная, она подняла позолоченный крест на 58-метровую высоту. Здесь же повесили колокол весом в 350 пудов, который служил горожанам до 1937 года, когда по распоряжению властей был сброшен с колокольни и разбит.

Молитвами ли священника Андрея Соколова, Божьим ли промыслом — колокольня уцелела в лихолетья века XX — единственная из всех росошанских храмов.

Великая Отечественная война не пощадила Крестовоздвиженский храм, который был первым каменным храмом Росоши. Его проект разработали ученики знаменитого итальянского архитектора Джакомо Кваренги. Храм строили всем миром 14 лет. В начале XIX века он был освящен в честь Воздвижения Креста Господня. Величественный храм с пятью куполами и позолоченными крестами украшал Росошь более века. Несколькo раз его стены расписывались изнутри. В 1879 году стены украсили росписи из Библии по рисункам Доре...

В послевоенные годы частично сохранившиеся церковные стены были использованы под завод прессовых узлов. Постепенно храм опоясали производственными пристройками. Сейчас в его стенах супермаркет. Но до сих пор при побелке на стенах проступают фрески...

Первый Пророко-Ильинский храм строился почти два десятилетия. Волею судьбы был торжественно открыт и освящен в 1916 году — в канун революции. Известно, что сам Иоанн Кронштадтский пожертвовал на его сооружение 200 рублей. Местный священник Иван Соколов объяснял причину наименования храма: «Мы каждодневно просим у Господа «хлеб наш насущный даждь нам днесь», а хлеб произрастает при благоприятной погоде, когда приходят вовремя дожди. Мы знаем, что по молитвам угодника Божия Ильи идут дожди и получается плодородие. Так и решено было, чтобы новый храм был Ильинский».

Исполненный в византийском стиле, Ильинский храм светился главным куполом на сорокаметровой высоте. Современников поражал своей архитектурой. В 1929 году храм взорвали. Камни стен употребили на строительство мирских зданий. До наших дней не сохранилось даже его фотографии...

История порушенных росошанских храмов печальна. Невольно вспоминаются строки прекрасной поэмы Николая Мельникова «Русский крест»:

В каждый храм, при построеньи,
Бог по Ангелу дает,
и находится в служеньи
в новом храме Ангел тот.

Он, бесплотный и незримый,
до скончания века тут,
и крылом его хранимы
люди — Богу воздают...
Даже если храм разрушен —
кирпичи да лебеда,
воли Божией послушен
Ангел будет здесь всегда.
И на месте поруганья,
где безбожник храм крушил,
слышно тихое рыданье
чистой ангельской души.
И в мороз, и в дождь, и в слякоть,
все грядущие года
будет бедный Ангел плакать,
вплоть до Страшного Суда...

Год открытия нового храма в Россоши по воле Божией стал юбилейным для церкви города — порушенных и уцелевшей. В 2006 году исполнилось 170 лет со дня открытия Крестовоздвиженского храма, 130 лет храму Александра Невского и 90 лет со дня освящения взорванного Пророко-Ильинского храма.

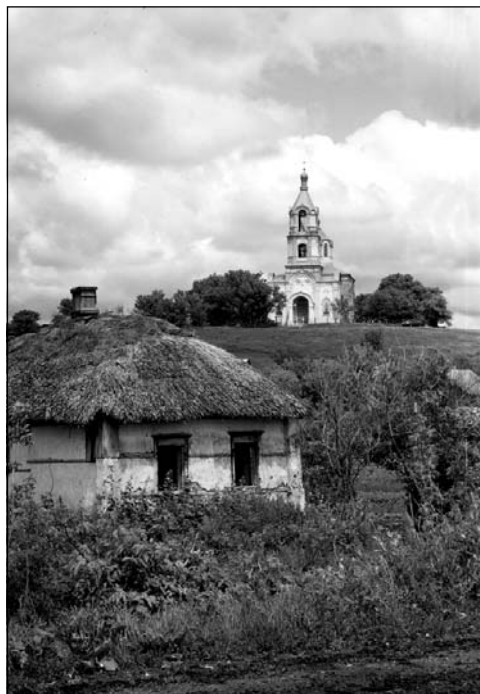
Новый храм Святого Пророка Божиего Или возводили в городе как народную стройку. С миру по копейке и кирпичику... Россошанские предприятия, акционерные общества и частные лица внесли значительный и бескорыстный вклад стараниями, трудами, жертвованиями в создание храма. Строители работали бесприбыльно, покрывая лишь основные затраты. На то была их добрая воля...

Проект храма разрабатывался архитекторами П.В. Дудиным, В.М. Захаровым, Ю.Н. Близиюком. На новой звоннице 9 колоколов весом от 4 до 1200 килограммов. Главный купол венчает пятиметровый крест. Иконостас сделан из литого камня под белый мрамор. Под сводами храма одновременно могут молиться до полутора тысяч прихожан.

Торжественное открытие и освящение храма состоялось 1 августа 2006 года. Вновь, как встарь, с запевом «святой пророче Божий Илие славный, моли Бога о нас» вокруг церкви шел крестный ход. Под светлыми сводами просторного зала стало тесно, как и на прилегающей площади. Собрались здесь, съехались сюда жители со всей округи. Освящал храм митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергей. Обращаясь к прихожанам в проповеди, Владыка подчеркнул, что новый храм — достояние не только Россоши, но и России. Ведь сегодня государство видит в церкви, прежде всего, оплот духовной чистоты сограждан. Той чистоты, без которой невозможно создать ни здоровую, благополучную семью, ни процветающее общество, без которой не решить ни одной серьезной задачи, поставленной перед нами жизнью и временем.

В последние годы восстанавливаются старинные храмы и возводятся новые в окрестных селах, в соседних райцентрах. В росошанском селе Кривоносово вновь отстраивается храм Святой Параскевы Пятницы. Митрополит Сергей накануне светлого Христова Воскресения в 2007 году благословил восстановление Благовещенского храма в селе Жилино. Храму этому более двухсот лет. Он был действующим вплоть до 1960 года. Старожилы еще помнят случаи, когда весть о победе в Великой Отечественной войне сообщили сначала батюшке и только потом председателю сельсовета, которого уже разбудил праздничный колокольный звон...

Жители села Шапошниковка Ольховатского района всем миром возрождают



Храм-колокольня в честь Благоверного князя Александра Невского.
Построена в 1876 году

Украинская хата, сохранившаяся в окрестностях Россоши.
Современное фото



Бывший дом священника. В 1917 году анархисты забрали священника
во время проповеди, вывезли за город и расстреляли.

Бывший магазин Попова. Ныне районная типография.
Современное фото

старинный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь теперь есть свой прекрасный хор. Среди прихожан — все больше молодежи. Храм реставрируется не без трудностей. Об этом говорится в песне-молитве, сложенной Валентиной Литвиенко:

Мы не слышим перезвона.
Выльют колокол для нас?
И звучит мольба с амвона,
Служим Богу мы сейчас...
Помогите, добры люди,
Храм Покровский возродить!
Мы за вас молиться будем,
Дело доброе творить.
Будем кланяться вам низко,
На молебнах вспоминать.
Час пробьет, хоть он не близко.
Мы услышим звон опять!
За всех вас, за всю Россию
Станем Господа просить —
Дать здоровья, веры, силы.
Храм Покровский будет жить!

В поселке Митрофановка Кантемировского района вырисовывается здание нового храма во имя Святого благоверного князя Александра Невского. В Куликовке оживает церковь Преображения Господня — «один из лучших памятников классицизма в Воронежской области».

А сколько храмов, вознесенных даровитыми руками на радость, кануло в небытие. Кто скажет?..

«...не могу надивиться, как наши предки любили красоту, любили украшать землю. Церкви, храмы, монастыри... Да их надо сохранить только для того, чтобы сохранить красоту земли. Что это за земля без них? Слепая, мертвая, бездуховная. Тело без души. Голова без глаз», — так думал русский писатель Федор Абрамов. И далее он сказал важное: «...Церковь — это история России, это вечный дух нации, вера, которая питала, которой были преисполнены воители минувшей войны. «Пусть осенит вас великое знамя наших предков».

Хочется верить, что судьба уцелевших храмов теперь сложится счастливо. А появление новых принесет краю процветание, а жителям и гостям — утешение в житейских горестях, душевное и телесное здоровье и больше радостных, светлых, счастливых моментов в жизни.

*Фото из архива А. Морозова
Цифровая обработка ТО «Альбом»
Современные фото С. Паршиковой, Ю. Поснова*





Петр Дмитриевич Чалый родился в 1946 году. Автор восьми книг прозы. В течение тридцати лет работает корреспондентом воронежской областной газеты «Коммуна». Публиковался в журналах «Подъём», «Волга», «Наш современник», «Кольцовский сквер», «Воин России». Награжден орденом «Знак Почета». Член Союза писателей России. Живет в городе Россошь.

Петр Чалый

БРАТЯ И СЕСТРЫ

*Посвящаю украинским друзьям —
поэтам Леониду Череватенко,
Владимиру Черепкову*

В воронежскую Россошь житель украинского Львова, ветеран войны и труда Шматко приезжает, как домой. Хоть корнями Владимир Максимович полтавский, а в древнем городке Прилуки поныне стоит родительский дом.

— В Россоши я как бы второй раз «народывся на свет», — говорит гость. — За что «по гроб жизни» обязан прежде всего большой семье Протопоповых, моим названным отцу с мамой — Семену Михайловичу и Евдокии Даниловне, моим названным братьям и сестрам.

В большой семье Протопоповых было три сына. Четвертый, Владимир Шматко, нашелся в лето сорок второго, когда среднедонские места опалило пламя войны.

* * *

Окраина городка Россошь, здесь рабочая улочка Дёповская и сейчас по-сельски выбегает прямо в поля.

Тут отыскался нужный мне дом. Было то еще осенью семьдесят пятого. Потоптался у калитки, высмотрел под карнизом нужный номер 103, указанный львовским рабочим Владимиром Максимовичем Шматко, чье письмо, написанное в редакцию газеты, привело меня сюда.

Во дворе стучал топор, за домом спряталась кухонька, в ней-то гомонили люди.

— Протопоповы?

— Мы самые. Тут живем, как раз тут, — отвечал мужчина. Рядом с ним на самодельном стульчике сидел сухонький старичок, сидел, опершись на палку. Сразу стало заметно, что он плохо слышит и старается вникнуть в суть разговора.

— Отец! К тебе пришли! — чуть не прокричал мужчина, наклонившись к самому уху старичка. — Владимир в газету письмо написал!

— Сын Володька писал? Зачем в газету? — Старик взволновался, подумал, что неожиданный гость принес ему недобрые вести. Сообща успокоили его.

— Я-то на фронте был, — объяснял сын. — Знаю обо всем по рассказам, отец лучше скажет.

Действительно, Семен Михайлович оказался словоохотливым собеседником.

— Я в тот июльский день на сенокосе был. Домой возвращаемся, а тут уже немцы в городе. Мы понимали, что придут. Наши ведь сколько дней уже отступали за Дон. Но до последнего надеялись, вдруг да обойдется, споткнется фриц... Иду домой, а жена мне с порога — раненый солдатик у нас, чуть живой, на чердаке схоронили. Я сразу сообразил: пошто прячете? Немцы найдут, всех под распыл пустят. Командую: застилайте, старая, кровать. Сюда его перенесем. Солдатское с него снимите. Рубаху, штаны Гришкины из сундука доставайте.

Баба мечется, не поймет, зачем на виду раненого держать. Наш сын, говорю, будет...

Старик припоминал всякую мелочь. По лесенке спускали солдатика с чердака, а в ней одна ступенька выломана, чуть не оступился, за малым не упали. Цвет одеяла назвал, в каком несли солдата. Даже показал, кто и как за углы одеяла держал. «Тут я, а там жена с дочкой Полей».

Непостижима память человеческая. Ведь уже тридцать лет тому минуло, старик девяносто прожил, а в этой туманной дали все видна та сломанная перекладина в приставной лесенке.

Так украинский парень, кадровый военный Советской Армии Владимир Шматков стал своим в русской семье колхозников Протопоповых.

Раны ему перевязывала Поля. Девушку этому совсем недавно учили в медицинском училище. Когда Владимиру вдруг стало хуже, пошли звать знакомого врача — Антонину Алексеевну Никитину. Ее мама услышала, что лечить нужно нашего солдата, забоялась, не отпускала дочь. «Расстрел, казнь, смерть» — чернели зловещие буквы в листках-приказах, расклеенных по уличным заборам.

А фашисты не только писали приказы, но и выполняли их. Принадорно повесили парня: не явился в управу на регистрацию. На людях казнили женщину — укрывала подлежащие сдаче оккупантам вещи. Весь город знал о каждодневных расстрелах у силосных ям возле концлагеря.

Врач Никитина пошла на Дёповскую. Очистила раны, шины из дощечек наложила на перебитую руку. Рассказала Поле, как лечить, оставила лекарство.

Все заботы по уходу за лежащим недужным взяла на себя хозяйка дома Евдокия Даниловна. Впрочем, эти хлопоты для женщины привычны, не в диковинку. Страшило другое — жили-то под страхом казни. Беда нередко заходила в дом с резким стуком. Непрошенный гость сразу направлялся к кровати.

— Зольдатен? Ауфштеен!

Даниловна забежала наперед, собою заслоняла доступ к раненому.

— Сын родненький! Никакой он не солдат. В депо под бомбежку попал. Недвижимый он.

— Сын? — зло ворчал какой-нибудь прислужник-полицай. — Сын, небось, на фронте воюет.

Не ошибался: трое из Протопоповых сражались с фашистами — братья Иван, Григорий, Алексей, все Семеновичи. А дома мать стояла на своем.

— Святую правду вам говорю. Сын, кровинка моя, — твердила одно, плача, Даниловна.

О том, что Протопоповы укрывают солдата, знали соседи, вся улица. Никто не донес врагу, не выдал.

Вместе с Семеном Михайловичем зашли в дом, он показал фотографии.

— Тут у Владимира гостили. С Полей были во Львове, внучат брали с собой. — Указал, где кто на снимке. — Жаль, Даниловна не дожила, а то бы вместе к сыну поехали. Володя и его семья как хорошо нас гостили. Родных так не привечают.

К нам Володя вскоре после войны приезжал. Сейчас часто бывает. Сразу все сыновья и дочери со своими детьми заявляются. Поля приезжает, она в Подгоренском, тут недалеко, прямо в райцентре проживает. По мужу — Буткова, в медпункте работает.

Владимир приезжает — вся родня собирается. Как в праздник...

* * *

Спустя двадцать лет в очередной свой приезд в дом по Дёповской, 103 меня вновь позвал Владимир Шматко, гость из Львова.

За семейным столом поредело у Протопоповых. Умер Семен Михайлович. Кто из родных болел, не смог прийти. Но приезду Владимира Максимовича все рады. И он счастлив от встречи с сестрами и братьями.

Попросил его подробнее рассказать о себе.

— Родом полтавский. Дедусь до ста десяти лет на панщине работал. От него знаем, вроде бы царица Екатерина у пана за собаку выменяла крепака, крепостного мужика, и сказала: дайте ему земли шматок. Кусок, значит. Прозвище стало фамилией — Шматко. Царица уехала, а прадед остался подневольным у пана.

Я рос в советское время. Родители мои в годы коллективизации перебрались на жительство из села в райцентр Прилуки. Построили хату. Городок с древней историей. В летописях сказано, как сначала половцы, а потом орды хана Батыя выжигали его под корень. Учились вместе с сестренкой. После уроков бежал в драматический кружок. Я так полюбил рабоче-крестьянский театр, что не пропускал ни одного спектакля. Меня даже на сцену выпускали, играл в массовках. Окончил школу.

Попал в Киев, хотелось артистом стать. В студии при театре Ивана Франко занимался. Со знаменитыми в ту пору актерами на сцену выходил, ставили «Богдана Хмельницкого». Мне настойчиво советовали в консерваторию поступать.

В декабре тридцать девятого стал артиллеристом. Призвали в армию. В 111-м гаубичном артиллерийском полку войну встретил на границе с Ираном. С фашистами принял боевое крещение только через год — в сорок втором на Донце. Нашу часть разбили. Из окружения выходили группами. В Острогжеске собрались, начали готовиться к боям...

Мне хотелось подробнее записать рассказ Владимира Максимовича о росошанских событиях в его жизни. Но застолье неизбежно уводило разговоры в сторону. Да и мой собеседник уже спешил на поезд. Попросил его дома восстановить в памяти как можно обстоятельнее те дни, месяцы, прожитые в ставшей родной семье. Даже вручил ему «вопросник». В последний свой приезд Шматко принес мне кассеты. «Не спится ночами. Кладу перед собой ваш листок, включаю магнитофон, и вроде как беседуем...»

«Второго июля я получил приказ — доставить пакет в штаб Юго-Западного фронта. В полдень третьего попадаю в Россось, а штаб уже эвакуирован. Правда, пакет я вручил задержавшемуся офицеру.

Пошел на вокзал. Решил по железной дороге через Лиски добираться в свою часть. Выехать удалось пятого июля. Немецкие самолеты всю дорогу допекают. Команда «Воздух!» Разбегаемся в поле. Ночью остановились на станции Пухово. Железнодорожники-рабочие сообщили: Острогожск горит, а возле Лисок немцы дорогу перехватили. Пришлось возвращаться в Россошь.

Людей в вагонах битком набито. Еле устроился в открытом тамбуре. Едем, как на волах — ползем черепахой. Фонари не включены, светомаскировка. Как там машинист паровоза в глухой темноте путь видит, не знаю. Резко притормозил — я не удержался, висок о железную стойку рассек.

Дорога сплошь забита эшелонами. Долго стоим. Шестого июля, часа в четыре дня, только двинулись со станции в Подгоренском. Цементный завод не минули, опять налет. Ехать бы быстрее, а машинист остановил состав. Вой бомбы заставил упасть нас на землю. Показалось, что пламя вспыхнуло прямо передо мной, землей засыпало. Жив — цел. Всклакиваю, оглядываюсь — прямое попадание в вагон. Кто на ногах — бежит подальше, в степь. Не представляю, как перескочил через высокую сетку-забор возле цементного завода. Оказались в поле. Люди мутшатся-мечутся. Гражданские, военные.

А самолеты летят и летят.

Дождались темноты. По высокой пшенице вдоль полотна правимся в Россошь. Впереди зарево в полнеба. Попутчики из местных сказали: птицефабрика горит.

В дороге познакомился с девушкой Аней Сухомлиновой. Она училась в медицинском институте в Воронеже, добиралась домой. Я спрашиваю, как мне к Дону выйти. Аня успокоила: «По нашей улице дорога самая прямая, покажу».

Очень устали. Светать стало, когда добрались к вокзалу в Россошь. Солнце вставало красное — никогда такого не видел. Страшный красный круг. Так начиналось седьмое июля.

Мы с Аней не переходили через рельсы к вокзалу, направились к ней домой, как она объяснила — в сторону Дона, на восток. Улица пустынна. Песок. Мелом побелены хаты. Огорожены плетнем из лозы. Под окнами мальвы. Подсолнухи зацветают в огородах. Как у нас на Полтавщине.

Дома у Ани никого не было. Но она знала, где спрятаны ключи. Открыла хату и взялась по быстрому спроворить завтрак. Тут — грохот за окном. Я выскочил на улицу. Думал, наша бронемашина, хоть разузнаю обстановку. Но — пулеметчик дал, как теперь понимаю, вдоль улицы бесприцельную очередь. Меня, как кнутом, стегануло в бок — и рука повисла. Немцы!

* * *

Да, в Россошь буквально ворвались фашисты. С их стороны это был рискованный марш-бросок. Еще вечером шестого июля передовые части 40-го танкового корпуса вместе с 1-м батальоном 3-го стрелкового полка 3-й танковой дивизии стояли в километрах восьмидесяти от Россоши. Не хватало горючего. А по немецкому радио прозвучала весть о взятии Воронежа. Как оказалось впоследствии — поторопились отрапортовать. Фашисты не на дни, а на месяцы увязли в уличных боях, так и не овладев ключевым пунктом пересечения железнодорожных, автомобильных и речных путей от Москвы на юг, к Каспийскому и Черному морям. Но тогда, окрыленный удачным началом операции «Блау», майор Вельман «решил положиться на волю судьбы и силами двух танковых рот, одной из батарей 75-го артиллерийского полка продолжил наступление».

Майору запомнилось, как под усыпанным звездами небом незамеченными пробрались мимо русских частей. Столкновений с противником старались избегать по причине острой нехватки боеприпасов и горючего. В три утра с Острогожского

тракта увидели первые хатки Россоши. Немцы спешили взять в свои руки мосты через речки. Им удалось прошестьвать «по сонному и ничего не подозревавшему» городку. Часовые тоже «ничего подозрительного и тем более враждебного в поднимавшей пыль колонне не усмотрели».

Без выстрела были захвачены мосты. Только тогда начался почти пятичасовой ожесточенный бой хоть и с захваченными врасплох, разрозненными, однако достаточно сильными танковой и стрелковой частями. Фельдфебелю Науману показалось, что он со своими солдатами смог пленить «два с лишним десятка штабных офицеров, а сам маршал Тимошенко в последнюю минуту сумел выбраться из города». Фельдфебель преувеличил свои подвиги. Никакого важного штаба, тем более, во главе с маршалом, в Россоши уже не было. Зато майор Вельман и его ротные командиры Бремер и Буш утверждали, что «русские оборонялись с невиданным» упорством. Не подоспей на выручку основные силы 3-й танковой дивизии, для немцев «дело могло окончиться весьма плачевно».

Здесь старожилам памятно: храбро сражались наши танкисты. Не только отстреливались, а таранили и давили на улицах городка вражеские автомашины с пушками на прицепе. Горько, но силы-то были неравные. Воины погибали, смертью смерть поправ. Это отчаянное сопротивление лишь отдельных отступающих советских частей срывало фашистам их планы. Ведь они рассчитывали одновременно двумя встречными ударами — с севера от Воронежа и с юга от Ростова — в донской излучине взять в «клещи», сломить хребет Красной Армии. В руках врага оказались бы хлебные и нефтяные «житницы» России. Страну помышляли свалить без взятия Москвы и Ленинграда. В случае удачи все остальное стало бы «делом техники».

В такой обстановке судьбу отечества решала даже кратковременная задержка противника, на ту самую минуту, которая дороже золота. Кстати, южнее Россоши у сел Екатеринбургки и Лизинówki, у Поддубного и Кривоносоро немцев основательно «приторозили» вначале 23-й танковый корпус полковника Хасина, а затем бойцы 9-й гвардейской стрелковой дивизии Белобородова. Фашисты вязли в «заслонах», организованных и стихийных, «разбирались» с боевой частью или отдельным воином. А наши армии, сохраняя живую силу, уходили из нависавшего в знойном мареве вроде неотвратимого «котла». Шли горчливой полынной степью, чтобы воскреснуть на Волге. Там развернется решающее сражение Великой Отечественной и Второй мировой. «Новая тактика русских, конечно, больше способствовала сохранению их сил, чем попытка оборонять словно специально созданную для танков обширную открытую местность», — признает участник Восточного похода Курт Типпельскирх после войны. А тогда, в июле сорок второго, гитлеровцы не скрывали своей радости.

«Сопротивление Советов сломали. Берлинская дивизия генерал-майора Брейта взятием Россоши отвоевала решающее очко на пути вдоль Дона» к желанному Сталинграду.

* * *

Вот тут-то оказался боец Шматко на передовой — один в поле воин.

«Боли не чувствую. Заскочил в дом. Ане кричу: «Ложись на пол!» Пули с блесками прошивають стены. Светится решетом хата. Во дворе взорвалась граната. Я поднялся и пошел к двери. Наверное, понял, что сожгут в доме вместе с девчонкой. В ушах звенит крик Ани: «Не выходи!»

Во дворе меня в кольцо взяли солдаты в касках, автоматы наперевес. Подошел офицер в фуражке, пистолетом грозит. Деркочут что-то, переговариваются по-своему. Тычут пальцами, смеются нагло. Вид-то у меня, действительно, не бра-

вый — в пыли, в крови. Кричу: «Стреляйте, сволочи!» А в глазах темнеет от боли в руке. Со зла плюнул офицеру прямо в морду его фашистскую. А он выстрелил. Лицо мне огнем опалило. Падал, вроде в темноту провалился.

Счастье мое: в упор немец целил и промахнулся, лежащего добивать не стали, посчитали мертвым.

Очнулся, хлопчики теребят. С их помощью поднялся, перебрался на соседнюю улицу. В сарай меня затащили. Глечик молока принесли, чуть хлебнул и — снова сознание потерял. Петя Дутов, я с ним после познакомился, сбегал за своей хорошей знакомой Полей Протопоповой, она в медучилище училась. Поля пришла с бутылкой марганцовки. Обмыла раны. Нательную рубаху на бинты порвала, перевязала. Еще помню, крынку молока допил.

«Дяденька, дяденька, не больно», — успокаивает. Какой там из меня дяденька — двадцать четвертый год.

Не помню, как попал к Протопоповым. Они и вытащили меня с того света. Рискуя собой. Мир не без добрых людей. Врачу Никитиной спасибо. Аня Сухомлинова в гости после приходила. Ее, оказывается, тогда тоже ранили. Потому не смогла мне сразу помочь. Говорила: «Как бы за Дон к нашим тебя переправить?» Старосту Григория Андреевича Звягинцева тепло вспоминаю, немецкий паспорт — «аусвайс» — мне выхлопотал. Его сменил другой полицай. Он грозил арестом.

Поля-Поленька, сестричка родимая, недавно напомнила мне, как я старательно нацарапал на стене у кровати, где лежал, незаметную для других надпись «Протопопов». Боялся, вдруг при внезапных проверках и допросах забуду свою новую фамилию.

Боже, как представляю, сколько выдержки и терпения надо было иметь совсем молоденькой девчонке. Лечение не для слабонервных. Раны гноятся. Повязки присыхают. Менять их больно. Стараюсь сдерживаться, не стонать. У Поли и без того руки дрожат. Жалеет, а я говорю: делай свое. Зубы стисну, как не раскрошатся.

Ей ведь вскоре пригодится неожиданная и добровольная медицинская практика по уходу за мной. Это оказались еще цветочки. Когда в январе сорок третьего наши освободят Россось, в учебных корпусах техникума и педучилища расквартируют военный госпиталь. Потребуются женские рабочие руки. Поля, не задумываясь, пойдет туда, как будущий фельдшер.

Война открылась ей жуткой стороной. Посейчас не позабыла, как ее сразу отправили в операционную. Стояла возле хирурга на подхвате. Взялась относить только отрезанную, еще не потерявшую человеческое тепло ногу и — потеряла сознание, грохнулась на пол. Все приходилось делать. Принимала раненых. Солдат и офицеров привозили из полевых лазаретов, где им наспех оказывали первую помощь.

Я после сам лежал в госпитале. Хорошо представляю эту картину. Крики, стоны, ругань. А медсестричке надо держаться. Надо улыбаться, хоть и сквозь слезы. Глядя на нее, кто-то застесняется, притихнет. Иной настырно требует доктора. Рядом умоляют дать обезболивающее лекарство. Медсестра же должна быстро разобраться с каждым, отправить в палату по назначению или прямо к врачу. Минуты порой решали: жить ли человеку.

Ухаживала Поля за «грудниками», теми, кто получил ранение в грудь, чаще тяжелое. Тут тоже ни присесть, ни передохнуть. Уколы, раздача лекарств, перевязки. Бинтов, как всегда, вечно не хватает. Стирай старые, пропаривай их утюгом. Постель недужному поправить непросто. Попробуй приподнять тяжеленного мужика, когда он даже при легком движении корчится от боли.

Завыла сирена. Сигнал воздушной тревоги. Госпиталь в небольшом городке — приметная цель для вражеского летчика. Спасение в бомбоубежище. Лежачих в

палате не кинешь. Хватайся, девочка, за носилки. Поспешай не спеша, чтобы до разрыва бомб успели всех вынести в подвал и как можно бережнее, не причиняя страданий.

Полина мне рассказывала, что медицинского персонала не хватало. В госпитале находились сутками. Старшая медсестра видит, что сестрички на ходу засыпают, пожалеет: прилягте хоть на часок. Тряпье на пол — и падают в изнеможенье.

Где только силы брались, чтобы вынести все эти нечеловеческие муки. Низкий поклон вам, наши спасительницы.

К зиме я уже на ноги встал. Воин из меня еще никудышный, рука не работала. К нашим через линию фронта не переберусь, а вот домой на Украину к родным доехать уже смогу. Протопоповы меня отговаривали. Но я ведь понимал, добром мое житье здесь для них и для меня может не кончиться. Настоял на своем. Отец дал свою телогрейку. Звягинцев принес свитер. В начале декабря покинул спасительный кров. Пешком добрался до Харькова. Дальше — в товарном поезде. И среди врагов были люди. Немцы взяли в вагон и даже к печке усадили погреться. Доехал в Прилуки к родным. Встретила мама Ефросинья Терентьевна. Узнал, что отец в эвакуации на Урале. После войны Максим Иванович, дорогой мой человек, рассказывал, что сутками не выходил из цеха, на танковом заводе работал.

А осенью, как нас освободили, прямо в гражданской одежде с 18 сентября 1943 года уже был в боевом строю — второй взвод, вторая рота, 1318-й стрелковый полк, 163-я стрелковая дивизия. На Днепре воевал на Лютежском плацдарме. Освободителем прошел по родному Киеву. В бою контузило. Из медсанчасти вновь попал в артиллеристы, в свой родной 111-й гвардейский гаубичный Белоцерковский ордена Ленина полк РГК (Резерва Главкомандования). Воевал в Польше, в Германии. Тяжело заболел и день Победы встречал в госпитале.

Демобилизовался инвалидом...

* * *

«И на груди его светилась...» не одна медаль. Две «За отвагу», ордена Красной Звезды, Отечественной войны.

* * *

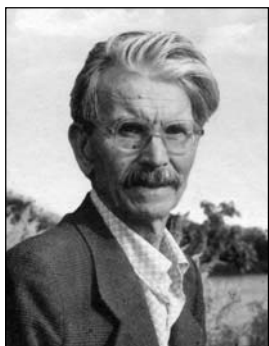
Родственные связи семьи Шматко и Протопоповых хранят и поныне. Переписываются, гостят друг у друга.

Владимир Максимович недавно вновь навещил Россошь. За столом его принимала молодая «поросль». Окончили путь земной родители. Полину Семеновну, по мужу — Буткову, проведаль в Липецкой области. Постаревшую, ее к себе забрал сын.

— Встреча была не без слез, — говорит Владимир Максимович. — Не потому, что жизнь уходит. Жалеем о том, что оставляем детям, внукам, правнукам. Раскололи Украину с Россией. Втягивают народы в распри. Вроде неродные мы, братья и сестры...

— Сейчас всяк по-своему толкует о нашем прошлом, — говорит Владимир Максимович. — Освобождение Львова вот уже не отмечаем. Да и день Победы кому-то очень хочется не считать праздником. Дожил — таможни, пограничника увидел на меже Украины с Россией. Дружбы народов, оказывается, вовсе не было. Выдумка все. А как же моя судьба?..

Что ответить солдату?..



Михаил Федорович Тимошечкин родился в 1925 году в селе Васильевка Воронежской области. Участник Великой Отечественной войны. Почетный гражданин Росоши. Стихи публиковались в российских журналах, антологиях. Автор документальной повести о Герое Советского Союза, войсковом разведчике М.И. Крымове «Вслед за солнцем», поэтических сборников «Бой», «Свидетели живые», «Печаль и благодать». Член Союза писателей России. Живет в городе Росошь.

Михаил Тимошечкин

ФРОНТОВЫЕ БУДНИ РАЗВЕДЧИКА КРЫМОВА

В Росоши с 1962-го по 1971 год жил и работал Герой Советского Союза Михаил Иванович Крымов, сначала в должности парторга обкома КПСС при росошанском производственном сельскохозяйственном управлении, а затем первым секретарем райкома партии. Михаил Иванович оставил о себе у росошанцев добрую память.

Автору предлагаемого очерка, работавшему в 60-е годы собственным корреспондентом областной газеты «Коммуна», довелось лично знать Михаила Ивановича, видеть его непосредственно в живом деле, в общении с людьми, много беседовать с ним, а иногда даже и спорить. Прямой и решительный, Крымов как руководитель был доступен любому простому человеку. В его рабочий кабинет свободно заходили за советом или для решения какого-либо вопроса. В дождь и слякоть, в жару и холод первого секретаря видели у себя на полевых станках и фермах механизаторы и животноводы. И всегда его главной заботой было помогать словом и делом труженикам полей и ферм, промышленных предприятий и организаций, добиваться лучших результатов в работе на благо всего народа и государства. Росошанский район в эти годы оставался одним из передовых районов Воронежской области. Немалая заслу-

га в этом и Михаила Ивановича Крымова. Его уважали, считали надежным человеком, с ним, как говорится, и в разведку можно идти. Такая оценка личных качеств Крымова как нельзя лучше к нему подходила, ведь он в действительности во время войны был войсковым разведчиком.

* * *

С лета 1941 года Михаил Крымов, уроженец воронежского села Семилуки, воевал на Смоленщине в составе учебного батальона связи одной из дивизий Западного фронта. Осенью его дивизия попала в окружение. Не одну сотню верст пришлось пройти ему по оккупированной врагом территории, прежде чем выйти под Ливнами в расположение советских войск. Представитель штаба 132-й стрелковой дивизии, получая в Липецке пополнение из запасного полка и узнав, что красноармеец Крымов из-под самой Вязьмы выбрался к своим из окружения с винтовкой и комсомольским билетом в кармане гимнастерки, сказал:

— Так ты, товарищ, готовый разведчик уже!

3 декабря 1941 года Михаил был зачислен в 190-ю отдельную разведывательную роту 132-й стрелковой дивизии 13-й армии. Так начался фронтовой путь войскового разведчика Михаила Крымова. Путь, полный ежедневной ответственной и напряженной работы, от результатов которой зависел успех боевых действий частей и подразделений дивизии.

Попал Крымов в разведывательную роту в знаменательные дни: 6 декабря началась Елецкая наступательная операция. 132-я стрелковая дивизия двинулась на запад, от Ельца к Ливнам. У Михаила, как и у его сослуживцев, было радостное, приподнятое настроение.

Под новый год за Ливнами, к юго-востоку от Орла, дивизия остановилась и перешла к обороне. Фронт стал. Разведчики обязаны были знать, что происходит в расположении вражеских частей.

Пришла весна. Снег потемнел, осел, сделался ноздреватым, рыхлым. Снеговые траншеи обрушивались. К гитлеровцам поступали подкрепления. На участке дивизии они усиленно укрепляли линию обороны.

Наступил май. Земля покрылась густой травой. Опушка Сетеневого бора зеленела плотной листвой. Здесь кончался восточный пояс Брянских лесов. В глубине лесного массива темнели шершавые стволы дубов, угловатые ветви которых едва обзеленило реденькой сеткой еще малюсеньких, позже других развернувшихся листочков. Фронт за Ливнами глубоко зарылся в землю. Передний край четко обозначился ломаными линиями траншей. Немцы перед своими позициями соорудили заграждения, поставили сбитые козлами колья, спутали их изнутри и снаружи колючей проволокой.

Утром 28 июня 1942 года немецко-фашистские войска начали новое летнее наступление. В полосе Брянского фронта на участке от Сетенева (западнее Ливны) до Рождественского (западнее Тим) гитлеровцы сосредоточили крупные силы, объединенные в армейскую группу «Вейхс». Главный удар противник наносил в направлении Воронежа на стыке 13-й и 40-й армий. На северном фланге их ударной группировки против войск 13-й армии наступали несколько немецких пехотных дивизий и части I-й бригады СС.

Немцы рвались к Ливнам, стремились выйти на тылы 13-й армии. Двенадцать дней советские войска отражали натиск врага, а к 10 июля наступление неприятеля в направлении Ливны — Елец прекратилось.

Разведrote поставили задачу не давать немцам покоя, дерзкими действиями добывать данные о противнике, уничтожать фашистов на их позициях. В ночь с 13 на 14 июля штаб дивизии запланировал произвести налет на крупный немец-

кий блиндаж на высоте 211,1 в районе села Калиновка. Боевая группа во главе с командиром роты старшим политруком Сальниковым и заместителем командира роты лейтенантом Михайловым ушла на исходный рубеж, в Калиновку, еще до наступления сумерек. А через полчаса в роту, в хуторок, прибежал посыльный.

— Командира роты убило! Михайлов и еще пять бойцов ранены.

Крымов не мог даже себе представить, что его любимого командира скоро уже не будет в живых. Он приказал ездовым снарядить две подводы за ранеными, сам вскочил на лошадь и галопом поскакал в Калиновку. Михайлов был еще жив. Увидев Крымова, сказал ему:

— Артналетом накрыл немец. Минами. Деревня у него пристреляна. Побереги ребят.

Среди разведчиков Михаил как замполитрука роты в первом взводе остался единственным старшим по должности, и руководить операцией теперь предстояло ему.

14 июля штаб 132-й стрелковой дивизии донес штабу армии о гибели командира роты Сальникова и о результатах ночной разведки. В донесении говорилось:

«Группа под руководством зам. политрука Крымова, продолжая выполнять поставленную задачу, произвела налет на высоту 211,1. Бой длился до 2.00, в результате которого противник был вынужден оставить высоту и стал отходить, преследуемый разведгруппой, на Шетинку и Ключники. В районе обороны противника разведгруппой захвачено: один запасной ствол рп, 3 магазина к рп с патронами 300 шт., две плащ-палатки, 2 противогаса. Группа потерь не имеет. Потери противника — 8 убитых...».

На другой день после налета на высоту в районе Калиновки Крымова вызвал заместитель начальника разведотдела штаба дивизии Шнитман, чернявый, невысокого роста старший лейтенант с живыми, чуть навывкате, глазами.

— Нам поручено проверить, — сказал он, — есть ли на участке Внуково — Татарино части бригады СС. Роте ставится задача проникнуть в расположение противника на глубину не меньше двадцати километров. Мы считаем, что лучше вас эту задачу никто не выполнит. Подберите еще двух добровольцев. Втроем пройдете в немецкий тыл до деревни Зорница — это южнее районного центра Дросково. Расспросите у местных жителей, где находятся эсэсовцы. Личным наблюдением уточните начертание переднего края обороны противника на участке лес «Сетенев» — село Внуково, а в глубине обороны посмотрите, нет ли бронечастей, не подтягиваются ли танки. Всей группой дойти до деревни Землянухино, там, по данным авиаразведки, немцев нет. Передохнете — и можете возвращаться. Передвигаться только ночью, днем надежно маскироваться.

Крымов воспринял задание как большое доверие. С собой в разведку взял сер-



Герой Советского Союза
Михаил Иванович Крымов

жантов Сычева и Фидия. Александр Сычев к этому времени стал всеобщим любимцем в роте. Иван Фидий был призван в армию недавно, но тоже показал себя отважным воином. На руке у него поблескивали новенькие часы — награда за храбрость, проявленную в разгроме выдвинувшейся в нашу сторону разведывательной группы противника.

К выходу на задание готовились тщательно. Несколько дней изучали карту, запоминали все, что было обозначено на ней в полосе пятнадцати километров по фронту и двадцати в глубину, — населенные пункты, лес, речки, дороги. Каждый день приходил Шнитман и принимал экзамен. Отвечали с закрытыми глазами. «Так лучше работает воображение», — говорил Сычев. Крымов по памяти начертил карту обширного района южнее Дросково.

Наконец подготовка закончена, и Шнитман под вечер повел всех троих в хутор Волоотовский. Здесь, в одной из изб, разведчиков встретил пожилой мужчина в крестьянской рубахе, низко подпоясанной узеньким ремешком. У топившейся печи хлопотала белокурая высокая девушка, пекла блины. Она повернулась к разведчикам разгоряченным от жара лицом, поправила на голове белый, туго повязанный платок и, немного смущаясь, сказала мягким, по-домашнему приветливым голосом:

— Садитесь за стол, товарищи.

Пока разведчики с удовольствием ели вкусные горячие блины, мужчина и девушка рассказывали им о селах и деревнях, находящихся по ту сторону фронта, — о Зорнице, Ефремове, Погоневе, Васютине, Морозове, Внукове, о том, какие тут были колхозы, как жили, чем занимались до войны их жители. Девушка, как выяснилось из разговора, работала в районе секретарем райкома комсомола и знала тут чуть ли не каждую тропинку. Кто был мужчина, тоже отлично осведомленный о жизни окрестных сел, Крымов спрашивать не стал: посчитал неудобным, но по всему чувствовалось, что беседует с ними партийный или советский работник.

Шнитман сопровождал разведчиков до переднего края. Еще раз напомнил, с какой целью они идут в опасный путь: перепроверить наличие перед фронтом дивизии первой бригады «СС», посмотреть, нет ли в глубине обороны противника бронечастей, не подтягиваются ли танки, запомнить, где и какие есть заграждения на переднем крае, траншеи. В бой не вступать!

Надели на себя летние маскхалаты, взяли с собой по пистолету ТТ с двумя обоймами, по две гранаты Ф-1, по пачке галет, по две плитки шоколада. В мешочек насыпали килограмма два соли — самого ценного в то время продукта в прифронтовой полосе.

К юго-востоку от районного центра Дросково немецкий передний край проходил в полутора километрах от нашей обороны.

Ночь стояла лунная, светлая. По земле стлался тусклый прозрачный налет холодноватой сизой белизны. Перед хутором широкой полосой простиралось поле, густо заросшее сорняками. Днем оно слегка бугрилось вдали, билось о край неба мягкими затравеневшими перекатами, а сейчас казалось почти совсем ровным. При лунном свете горизонт как бы приближался и все-таки различался с трудом. Расстояния смещались, скрадывались.

В траншее попрощались со Шнитманом, друг за другом поползли к немецкой проволоке. У всех только одна мысль: доползти, остаться незамеченными. А когда наконец приблизились к заграждению, накопившееся напряжение сменилось неуверенностью: ползти дальше не было никакого желания. И они вернулись. Попросили у Шнитмана разрешение повторить выход назавтра.

В следующую ночь благополучно преодолели поле, заросшее сорняками, у самой проволоки прислушались: из немецкой траншеи доносились разговоры.

И опять робость взяла. Снова вернулись. Шнитман на этот раз выразил неудовольствие. Да и у разведчиков досадно было на душе. Испытывая неловкость за случившееся, сами себе сказали: в третий раз пройти во что бы то ни стало.

Днем еще раз просмотрели подходы к немецкой обороне, решили чуть изменить маршрут движения. Проволоку резать не стали, чтобы не насторожить врага. Подлазили под нее, помогая друг другу: один полз, другой оттягивал проволоку кверху. Метров через десять встретили еще заграждение. По одному протиснулись под нижнюю нитку у самого кола.

Впереди — вражеская траншея. До нее оставалось несколько шагов, как вдруг закашлял немец. Разведчики припали к земле. Минут двадцать лежали без движения. Немец успокоился. Разведчики потихоньку вернулись к проволоке, отползли в сторону. В другом месте подобрались к траншее, лежали минут пятнадцать — ничто не нарушало тишины теплой июльской ночи. Чтобы было надежнее, договорились рассредоточиться. Первыми продвигаются Крымов и Фидий, а Сычев чуть позже. В случае какой неудачи он постарается отвлечь внимание немцев на себя.

Перебрались через траншею благополучно. Через полсотню шагов — еще одна. Крымов отметил про себя, что траншеи связаны ходом сообщения: в стороне, левее, чуть возвышалась над полем освещенная луной земляная насыпь.

Шаг за шагом продвигались разведчики по земле, занятой врагом. Ползли, оглядываясь на белоснежную луну. Облачко закроет ее, Крымов дает знак — вперед. Минута-другая, облако уплыло, и опять замирали, срастались с травой. Еще ход сообщения. Подальше, за бруствером, — еле различимая труба. Миномет! Еще один. И опять — плечом вперед, щекой к земле — жесткой, комковатой, неподатливой...

Впереди впадиной темнела балка. Спустились в нее, немного передохнули. И снова в путь: до рассвета нужно как можно дальше отойти от переднего края. Балка мало интересова — важные высоты.

Вдруг Крымов присел на корточки, сделал предостерегающий жест: около его ног лежала величиной в большую сковороду чуть выпученная у центра противотанковая мина. По бокам у мины две скобочки. В трех метрах от нее такой же, чуть отсвечивающий под луной металлический кругляк. За ним — еще, еще. Тусклые металлические отблески всюду. Немецкие саперы были аккуратными — они разложили мины строго в шахматном порядке, на одинаковом расстоянии друг от друга. Самые опасные места — между минами, в проходах. Тут гитлеровцы могли поставить и противотанковые «сюрпризы».

Крымов внимательно осматривал поле и напряженно думал, что делать. Взрыв мины взбудоражит врага, и тогда разведчикам не уйти, если даже кто уцелеет от взрыва. Вернуться назад, попытаться обойти минное поле, а кто знает, какое оно, сколько обход займет времени — июльские ночи коротки. Осторожно переступая по траве, разведчики пошли вперед и, к счастью, благополучно преодолели минное поле — оно оказалось нешироким, не более тридцати метров.

Потянуло прохладой, запахло речной сыростью. Местность пошла под уклон — впереди темнела неширокая полоска речки. Справа вырисовывались еле заметные очертания строений: деревня Васютино. Значит, маршрут выдерживается правильно. Речку перешли вброд — она оказалась совсем мелкой, за речкой — ржаное поле. Пригнувшись, поспешили к нему. Расправляя за собой притоптанные стебли ржи, углубились в массив. Здесь и решили, как было условлено заранее, переждать до следующей ночи.

Взошло солнце. Потянул утренний ветерок. Рожь зашумела колосьями. И только тут впервые за всю дорогу Крымов по-настоящему осознал, насколько опасно их положение: ползли, наверное, оставили след, да и из деревни, хоть темно еще

было, могли заметить. Лишь величайшая выдержка, дисциплина, бдительность помогут им уцелеть и выполнить задание. Да, сколько раз убеждался Крымов, как важны на войне эти качества. Ветерок чуть колыхнул еще не совсем пожелтевшие, но уже полные, налившиеся зерном колосья. Разведчики напряглись в ожидании, встали на мокрые от росы колени. Высоко в небе прерывисто зазвенел жаворонок — один-единственный, несмелый какой-то...

Напряжение первых минут стало смягчаться. Крымов установил распорядок дня: один бодрствует, двое отдыхают. Первым на вахту встал сам. Из деревни стали доноситься дневные шумы. Если прислушаться, можно услышать даже разговор и разобрать слова. В десятом часу метрах в полуторастах по проселочной дороге прогромыхали подводы. Крымов на слух определил — четыре. Потом проехала грузовая машина. Гнетущей тишины уже не было, и это вернуло ему чувство уверенности. Одно беспокоило — заснувший Сычев слишком безмятежно и аппетитно храпел: за версту слышно.

— Саша, не храпи, — просил его Крымов.

Сычев просыпался, переворачивался на другой бок, а через минуту во ржи снова раздавался его богатырский храп. Не умел Сычев отдыхать тихо, и это было, пожалуй, единственным недостатком отважного разведчика.

Солнце взбиралось под самый купол неба, и во ржи становилось все жарче и жарче. Фидий то и дело вытирал покрасневшее от пота лицо пилоткой. Хотелось встать во весь рост, подставить грудь полевому ветерку.

На юго-востоке падающей кровельной жестью стали погромыхивать далекие взрывы. Перед вечером за речкой, напротив села, появились немецкие солдаты. Они ходили по полю, что-то размечали. В руках у них лопаты: одни что-то копали, другие срезали дерн. Подъехала подвода. Крымов обвязал пучком ржи голову, приподнялся, поднес к глазам бинокль. Он отчетливо увидел: солдаты брали с повозки выпуклые диски, осторожно раскладывали по земле и прикрывали дерном.

— Минируют подходы к речке, — сказал он товарищам.

Еще раз посмотрел в бинокль. Сомнений не было. Потом немцы уехали в село и больше в поле не появлялись.

В сумерках перекусили, встали, оглянулись и гуськом пошли на Зорницу. Шли напрямик — непаханым в этом году и незасеянным полем. В небе, как и вчера, надраенном пятаком повисла круглая луна, к счастью, то и дело закрываемая облаками. Все же через каждые сто шагов приходилось останавливаться, прислушиваться, остерегаясь малейшего шороха. Уже стало светать, когда разведчики вышли к ложине, поросшей густым орешником. На опушке сквозь кусты увидели огородные прясла, за ними темными полосками кустился картофель. Прилегли в бороздах. Донесся запах хлева. Тихо заржала лошадь. Кто-то произнес несколько слов на немецком языке. Стало ясно — в селе часть. Скорее с огорода — заросли орешника, в низину. Залезли под развесистый куст.

«Фашисты не заметят, спят, но если у них овчарки...», — не успел Крымов подумать так, как вблизи показалась собака, встала у куста, высунула язык.

Крымов оцепенел.

— Примем бой, живыми не дадимся, — сказал он решительно. — Последний патрон себе.

Сычев ответил с улыбкой:

— Рано умирать. Проверим, что за овчарка.

Он выломал хворостину и шагнул вперед. Собака поджала хвост, убежала.

— Она же нестроевая, шалава бездомная! — обернулся он к товарищам.

Крымову даже неловко стало за поспешный призыв живыми не даваться. Их пока никто не думал преследовать.

Потихоньку перебрались на другое место, вылезли восточнее орешника на косяк. Прошлым летом тут, видимо, сеяли горох. Среди высокого бурьяна зелене-ли гороховые плети, узинанные стручками — от гороховой падалицы. Лежать на спутавшихся гороховых плетях, что на мягкой постели. А главное — отсюда, с возвышения, хорошо видны ближний луг, дорога, ведшая на северо-восток, к Васютину. И снова день ясный, безветренный. В девятом часу на лугу появились подводы с немецкими солдатами. Потом два гитлеровца с автоматами на голых шеях пригнали человек пятнадцать женщин. В руках у них вилы и грабли. Голо-вы почти у всех покрыты черными платочками. На телегах стали возить сено к стогам.

В полдень всего в сотне метров от притаившихся в бурьяне разведчиков про-ехал на телеге солдат, в черной куртке, без головного убора, с курчавой шевелю-рой, уже немолодой. Сычев загорелся:

— Разрешите, истреблю!

Крымов остановил его властным жестом и сердито прошептал:

— Думать надо, что собираешься делать.

Полуденная жара волнами плыла над полем. Клонило в сон. Вдруг неподалеку от дороги показались два паренька — оба в неподпоясанных рубашках, с сумочка-ми в руках. Они шли прямо на разведчиков. Как только ребята приблизились, Крымов скомандовал им:

— Ложись!

Ребята перепугались — им было лет по двенадцать, не больше, — легли.

Крымов подполз к ним и успокоил:

— Не бойтесь, хлопцы, мы свои, красноармейцы. Что вы тут делаете?

— Ходим, горох собираем.

В ребячьих сумках — гороховые стручки. Мальчишки оказались из Васютина. Они рассказали, что фашисты грабят жителей, есть нечего, продукты отбирают. С огородов все позабрали. Огурцы, едва успели завязаться, с ботвой потаскали. В деревне почти в каждой избе солдаты. Видели четырех офицеров. Раньше тут были эсэсовцы, но дней пять назад ушли. Куда — не знают. А танков нет. И пу-шек в селе нет.

«Так, четыре офицера, — значит, одна рота», — прикинул в уме Крымов.

— А в роще, в эту сторону от Морозова, там орудия есть, туда никого не под-пускают, — сказал старший из ребят и показал рукой на восток.

Дали ребятишкам плитку шоколада и строго-настрого приказали: никому, даже матери не говорить, что видели красноармейцев, только через пять дней можно рассказать. Ребята обещали соблюдать тайну.

На всякий случай разведчики решили переменить свое местонахождение, пе-реползли снова в балку с орешником. Не прошло и полчаса, видят: и сюда двое ребятишек пробираются. Эти совсем малыши, лет семи-восьми. Ходят, ветки су-хие подбирают, лезут прямо под куст. Увидев спрятавшихся людей, тот, кто по-старше, бросился бежать, а какой поменьше — вдогонку ему:

— Не бежи, Ленька, — это наши!

Большой вернулся, а младший обрадованно заявил:

— Дяди, я сейчас маме скажу...

И только голые пятки засверкали по орешнику — не успели даже крикнуть ему.

В целях предосторожности разведчикам пришлось перейти на противополож-ный склон балки и искать новое укрытие. Вскоре увидели: малыш ведет за руку женщину, наверное, мать, прямо туда, где только что они лежали. Подвел — ни-кого нет. Озадаченные, мать с сынишкой начали обшаривать кусты. Их окликну-ли, подозвали к себе. Женщина, увидев людей в красноармейской форме, распла-

калась. Успокоили ее, попросили рассказать, что за часть в селе. Женщина сообщила, что немцы приехали недавно, несколько дней назад, почти все пожилые. Убирали сено, до покоса их не было. Пушек нет, подвод штук восемь — десять. Попрощались с женщиной и ребятишками, попросили ни с кем не делиться об увиденном. Пацаны с готовностью забрали гостинцы: мешочек с солью, пару галет...

Прошли еще день и еще ночь. Разведчики забрались в тыл противника километров на двадцать. Собрали немало сведений. Следовало возвращаться назад. Где-то там, у Воронежа, и дальше к югу, на среднем и нижнем Дону, ни днем, ни ночью не прекращались ожесточенные бои, и над степными дорогами, измолотыми чужими колесами и гусеницами, висела горячая пыль. Фашисты рвались к Сталинграду и Кавказу. А здесь, юго-восточнее Орла, тихо. Разведчики не встретили на своем пути ни второго эшелона противника, ни передвигавшихся подразделений. Убирают сено. Видимо, нестроевые команды. Даже шума моторов не слышно. Не спеша разъезжают на телегах. А может, притаились немцы? Решили обратно идти другим маршрутом. Фидий внес предложение — сначала отойти от Зорницы километра на полтора южнее, а потом повернуть на северо-восток. Крымов согласился. Шли смело, знали, что второго эшелона в глубине вражеской обороны нет. За одну ночь преодолели расстояние, пройденное в другую сторону за две ночи. На середине пути, где поле перерезала речка, еще раз отклонились вправо. Подползли к урочищу, про которое говорили подростки. На опушке рощи матово поблескивал под луной ствол орудия, прохаживал часовой. Батарея! Ребята оказались правы. Отползли назад почти до самой речки, повернули влево.

Наконец дошли до балки, где позапрошлой ночью отлеживались, пройдя передний край. Начинаясь самая опасная полоса. Надо было опять ползти по-пластунски. На локтях и на коленках, кажется, все до костей протерто: ссадины, нажитые два дня назад, успели подсохнуть, и теперь нежные корочки сдирались с нестерпимой болью. Так, стиснув зубы, преодолели около ста метров. А отдыхать некогда: вот-вот начнет белеть восток.

Сычев не выдержал — запротестовал:

— Айда — в рост.

Крымов уговаривал его по-дружески:

— Саша, потерпи — ведь задание, считай, выполнили уже.

— Не могу, — отвечал Сычев, — по живому мясу... Вы ползите, а я после приду. Заодно отвлеку внимание.

Условился: Сычев останется замыкающим и продолжит движение не раньше как через полчаса. Крымов и Фидий, не задерживаясь, поползли вперед. Ползли, оглядываясь на луну. Облачко закроеет ее — можно вперед. Минута — другая — и облачко уже уплыло, и опять замри, срастись с травой.

И наконец вот она — немецкая проволока. Острые шипы цепляются за маскхлат, рвут его на спине, обдирают кожу на лопатках, задевают сгибающуюся в последнем толчке ногу. Разведчики лежат, глубоко дыша, почти под носом у врага, но это уже «нейтралка!», ничейная земля, а за ней они полновластные хозяева.

Над немецкой обороной, рассыпая искры, дугой взвизгивает ракета, стучат автоматные очереди. Это пробирается Сычев. Приходится вжиматься в землю: над головой свистят пули, растревоженные немецкие посты бьют из пулеметов по фронту.

Постепенно пальба утихла, а через полчаса через немецкий «курень» перепрыгнул Сычев. Он вынужден был все-таки залечь и двигаться ползком, пока не достиг заграждения. К проволоке он относился пренебрежительно — преодолевал ее с ходу.

Первым, кого увидели разведчики в своей траншее, был Шнитман.

— Прости?!

— Прости, товарищ старший лейтенант!

Офицер обнял и расцеловал каждого. Усадил на телегу, повез в штаб дивизии. Сам шел рядом, держась за грядущку. Всю дорогу пел песни, ни о чем не спрашивал. Поскрипывали тяжелые колеса, под дугой, прямо над головой лошади, всходило розовое солнце. Глаза разведчиков слипались в сладкой дремоте. Привалившись щекой на грядущку, безмятежно храпел Сычев. И наплывало ощущение, что были они с колхозными лошадьми в ночном, на дальнем облоге, и сейчас возвращаются в родное село...

Уже в штабе дивизии Шнитман спросил, добрались ли они до Землянухино. Узнав, что добрались, велел отдыхать, а сам опять зашел.

На следующее утро, 29 июля, к штабу дивизии подкатила черная легковая машина: Крымова и его товарищей пригласили к генералу Пухову, командующему 13-й армии. Командарм, плотный, крупнолицый, встретил их в деревенской избе, поздоровался с каждым за руку, приказал подать чаю. Пока пили чай, подробно расспросил, как и где переходили линию фронта, когда шли в разведку, как возвращались. Потом подошел к большой карте, висевшей на стене:

— Покажите, где были и что видели.

Командарм наградил каждого медалью «За отвагу». Сычев, принимая награду, осмелев, заявил:

— Обещаю, товарищ генерал, и орден заслужить.

Но не довелось Саше Сычеву получить орден. В сентябре, уже в Никольском районе, возвращался он ночью от речки Кшень из разведки и наступил на мину. Ему оторвало большой палец у ноги. «А без одного пальца, — шутил он, — воевать удобней даже, через проволоку прыгать сподручнее». Но приключилось заражение крови. Умер Саша в медсанбате. Вместе с сослуживцами хоронили старшего сержанта и жители деревни, где стояла разведрота. Они хорошо знали бесстрашного сибиряка. Посмертно Александр Сычев был награжден еще одной медалью «За отвагу».

Вечером 29 июля штаб армии отправил в штаб Брянского фронта очередную разведсводку. В ней, в частности, указывалось:

«Вернувшаяся группа в составе трех человек войсковых разведчиков из района Погонево — Васютино (южнее Сетенева) доложила: из опроса местных жителей, 1 бр. «СС» 21-22.7 1942 года ушла в неизвестном направлении. В течение двух дней отмечалось движение одиночных подвод. Из опроса жителей, в этих районах танков нет. В Ефремово (западнее Зорница) предположительно штаб полка. Между Погонево, Внуково проволока в два кола».

Пройдет еще чуть больше года после получения первой боевой награды, командир 190-й отдельной разведроты старший лейтенант Крымов, возглавляя подвижной передовой отряд 60-й армии, одним из первых со своими разведчиками форсирует Днепр, чем обеспечит успешные действия своей дивизии на плацдарме севернее Киева.

За мужество и героизм, проявленные в битве за Днепр, Президиум Верховного Совета СССР 17 октября 1943 года присвоил Крымову Михаилу Ивановичу звание Героя Советского Союза.





Алим Яковлевич Морозов родился в 1932 году в селе Вerveковка Богучарского района ЦЧО. Окончил исторический факультет Воронежского государственного университета. Директор Россошанского краеведческого музея. Лауреат премии «Adordina de Oro» (Италия). Автор книг «Россошь: Краткий исторический очерк», «Из далекого военного детства», «Война у моего дома», «Россошь: земли родной начало». Почетный гражданин города Россошь.

Алим Морозов

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ДОН

Моя встреча с итальянским писателем Марио Ригони Стерном произошла в мае 1988 года в его четвертый приезд в Советский Союз. Тогда о Ригони Стерне, которого теперь называют патриархом европейской литературы, мне было известно немного. В 1982 году в СССР издательством «Прогресс» выпущен сборник его повестей и рассказов. С особым интересом я прочитал повесть «Сержант в снегах», на страницах которой автор показал жестокую правду о военных событиях, происходивших в наших местах, об итальянских солдатах, которые в них участвовали, и как после, в январе 1943 года, они, преодолевая сотни километров заснеженной степи, погибали во время отступления. В своей повести Ригони Стерн делился с читателями тем, что сам пережил, ничего не выдумывая и не приукрашивая. Рассказ он вел от первого лица — сержанта 55-й роты батальона «Вестоне», входившего в состав дивизии «Тридентина». Все герои повести не придуманные персонажи, а настоящие участники тех трагических событий.

Основные действия повествования происходят в придонском селе Украинская Буйловка Подгоренского района. Излагая историю фронтовых мытарств сержанта-альпийца и его однополчан, Марио Ригони Стерн проводит мысль, что война в человеческой жизни является противоестественным явлением. По мнению автора, участие итальянцев и русских в прошедшей

войне по разные стороны баррикад противоречит здравому смыслу, которому стремятся подчинить свои желания простые люди. Он уверен, что, напоминая о тяжелом военном прошлом, он помогает людям думать о будущем.

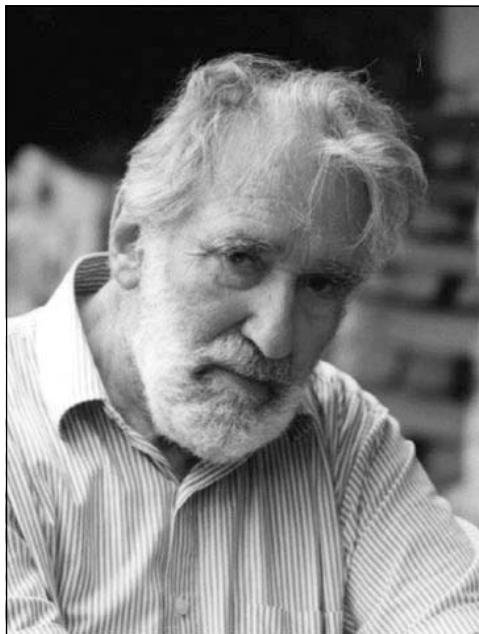
Повесть «Сержант в снегах» Марио Ригони Стерн начал писать в немецком лагере военнопленных. Гитлеровская Германия, в стремлении наказать итальянцев за то, что их новое правительство в июле 1943 года арестовало Муссолини и объявило нейтралитет, после 8 сентября оккупировала Италию. Немцы разоружили и отправили в лагеря военнопленных большую часть солдат и офицеров итальянской армии. Так волею непредсказуемой судьбы сержант Ригони Стерн оказался за колючей проволокой вместе с русскими пленными. Там у него была возможность познакомиться с солдатами армии, против которой ему пришлось воевать восемь месяцев назад на Дону. Новые знакомые пришлось по душе будущему писателю. «Нашими лучшими друзьями в концлагерях Польши и Австрии, — рассказывал Марио Ригони Стерн, — были русские. Это были надежные товарищи, смелые люди. Они мне помогли выстоять. И я полюбил навсегда русскую литературу... Для меня русский в любой стране — как мой земляк из Азиаго... Можно сказать, что Россия помогла мне стать писателем».

Понять русскую душу Стерну помог Александр Пушкин. Будучи «в гостях» у литературного альманаха «Круг чтения» в 1990 году, он дал необычную характеристику главным литературным героям Пушкина и Лермонтова: «Когда-то я написал: «Если бы немецкие генералы хорошенько вчитались в «Евгения Онегина», они никогда не напали бы на Россию». Это выношенная, не случайная мысль. О Евгении Онегине можно говорить разное. Для философствующих критиков и литературоведов здесь безбрежный простор для упражнения мысли. Но «лишние люди» русской литературы отличались удивительной самостоятельностью натур. Можно себе представить, чтобы Евгений Онегин или Григорий Печорин согласились бы вдруг с иноземным нашествием? Я себе такого представить не могу. Кроме того, эти «лишние люди» вообще не боялись смерти, а еще точнее — относились к опасности как к бытовому моменту, не более того. Пролетела пуля мимо — замечательно. Значит, повезло. Попала в тебя — такова судьба. Это не фатализм. Это, по моему убеждению, философское отношение к жизни и смерти. Оно отличало и самого Пушкина... Однажды я подумал вот о чем: случись Онегину сражаться за свою страну, он мог бы стать замечательным солдатом, а если бы война затянулась, вырос бы в великолепные генералы-тактики... Печорин — тот стратег, с умением глобально мыслить. Даже Грушницкий вполне сгодился бы в бравые и небездарные полковники».

В тот памятный приезд Марио Ригони Стерна в Россошь его сопровождали жена Анна и Джанпьеро Симонтекки, являвшийся тогда президентом компании СИФ и одновременно председателем парторганизации компартии Италии города Сан-Ремо. Симонтекки финансировал эту поездку и в нашей стране уже был известен тем, что по договоренности с Гостелерадио организовал впервые в Советском Союзе гастроли Тото Кутуньо и Джанни Моради. От итальянского телевидения со Стерном приехал директор региональной телевизионной сети РАИ ТВ-1 его тезка Марио Ригони, выступавший в роли режиссера. С нашей стороны вместе с итальянским писателем путешествовал московский литератор Николай Самвелян. Кроме того, с уже названными лицами в Россошь прибыла съемочная группа Центрального телевидения СССР, возглавляемая оператором Григорием Халфиним, и с переводчиком Олегом Шацковым. Советские телевизионщики были приглашены итальянским телевидением для съемки фильма «Возвращение на Дон», в котором основным автором и действующим персонажем должен был выступать Марио Ригони Стерн. Через сорок пять лет бывший участник губительного Восточного похода итальянской экспедиционной армии возвращался на место событий,

чтобы рассказать о тех ужасах и лишениях, которые пришлось испытать итальянским солдатам, посланным фашистским правительством за тысячи километров от родной Италии на подмогу Гитлеру покорять Россию.

Тогдашнее партийное руководство Россосанского района не очень обрадовалось этому неожиданному визиту. Иностранцы, тем более представители Западной Европы, в те годы были очень редкими гостями в нашей глубинке. Райкомовцев смущало еще и то, что главный гость в прошлом уже побывал на нашей земле в составе оккупационных войск. Поэтому они решили, чтобы быть от греха подальше, с ним, по возможности, не общаться, а исполнять роль гида для прибывшей в наш город иностранной делегации первый секретарь РК И. Т. Какоткин поручил мне, преподавателю техникума, не обремененному ответственной должностью.



Марио Ригони Стерн

С самого начала визит Ригони Стерна и сопровождавших его телевизионщиков пошел вопреки намеченному порядку. На инструктаже в горкоме партии мне сказали, что итальянский писатель и сопровождающие его лица приедут в Россоза из Воронежа не позже 8 часов вечера. На самом же деле они прибыли к нам из города Енакиево (Донецкая область) уже после 12 ночи. Уставшие после многочасовой тряски в автобусе по разбитым дорогам, наши гости, переступив порог гостиницы, сразу же улеглись спать. Из-за этого обслуживание программы визита пришлось отложить до утра. Не выяснив, куда приезжие собираются отправиться на следующий день, руководитель района дал распоряжение председателю колхоза «Победа» готовить им торжественную встречу и обильный обед в Старой Калитве. Утром же выяснилось, что Марио Ригони Стерн намерен в первую очередь посетить Украинскую Буйловку в соседнем Подгоренском районе, где

в далеком 42-м году ему пришлось страдать от жестоких морозов и артобстрелов, которым почти ежедневно подвергались передовые позиции батальона «Вестоне».

Итак, в первый же день визита, вызвав неудовольствие россосанского руководства, итальянский писатель и его спутники отправились на автобусе в поселок Подгоренский. Там тоже знакомство с местной властью началось с курьеза. Остановившийся в центре поселка необычный автобус привлек внимание любопытных жителей. Один из них, узнав, что среди приехавших есть итальянцы, тут же сообщил нам по секрету, что у секретаря райкома партии хранятся два медальона итальянских солдат. Их ему передал его родственник, усадьба которого располагалась на санитарном захоронении военного времени. Кинооператора эта новость сразу же натолкнула на мысль дополнить сценарий выигрышной сценой, в которой партийный секретарь района вручает известному итальянскому писателю, воевавшему на Дону, медальоны пропавших без вести соотечественников, а может быть, даже однополчан.

Воодушевленный этой идеей, Григорий Халфин со своими помощниками и Марио Ригони Стерном пошли в кабинет первого секретаря Подгоренского РК КПСС. Хозяин кабинета показал гостям «пиастрины» и стал объяснять, как они к нему попали, а телевизионщики в это время занялись подготовкой к съемке. Увидев перед собой штатив с телекамерой, перепуганный секретарь замахал обеими руками, тут же заявив, что этого нельзя делать ни в коем случае. Его стали уговаривать. Он смущался, долго отнекивался, но чем дольше длились уговоры, тем протест секретаря звучал все слабее, и, наконец, он согласился. Но перед началом съемки все же снял телефонную трубку и позвонил в областной комитет партийному начальнику.

Теперь представьте себе такую картину: секретарь райкома стоит за своим рабочим столом с трубкой у уха в окружении съемочной группы. Все понимают, что он спрашивает разрешения у своего начальника для участия в съемке телепередачи, которую будут показывать в Италии. Все надеются, что это разрешение будет получено. Но диалог затягивается. Лицо секретаря, выражающее подобострастное внимание, начинает багроветь и вытягиваться, на лбу выступают бисеринки пота. Окружающим понятно без слов, что обкомовский начальник гневается и распекает своего подчиненного за то, что тот проявил такую политическую недальновидность. Районный партийный секретарь кладет телефонную трубку и отдает «пиастрины» итальянскому писателю. Он ничего не говорит, а только вяло отмахивается от всех этих, неизвестно откуда свалившихся на его голову, посетителей. Мы покидаем Подгоренский райком и тут же неподалеку находим участника прошедшей войны, и у него дома телевизионщики снимают запланированную сцену, но с другим действующим лицом. Вместо партийного секретаря медальоны пропавших без вести альпийцев передал итальянскому писателю Марио Ригони Стерну русский участник Великой Отечественной войны.

В поселке Подгоренском мы задержались недолго. Ветеран батальона «Восток» спешил на встречу с печально памятными для него местами большой русской реки. Чем ближе автобус подъезжал к Дону, тем чаще старый солдат лез в карман за носовым платком. Слезы застилали его глаза, спазмы против его воли сжимали горло, воспоминания о пережитом будоражили душу. За окнами автобуса мелькали таблички с названиями сел: Кулешовка, Побединщина, Коренщина. В большом селе Сергеевке повернули на Саприно. После того как минули это село, до Украинской Буйловки — главной цели путешествия, оставались считанные километры. И вот тут-то и произошла досадная заминка. Нас никто не предупредил заранее, что за Саприно кончается асфальт, а полевая, размытая недавними дождями дорога для нашего автобуса, приспособленного только для поездок по асфальтированным городским улицам, была непреодолимым препятствием. Такая неожиданная заминка расстроила всех пассажиров автобуса, но особенно взволновала Марио Ригони Стерна. Он собирался уже отправиться к Дону пешком, когда на дороге, ведущей из Саприно, появился самый распространенный тогда в России внедорожник ГАЗ-69. В нем возвращался в свое хозяйство председатель. Спутники Ригони Стерна перекрыли автомобилю дорогу и начали наперебой упрашивать его хозяина подвезти их до Украинской Буйловки. Уговаривали председателя колхоза недолго, но автомобиль не мог вместить всех желающих поехать на Дон вместе с писателем. Сопровождающим лицам устроили строгий отбор. В итоге с Ригони Стерном отправились режиссер, оператор и переводчик. Остальным пришлось несколько часов скоротать на природе. Благо, что рядом с дорогой находился небольшой лес, к которому и потянулись оставшиеся члены группы, привлекаемые свежей зеленой листвой его деревьев и ярким разноцветьем весенних цветов.

Марио Ригони Стерн со своим телевизионным эскортом вернулся к оставлен-



Итальянский альпийский корпус отправляется из Тренто на Дон.
Июль 1942 года

ному возле села Саприно автобусу, когда солнце уже склонилось к закату. Те, кто не смог поехать с ним, увидели его встречу с Доном на экране небольшого монитора, на котором оператор просматривал снятый материал. Мне запомнилась беседа писателя с бабушками-крестьянками, последними жителями, тогда еще оставшимися в Украинской Буйловке. Обращала на себя внимание та неподдельная доброта, которой светились лица бывшего солдата оккупационной армии и жительниц придонского села, которым пришлось более полугода, с июля 1942 года по вторую половину января 1943 года, проживать на оккупированной территории. Через полвека у вернувшегося на Дон Ригони Стерна появилась возможность поклониться тем русским женщинам, которые, испытывая невероятную нужду, сохранили в своих сердцах столько человеческого милосердия, что в суровую годину войны делились последним не только со своими солдатами, но и с этими несчастными, попавшими в беду итальянцами.

В своей книге «Сержант в снегах» писатель вспомнил случай, когда во время отступления голод и холод заставили его зайти в крестьянский дом, где уже находились советские бойцы. «Они вооружены, — писал он. — На шапках у них красные звезды! У меня в руках винтовка. Окаменев, я смотрю на них. Они сидят вокруг стола и едят. Они едят щи из одной большой миски. — Мне хочется есть, — говорю я.

В комнате находятся также женщины. Одна из них берет тарелку, наполняет ее из общей миски и протягивает мне. Я делаю шаг вперед, закидываю винтовку за плечи и ем. Русские солдаты смотрят на меня. Женщины и дети тоже смотрят на меня. Никто не двигается. Слышен стук ложки в моей тарелке. И звук каждого глотка.

— Спасибо, — говорю я, кончив есть.

Женщина берет тарелку из моих рук.

— Пожалуйста, — отвечает она.

Солдаты смотрят, как я направляюсь к выходу, не двигаясь с места...».

Марио Ригони Стерн не видит в описанном случае ничего необычного. «В этой избе, — считает он, — между мной, русскими солдатами, женщинами и детьми создалось понимание, которое было чем-то большим, чем перемирие. Случилось так, что обстоятельства заставили людей остаться людьми.

...Если это случилось один раз, это может повториться. Я хочу сказать, что это может повториться с бесчисленным множеством других людей и стать обычаем, образом жизни».

О почти таком же необычном фронтовом случае рассказывал мне участник освобождения Россоси Николай Григорьевич Игнатъев, занимавший в то время должность офицера связи при штабе 12-го танкового корпуса. На дороге от Россоси к Карпенково его машина во время метели застряла в снегу. Через некоторое время к этому месту подошла колонна отступавших итальянцев. Солдаты противника помогли советскому штабному офицеру вытащить автомобиль, застрявший в снежном сугробе, и пошли дальше, а старший лейтенант Игнатъев поехал выполнять задание своего командира корпуса.

С Россосью Марио Ригони Стерн познакомился бегло. Оператор заснял его у здания медучилища, где во время оккупации размещался оперативный отдел штаба итальянского альпийского корпуса. Потом было небольшое интервью с пожилой россосшанкой у старой колокольни и посещение краеведческого музея, который тогда находился на улице Алексеева. В своих путевых заметках Марио, неожиданно для меня, посвятил музею целую страницу. «Потом, — писал он, — мы пошли в музей, где Алим Морозов собрал предметы и старинные вещи, относящиеся к истории города. Рядом с сувенирами царских времен и революции экспонировались котелки, оружие, снаряжение, монеты, бесплатные почтовые открытки для военных, топографические карты и еще кое-что из того, что мы бросили при отступлении. Будучи в то время мальчишкой, он точно помнит даты, наименование частей и их командиров и какие-то итальянские слова.

Мы увидели витрины, где были выставлены шляпа альпийца, пара «кошек» для передвижения по льду, которые мы должны были использовать на Кавказе, ботинки с шипами, штыки, два ржавых пулемета Бреда, обоймы для патронов к тяжелому пулемету, мины для 81-миллиметрового миномета, каски, подсумки для патронов. Он хотел подарить мне обойму для патронов к тяжелому пулемету, которыми мне пришлось стрелять (он хорошо знает мою книгу), но я вынужден был отказаться, учитывая сложности, которые возникли бы при прохождении контроля в аэропорту, да и в Италии провоз таких предметов строго запрещен законом о терроризме. Алим улыбнулся и... вынул из кармана небольшую коробочку, открыл ее и протянул мне именное пиастрино, одно из тех пиастрины, которые мы, солдаты, вешали на шею на латунной цепочке. Найденное несколько лет назад с останками убитого возле Старой Калитвы оно сохранило данные, которые с волнением здесь привожу: «11275 (71) С Сальваторе Фердинандо... год рождения 1922, Алассио, Савона». Скорее всего, это альпиец из дивизии Кунезансе. Это была зона действий 2-го полка, который формировался в Лигурии.

Алим преподнес мне другой сюрприз: подарил десять фотографий, сделанных в Кантемировке и в Россоси одним советским фотографом в дни нашего разгрома: колонна пленных, кладбище в Дубовиково, занесенное снегом, русские солдаты, наш брошенный автотранспорт.

Из Россоси мы отправились в Подгорное. Это дорога нашего тяжелого испытания (Голгофа), происходившего во время отступления. Здесь, на этой степной дороге, сбиваемые ветром, проходили в шторм 17 января тысячи и тысячи наших солдат. Теперь же здесь только простор и тишина».

Киносъемочная группа «Мосфильма» в тот приезд прошла вместе со Стерном весь путь, который ему пришлось проделать в январе 1943 года. Встречаясь со



Холодная русская зима. 1942 год



Отступление разбитых
итальянских частей.
Январь-февраль 1943 года

знакомыми местами, писатель снова и снова мысленно возвращался к тому, что ему тогда здесь пришлось пережить. О тех печально памятных январских днях после возвращения в Италию он писал: «На подъеме, начинавшемся сразу за поселком Подгоренским, на пути в Опыт был настоящий дантовский ад: брошенные автомобили, охваченные пламенем или просто утратившие способность двигаться, санитарные машины, орудия, немецкие самоходки, сани и тысячи отставших: итальянцев, венгров, немцев. Среди них уже были раненые и обмороженные, с трудом передвигавшиеся по глубокому снегу. Чтобы ликвидировать затор на деревянном мосту, автомобили сбрасывали вниз на лед замерзшей реки (этот мост еще стоит, но по нему сейчас никто не ездит). За нашей спиной пылали пожары, гремели взрывы, и где-то там позади из окна госпиталя свисал белый флаг с красным крестом. В этом прифронтовом госпитале добровольно остались медики, чтобы лечить наших брошенных товарищей. Когда мы ушли дальше, чтобы прорвать первое кольцо окружения, сюда подошли советские танки, устроившие бойню и невероятный хаос.

Теперь на середине этого подъема стоит памятник советским танкистам — Т-34 на пьедестале из гранита, на котором написано: «17 января 1943 года Подгоренский район освобожден от немецко-фашистских захватчиков танкистами 3-й танковой армии 96-й танковой бригады имени Челябинского комсомола». С обратной стороны монумента под металлической пластиной в нише помещена капсула с письмом танкистов, которая должна быть вскрыта и прочитана 9 мая 2045 года, когда исполнится столетие победы над фашизмом».

Мы с Марио Ригони Стерном знакомы двадцать лет, изредка встречались, обменивались иногда письмами. Я не могу отнести себя к его друзьям или даже к хоро-

шим знакомым. Он однажды написал предисловие к моей книге «Из далекого военного детства». И надо же так оплошать: я перевел его на русский язык только после его смерти. Правда, после кончины Марио заключительные слова этого предисловия для меня и моих сверстников приобретают особое звучание: «Алим, дорогой мальчишка, росший среди ужасов войны, ты теперь стал дедушкой и смотришь на своих внуков, как на всех внуков мира, и рассказываешь свою историю ради дружбы и мира. Мы, твои «враги», видим в тебе всех русских ребят, которые терпели и плакали, всех мужчин и женщин, которые вместе с нами через край хлебнули горя. Спасибо тебе за эту историю, которая излучает свет мира и надежды».

Друзья Марио Ригони Стерна мне сообщили, что он умер в своем доме в небольшом городке Азиаго 16 июня 2008 года. Перед кончиной он пожелал, чтобы о его смерти сообщили после похорон. В последний путь писателя провожали только близкие родственники.

КНЯЗЬ ИГОРЬ, ЛЕГЕНДАРНАЯ КАЯЛА И ПОЛОВЦЫ

О Новгород-Северском князе Игоре и битве его войска с половцами мне довелось впервые услышать в 1939 году. В тот вечер в клубе Россошанского птицетехникума собралось население левобережной части города, чтобы послушать лекцию о международном положении, после которой, как сообщалось в ярко раскрашенной техникумовским художником афише, состоится концерт художественной самодеятельности. Чтобы дожидаться этого концерта мне пришлось больше часа, собрав все свое терпение, выслушать длинную и до зевоты скучную лекцию о германском милитаризме, об агрессивных замыслах Гитлеровского правительства и постоянных провокациях белофиннов на советско-финской границе. Наконец, кафедру, на которой райкомовский лектор раскладывал чуть пожелтевшие листки своей шпаргалки, убрали, раздвинули тяжелый бархатный занавес, и перед зрителями предстали роуль с аккомпаниатором и известный в то время в нашем городе музыкант и певец Николай Андреевич Попов.

Конферансье объявил, что сейчас будет исполнена ария князя Игоря из одноименной оперы композитора Бородина. Попов шагнул к рампе, но не запел, а начал рассказывать зрителям о том, что в 1185 году князь Игорь с братом и сыном во главе войска отправились в поход против степных кочевников к Дону Великому. И именно на том месте, где стоит наша Россошь, войско Игоря было окружено и разбито, а раненый князь был взят половцами в плен. Попов рассказывал об этом с увлечением и в конце сообщил потрясшую мое детское воображение новость о том, что князь Игорь был ранен на берегу речки Россошь на месте, где стоит городская баня. Для меня, смотревшего в этом же зале неделей раньше фильм знаменитого кинорежиссера Эйзенштейна «Александр Невский», такое сообщение было равносильно грому среди ясного неба. Какая там после этого ария? Попов пел: «О, дайте, дайте мне свободу...», а перед моими глазами мелькали немецкие рыцари в белых плащах с крестами и рогатыми шлемами с прорезями для глаз. Певец от имени князя давал обещание: «Спасу я честь свою и славу, я Русь от недруга спасу!», а в моем воображении замечательный артист Охлопков бил окружавших его врагов оглоблей. И каждый раз я испытывал внутренний подъем от мысли, что такое же сражение в те далекие времена происходило и на нашей Заболотовке.

Тогда я не знал, что перед этим в Россошь из Москвы специально приезжал страстный поклонник замечательной древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве», двоюродный внучатый племянник декабриста Бестужева-Рюмина Николай Николаевич Поливанов, пытавшийся собрать на месте события доказатель-

ства того, что описанная в поэме битва происходила действительно на нашей речке. Он выступал перед учащимися техникума, педучилища, городской средней школы. Эту новость жители Россоси восприняли с живым интересом, а старожилы вспомнили, что еще во время строительства бани рабочие выкопали меч древнего воина. И очень может быть, что тот же Попов «ничтоже сумняшеся» поспешил связать место этой находки с ранением князя Игоря. Конечно, это мог быть и кто-нибудь другой из местных скородумов, но только не Н.Н. Поливанов. Он был слишком серьезным исследователем, чтобы сделать такой поспешный, лишенный всякого основания вывод.

Прошли годы. После окончания университета я преподавал историю в том же техникуме, где до войны услышал поразительное сообщение Н.А. Попова. Почти каждую неделю с друзьями мы посещали ту самую «мемориальную» баню, и частенько, как веселую шутку, я напоминал своим спутникам о ее историческом значении. Однако моя шутка, похоже, не понравилась провидению или тому все видящему и все знающему, кто его замещает. Короче, в один из летних вечеров 1973 года одноклассник моего сына Гена Курдюков принес изъеденный ржавчиной наконечник копья, на который он наткнулся коленкой, вылезая из речки на берег недалеко от той самой бани. Глядя на эту находку, невольно подумалось, а не то ли это копьё, которое князь Игорь хотел «преломить в конце поля Половецкого». Эту мысль, которая была очень похожа на давнишнее утверждение Попова насчет места ранения князя Игоря, я оставил при себе, а наконечник копья положил в книжный шкаф, наказав своим домашним не выбросить его невзначай. Рядом с наконечником в шкафу стояла изрядно потрепанная, изданная «Детгизом» в 1934 году книжечка «Слово о полку Игореве», на которой кто-то из пионеров 30-х годов корявым почерком написал: «книга плохая».

Возможно, этот наконечник копья так и продолжал бы лежать в шкафу рядом с книгой о древнем походе русского князя в Придонскую степь до нынешней поры, если бы в начале июля 1976 года в мою дверь не постучались два москвича: Алексей Матвеевич Поливанов и Георгий Венедиктович Кругликов. После первого знакомства с неожиданными гостями выяснилось, что старые друзья по инициативе Поливанова решили проехать на старенькой, выдавшей вида «Победе» от Новгород-Северского до Россоси по пути, по которому, как они полагали, почти восемь веков назад прошел со своим войском князь Игорь. Узнав о цели путешествия москвичей, я вынул из шкафа наконечник копья и, вручая его Поливанову, спросил: «Не за этим ли вещественным подтверждением вашего исследования вы приехали ко мне?» Алексей Матвеевич осторожно взял из моих рук эту ржавую железку и, обращаясь к Кругликову, восторженно воскликнул: «Эврика! Я же говорил тебе, что мы найдем следы древнего похода Игоревы войска на Дон».

Для меня, говоря откровенно, тогда не понятна была такая бурная реакция на эту, казалось бы, рядовую находку. Но Поливанов к тому времени уже проштудировал «Свод археологических источников» исследователя А.В. Кирпичникова и знал, что из 739 таких находок, обнаруженных на территории русских княжеств, на «половецкой земле» еще не было найдено ни одной. После А.М. Поливанов представил этот наконечник копья в Отдел археологических памятников Государственного Исторического музея для проведения экспертизы. Специалисты музея пришли к заключению, что россосанская находка относится к домонгольским археологическим памятникам древней Руси. Поливанов на этом не успокоился. Он поехал в Ленинград к самому Кирпичникову, чтобы от самого эксперта по древнерусскому оружию получить подтверждение, что найденный в Россоси наконечник копья относится к XII веку. Алексей Матвеевич был уверен, что просто так копьё оказаться в речке не могло, ибо в то время, являясь одним из основных вооружений воинов, оно имело большую ценность и достаточные размеры,

чтобы его владелец мог обронить его в водоем без какой-то чрезвычайной причины. Однако для подтверждения гипотезы Н.Н. Поливанова этой находки было недостаточно. За почти два предшествующих века по поводу похода князя Игоря на половцев были выдвинуты десятки гипотез. Среди их авторов были такие авторитеты исторической науки как Карамзин и академик Б. Рыбаков. Для опровержения их признанных в научных кругах доказательств нужны более веские, по-настоящему неопровержимые доказательства.

Николай Николаевич не успел всесторонне обосновать свой вариант похода князя Игоря к Дону. На эту тему он написал в 1941 году всего одну статью: «Поход 1185 года» с подзаголовком: «Описание военных действий в северной части степной полосы русской равнины северских князей Игоря, Всеволода, Святослава и Владимира, а также половецких ханов Кончака и Гзы». Началась война, автор был вынужден эвакуироваться из Москвы, а статья его так и не вышла в свет. Из сохранившейся рукописи этой статьи можно сделать вывод, что Н.Н. Поливанов считал своим долгом определить место, где происходила битва. Для этого он прежде всего тщательно проанализировал содержание поэмы и сведения из Ипатьевской и Лаврентьевской летописей о походе северских князей на половцев.

Половцами называли кочевников тюркского происхождения. Их кочевья были разбросаны на огромной территории, простиравшейся от Дуная до Волги. Центр Половецкой земли находился севернее Азовского моря между Днепром и нижним течением Северского Донца. Для Киевской Руси эти воинственные степные кочевники стали особенно опасными в XII веке, когда они предпринимали против нее частые разорительные набеги.

Цель и общее направление похода кратко и доступно показывает автор поэмы:

...Напряг Игорь ум крепостью своею
И поострил сердце свое мужеством,
Исполнившись ратного духа,
Повел свои храбрые полки
На землю Половецкую
За землю Русскую.

Хочу же, сказал,
Копье преломить
В конце поля Половецкого,
С вами, Русичи,
Хочу голову свою сложить,
Либо испить шеломом Дону!

Из текста поэмы видно, что русское войско должно было идти не к центру половецкой территории, а на ее донскую окраину. Н.Н. Поливанов считал, что идти на юг в центр Половецкой земли с небольшой дружиной (у русских князей было не более 6 тысяч всадников) на жизненные центры кочевников было «неблагоприятно, опасно, неосторожно». По мнению Н.Н. Поливанова, Игорь предпринял этот поход с целью «осуществить глубокую разведку в тылу врага для последующего захвата Дона как водного пути для внешней торговли с Ближним Востоком». Торговый путь по Северскому Донцу для русских был закрыт с начала XI века. Большая часть течения этой реки проходила по центру Половецкой земли, а сил у северских князей в тот раз было недостаточно, чтобы сокрушить половцев. В то же время Николай Николаевич рассматривал поход русских князей как меру «активной защиты Северских княжеств от половцев», а также с целью «захвата военной добычи: пленных, оружия, ценностей и одежды».

В предвоенные годы Н.Н. Поливанов несколько раз приезжал в Россосшь и Ольховатку, чтобы обследовать их окрестности и пойму реки Черной Калитвы, опросить жителей на предмет случайных находок и сделать зарисовки на местности. В итоге своих поисков он пришел к выводу, что сражение русских с половцами

произошло у слияния рек Черной Калитвы и Россоши, где сейчас находится старая часть города Россоши. «... К вечеру 10 мая в пятницу, — писал Н.Н. Поливанов, — за речкой Сьюрлий (ныне Ольховатка) они увидели войско половцев и не вдалеке в стороне оставленные вежи...

...Бой начался на рассвете в субботу близ речки Ольховатки и на протяжении 30 километров шел вдоль Черной Калитвы (Сальницы) до берегов реки Россоши (Каялы) и закончился после переправы через нее части русского войска.

...Часть русских, прижатая к разливу реки Сальницы, была поражаема с двух сторон, а те, что не переправились, были загнаны в угол слияния Каялы с Сальницей, где теперь размещено крупное поселение Россошь».

* * *

После поездки в Россошь на берега легендарной Каялы бывший инженер-майор в отставке А.М. Поливанов с удвоенной энергией взялся за сбор доказательств, подтверждающих гипотезу своего дяди. На следующий год он сагитировал приехать в Россошь группу московских аквалангистов. Правда, несмотря на современную подводную экипировку, результаты их поисков не могли сравниться с одной находкой Гены Курдюкова. Однако эта неудача не смутила Алексея Матвеевича. В его напористой последовательности в поиске истины угадывалось отличное фамильное качество старинного дворянского рода Поливановых, представители которого оставили заметный след в научной, военной и общественной жизни России. В их числе были участники Куликовской битвы, победоносных Суворовских походов, Бородинского сражения, восстания декабристов, Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войн. Отец Н.Н. Поливанова Николай Петрович Поливанов участвовал в позапрошлом столетии в освоении Дальнего Востока, инженер-электрик М.К. Поливанов был одним из авторов плана ГОЭЛРО. Твердая последовательность и увлеченность Алексея Матвеевича поиском места легендарной битвы в какой-то мере передались и мне. Находясь рядом с ним, нельзя было оставаться равнодушным к его делам. Пришлось пропагандировать поливановскую гипотезу через местную печать. Моя статья вызвала интерес, пошли отклики читателей. Бывший учащийся Поповской школы вспомнил, что в послевоенные годы в кабинете директора видел шлем древнего воина, кто-то из механизаторов городского участка колхоза «Дружба» рассказал, что во время полевых работ выпал колчугу, которую передали в Острогожский краеведческий музей, а один из жителей хутора Бещего утверждал, что на ближайшем поле нашел зеркало. Все это, к сожалению, были только рассказы о том, что когда-то было найдено, но самих находок, которые и являются подлинными доказательствами, в наличии не было. Но публикации в местной печати все же внесли небольшую лепту в исследовательскую копилку А.М. Поливанова. Однажды в своем почтовом ящике я нашел письмо из далекой Туркмении от бывшей жительницы пригородного хутора Висицкого Т. Махаринец. Она поведала о том, что в детстве слышала от своей бабушки, дожившей до ста лет, легенду. «Между селом Николаевкой и хутором Виситским есть место, — писала она, — которое называется Великий Пристин. Там гора подходит к реке Россошь крутым обрывом. Раньше на этой горе были болота и озера. На одном озере жили лебеди, и называлось оно Лебязьим. Вот там, на горе, у Великого Пристина, давным-давно была битва. Много оружия, людей и золота потоплено было в болотах. День, ночь и еще день шла эта битва, и все люди были побиты». Когда-то среди жителей хутора Висицкий было распространено поверье, что ночью ходить туда нельзя, так как «посещает это место привидение, и стон под землей раздаётся».

Выйдя в отставку, А.М. Поливанов серьезно увлекся исследованием своего дяди

Н.Н. Поливанов и в подтверждение его гипотезы о наиболее вероятном месте сражения дружины князя Игоря с половцами провел интересную, заслуживающую внимания работу. Он также как и его предшественник, исходил из того, что поэма «Слово о полку Игореве» является не только выдающимся поэтическим памятником древней Руси, но и вполне достоверным историческим документом. «Одно из замечательных свойств древней русской литературы — ее историзм...» — писал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев в книге «Великое наследие». Поэтому в своих поисках А.М. Поливанов с самого начала строго придерживался текста поэмы. Он тщательно проанализировал дошедшие до нас старинные картографические материалы и лишний раз убедился, что автор поэмы хорошо ориентировался в географии центральной и восточной Европы. Большинство упоминаемых им в поэме названий — Киев, Путивль, Курск, Новгород-Северский, Чернигов, Дунай, Днепр, Волга, Дон, Донец, Оскол, Польша, Литва и другие — сохранились до наших дней. А.М. Поливанов тщательно проштудировал летописные источники, провел интересную работу по совмещению текстов, содержащих описание похода в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях. Он старался критически осмыслить все ранее выдвинутые предположения о месте битвы полков князя Игоря с половцами. Очень важно то, что А.М. Поливанов использовал для подтверждения своего варианта данные астрономии, сведения военной стратегии того времени, географические сравнения и математический анализ.

Прослеживая путь движения войск князя Игоря до предполагаемого места рокового сражения с половцами, Поливанов разбил его на этапы.

«Во вторник, 23 апреля, — сообщается в летописи, — Игорь Святославович поехал из Новгорода-Северского к реке Донцу». В Переяславле к нему присоединились со своими полками его сын Владимир Путивльский и племянник Святослав Рыльский. «Идучи... к Донцу; на вечерне мая 1 дня увидели затмение солнечное, которого осталось часть, яко луна трех дней». Зафиксированное в русских летописях, это астрономическое явление дало возможность А.М. Поливанову впервые довольно точно определить место переправы дружины Игоря через Северский Донец. Изолиния, отражающая фазу солнечного затмения (0,82 — «...яко луна трех дней») в районе нахождения войск, пересекает реку Северский Донец недалеко от Волчанска (Белгородская область).

Второй этап похода начался 2 мая, когда русские полки пошли к реке Осколу. «Переправился через Донец, — говорится в летописи, — и пришел к Осколу, и ждал два дня брата своего Всеволода». Если исходить из скорости передвижения дружины, в которую кроме всадников входили еще пешие воины и обоз, на первом этапе похода 300 километров были пройдены за 9 дней, то на следующие 90 километров от Донца до Оскола ушло около трех дней. С учетом дней, потраченных на ожидание дружины Всеволода, получается, что через Оскол объединенное войско Игоря «перепроде» не раньше 6, а то 7 мая.

Здесь следует заметить, что большинство авторов предполагаемых маршрутов передвижения войска Игоревы считают, что, дойдя до Оскола, Игорь повернул круто на юг и пошел в низовье Северского Донца. Это противоречит тому, что написано в «Слове о полку Игореве». Там прямо сказано: «Игорь к Дону войско ведет». Туда же спешит и его противник: «А половцы протоптанными дорогами побежали к Дону великому». Наверное, враги не пошли бы на окраину своей территории, если бы русские сразу направились, как утверждают авторы других гипотез, к их жизненным центрам.

На третьем этапе от Оскола к реке Сяурлий (слово «сяурлы» по-тюркски означает место слияния рек), где 10 мая русские полки встретили половецкое войско, по предположению Поливановых, дружина Игоря двигалась сначала по водоразделу, а потом по левому берегу Черной Калитвы до Ольховатки. Если по карте

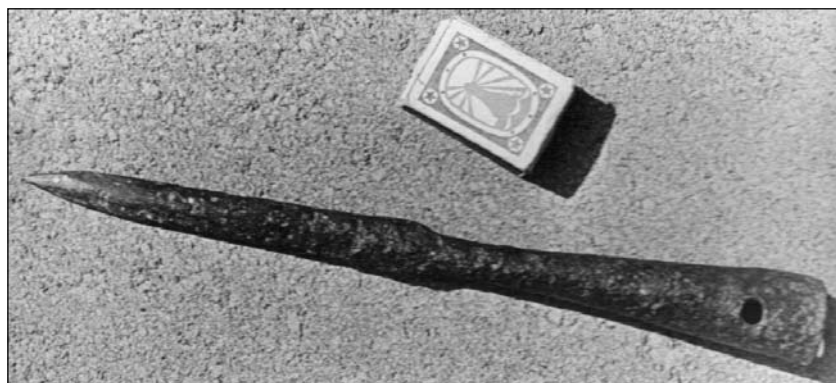
проследить путь движения дружины князя Игоря от Новгорода Северского через Рыльск к реке Осколу, то дальнейший путь по левому берегу Черной Калитвы в направлении Дона выглядит естественным продолжением предыдущего пути. Да и расстояние до предполагаемого места боя (105 км) вполне соответствует ранее установленной скорости движения русского войска. «На утро в пятницу, — говорится в Ипатьевской летописи, —... на другой стороне реки Сюрлий (по предположению Поливановых реки Ольховатки) половцы приготовились к бою».

Первый бой был успешным: «С рассвета в пятницу потоптали они поганые полки половецкие...» — писал автор поэмы «Слово о полку Игореве».

Из летописных источников и поэмы известно, что на другой день, в субботу 11 мая, половцы окружили русские полки со всех сторон, «словно лес». Бой продолжался до вечера и ночью, и на другой день, то есть в воскресенье, 12 мая.



Наконечник русского копья (XII век), найденного в реке Россошь и фрагмент обоюдоострого меча, найденного на территории города во время земляных работ.



Наконечник русского копья (XII век) — найдено на пашне возле хутора Перецепного

«И так, в день святого воскресенья, — свидетельствовал летописец, — на реке Каяле побеждены были наши. Как князья были в плен взяты, вся дружина избита. Возвратились половцы с победой великой».

Гипотеза Н.Н. Поливанова и А.М. Поливанова о том, что битва полков князя Игоря с половцами происходила между Ольховаткой и Россосью, доводы, выдвинутые в ее защиту, несмотря на скептическое отношение к ним некоторых воронежских историков, выглядят убедительнее высказанных ранее. Интересно отметить, что поливановский вариант научного предположения косвенно подтверждается археологическими находками. В 1973 году на дне реки Россось, недалеко от ее впадения в Черную Калитву, был найден наконецник копья. По официальному заключению Отдела археологических памятников Государственного Исторического музея эта находка датирована XII-XIII вв. «Подобный тип копий, — сказано в заключении, — хорошо представлен в домонгольских памятниках древней Руси.

За последние годы в Россосшанском краеведческом музее появились новые находки, которые относятся ко времени битвы войска князя Игоря с половцами. На поле возле хутора Перещепного найден хорошо сохранившийся наконецник русского копья XII века. Во время раскопок курганного могильника у пригородного села Архиповки археологи В.Д. Березуцкий и А.М. Гринев обнаружили во впускном захоронении половецкую железную саблю XII — начала XIII века. Интересно, что на поле у Великого Престина черными археологами был нелегально раскопан курган, в котором находились останки знатного воина. При нем находилась кольчуга, железные фрагменты обоюдоострого меча, фрагменты шлема и щита. В музее также хранятся артефакты из половецкого захоронения (серебряные украшения пояса и кожаного саадака) и большой фрагмент обоюдоострого меча со стороны рукоятки, которые еще не удалось датировать. Можно сколько угодно ставить под сомнение гипотезу Поливановых, но такое обилие случайных находок говорит само за себя.

В 2003 году Институт археологии НАН Украины и Донецкий национальный университет в серии «Степи Европы в эпоху средневековья» выпустили 3-й том «Половецко-золотоордынское время». В этот том вошла работа А.М. Поливанова «Восточная» гипотеза о месте битвы Игоря с половцами (река Россось, бассейн среднего течения Дона)». Представляя публикацию, А.В. Евглевский пишет: «Работа А.М. Поливанова... более чем оригинальна и выглядит смелым шагом, хотя отсутствие анализа многих статей и монографий по данной проблематике несколько обедняет исследование. Но следует учитывать то, что автор не является профессиональным ученым.

Представляя труд А.М. Поливанова, невозможно не сказать об истоках зарождения его «восточной» гипотезы. Ее появление связано с именем Николая Николаевича Поливанова — горного инженера по профессии, родственника автора статьи, ревнителя русской старины, глубоко изучившего памятники древнерусской литературы. Увлеченный поэзией «Слова», Н.Н. Поливанов написал драматическую трилогию «Внук Бояна», которая до сих пор так и не стала достоянием общности. Прочтение драмы привело нас к мысли, что это произведение просто необходимо опубликовать. Мы убеждены, что драма косвенно может оказаться весьма полезной археологам, историкам и всем тем, кто занимается исследованием «Слова».





Иван Дмитриевич Харчев родился в 1941 году в селе Старая Калитва Россошанского района. Окончил историко-филологический факультет Воронежского государственного университета. В течение сорока лет работал в сельских школах. Публиковался в газетах Россоши, Воронежа, журнале «Подъём». Живет в селе Старая Калитва.

Иван Харчев

КРЕСТЬЯНСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

Еще в советские восьмидесятые годы, теперь уже прошлого века, в Воронеже издали эту книгу — «Памятники археологии Южного Придонья». Ученными были взяты на учет древние курганы и городища, остатки поселений, укреплений, производств, каменные изваяния, участки исторического культурного слоя населенных пунктов. Они-то являются ценнейшими источниками для изучения далекого прошлого нашего края.

Только возле моего родимого села Старая Калитва Россошанского района в бассейне реки Дон отмечены поселение эпохи бронзы, где жили люди более трех тысячелетий назад, и три курганных группы. Как и везде есть, конечно, и неучтенные памятники. Время над ними не властно. В поле из-под плуга, в огороде из-под лопаты, в водопроводной траншее на сельской улочке выпахиваются и выкапываются уникальнейшие вещи. Эти случайные находки называю «крестьянской археологией». Когда работал учителем истории в школе, призывал своих учеников и взрослых односельчан приносить их в наш краеведческий музей.

МАМОНТ ПРИШЕЛ

После ряда засушливых лет в колхозе «Победа» решили «не ждать милости от природы». В 1985 году мелиораторы начали строительство кормового орошаемого участка. В степи в Липо-

вом яру, ближе к его вершине, развернулось сооружение пруда. Зачищали ложе, возводили плотину. И тут — механизатор ножом бульдозера выхватил из земли огромные кости. Удивили они всех своей величиной. Догадливые сразу сообразили:

— Мамонт нашелся!

И были правы. Очередное и последнее в истории Земли Валдайское оледенение превратило наши места в приледниковую тундру со мхами, карликовыми березками, колючим кустарником. Здесь обитали могучие великаны, которые отличались от нынешних слонов тем, что были покрыты длинной буро-рыжей шерстью и имели большущие, острые бивни. Многолетние раскопки в селе Костенки близ Воронежа утвердили ученых в мысли, что древнего человека каменного века спасли именно мамонты. Удалые охотники добывали в пищу мясо в большом количестве. Шкура зверя защищала от холода. А из костей люди строили себе жилища.

Жаль, что «наш мамонт» попал под бульдозер. Часть костей все же удалось сберечь. Хранятся останки в музеях — в школьном и краеведческом в Россоши.

ДУБИНА НЕ ВСЕГДА СТОЕРОСОВАЯ

В старину глупца нередко грубовато обзывали дубиной стоеросовой. Но ведь дубина была да, пожалуй, и остается первым орудием человека с древних времен. На того же мамонта охотились с дубьем и камнем. Из дерева, камня и кости изготовляли орудия труда.

Поля окрест Старой Калитвы урожайны на археологические находки. Агроном Виктор Пономарев принес и вручил мне как-то отполированный до блеска каменный топор. Высмотрел его механизатор на пашне неподалеку от полевого стана у Панского леса. Диву даешься, как древний мастер, еще не ведающий о железе, смог остро отточить лезвие, рассверлить отверстие для ручки-топорища, огранить обух. Этим топором можно и дерево срубить, и кол в землю вбить, и от врага защититься.

На отвешках Липова яра трактористы нашли каменные молоты и ручное рубило. Рубило тринадцатисантиметровое, с удобной рукоятью. С ним охотник разделял большую добычу: резал мясо и шкуру, отделял кости.

По весне в размытом овражке ребятня отыскала кремневые наконечник стрелы и нож. У ножа двухстороннее заостренное лезвие длиной в девять сантиметров.

Из лука с острой стрелой уже на расстоянии можно было свалить зверя, а с ножом довершить охоту.

Человек творил орудия труда, а они превращали его из охотника в скотовода и земледельца. Складывались родовые племена. Они торили пути в донских степях, обживали их.

СЛЕДЫ КОЧЕВНИКА

Сырья для изготовления медных, бронзовых и железных орудий труда в наших местах не было. Но недалеко от села нашелся бронзовый кельт-топор с двумя ушками и рельефным орнаментом. Принес его сюда, скорее всего, кочевой люд. У хутора Кулаковка на посевной в дисках саялки заскрежетало железо. То попало под агрегат боевое оружие скифа — кинжал. Акинак имел «ребра жесткости», в ближнем бою им наносили смертельный удар.

Крестьянские огороды нередко тоже хранят бесценные археологические клады. Семья Мозговых сажала картошку, а выкопала наконечник скифского копья. У Усачевых все эпохи «сошлись». Тут «вырастают» старинные монеты Петровской эпохи и наконечники стрел, дротика скифского облика.

По мнению «отца истории» Геродота, страна «скифия» располагалась и в южной части нынешней России. Случайные находки подтверждают, что средний Дон долгое время оставался излюбленным местом кочевий скифов.

ТАЙНА СТЕПНЫХ КУРГАНОВ

В поле видишь издалека древние могильные курганы. Место для них выбиралось возвышенное. Не зря уже в наше время геодезисты устанавливали тут топографические вышки. Отсюда прекрасный обзор во все стороны света.

Изначально курган являлся как памятником покойным, так и маяком для живых.

Слухи о зарытых в них несметных богатствах не давали покоя кладоискателям всех времен. Большинство курганов уже разграблено любителями скорой наживы.

На околице Старой Калитвы давно поставлен кирпичный заводик. Прокладывали как-то траншею для водопровода и — натолкнулись на захоронение древнего воина из знатного рода. Когда в школу сообщили об этом, поспешили вместе с моим наставником, краеведом Иваном Ивановичем Ткаченко туда. Но — застали лишь «разбитые горшки». По рассказам очевидцев в захоронении сохранился колчан со стрелами, пояс, украшенный серебряными квадратиками с орнаментом, золотое кольцо.

Позже, в 1991 году экспедиция Государственной дирекции охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры Воронежской области тут же обнаружила позднекочевническое захоронение — в рыбацкой лодке. Это большая редкость. Был это половец или «бродник»? Осталось неразгаданной тайной.

А сколько еще неизвестного хранит в себе земля-матушка?..





ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА В ХАРЬКОВЕ

Восьмого января 1654 года в небольшом городке под Киевом произошло событие исторической важности. Переяславская Рада голосами лучших и авторитетнейших представителей народа Малороссии-Украины провозгласила ее воссоединение с Россией, с русским народом после многовекового отторжения из-за золотоордынского ига, литовской и польской оккупации. «И бысть радость великая в народе», — свидетельствует летописец.

В наши дни на рубеже XX — XXI веков в историю вмешалась политика. Схоже с Древней Киевской Русью, которая изначально распалась на 15 княжеств, могучую державу Советский Союз ее горе-вожди «развели» на 15 независимых государств. И вот тут-то «перекройщики» стали ударно вбивать клин, прежде всего, меж славянскими народами, разрушая свою историю и нацию. Они-то оживили миф о несостоятельности решения Рады: «Волим под царя московского православного!»

КАК ЖЕ ОТСТОЯТЬ ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ!

В Харькове 16-17 декабря 2010 года прошло уже в пятый раз Международные научно-практические конференции — «Переяславская Рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации», а также «Пространство литературы — путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами».

Организаторами конференций являются Министерство образования и науки Украины, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьковское отделение Союза писателей России.

Харьковская Рада принимала нынче гостей из Киева и Москвы, из Белгорода и Воронежа. Главные инициаторы ее созыва — проректор технического университета, член-корреспондент Академии педагогических наук Украины, поэт Александр Романовский и председатель правления Союза писателей России, член общественной палаты при Президенте Российской Федерации, сопредседатель Всемирного Русского Собора Валерий Ганичев тепло приветствовали участников конференций. Александр Георгиевич кратко изложил свою программу взаимодействия и единения братских славянских народов. Валерий Николаевич сказал об особой роли писателей в создании единого духовного, культурного и литературного пространства.

У РУССКОГО И УКРАИНЦА — ОДНА СУДЬБА, ОДНА ЗЕМЛЯ

Этими словами жившего в Харькове известного поэта Бориса Чичибабина можно означить сущее в развернувшейся дискуссии.

На конференциях шла речь о Переяславской Раде в оценке Николая Костомарова, о роли литературы в современном мире и паломничестве в литературной традиции

южных славян, об истоках русской литературы и мифах, их национальных особенностях, о Николае Гоголе в современной украинской литературной критике, о теме России в поэзии Александра Блока, о Малороссии, Украине в творчестве Алексея Кольцова, Ивана Бунина, Михаила Шолохова, о классике украинской литературы, поэте уроженце Воронежской губернии Евгене Плужнике. С докладами, сообщениями выступили москвичи — сопредседатель Союза писателей России, прозаик С.И. Котыкало, литературовед В.М. Гуминский, писатель Ю.М. Лощиц, публицист А.И. Казинцев, воронежцы — поэт А.А. Голубев, прозаики Е.П. Белозерцев, П.Д. Чалый, ректор Харьковской академии непрерывного образования Л.Д. Покроева, профессор Харьковского национального университета А.Д. Михалев, председатель Белгородского отделения Союза писателей России, поэт В.Е. Молчанов и другие.

Участники конференций встретились со школьниками и студентами Харькова. Для делегации России особенно трогательной стала встреча с митрополитом Харьковским

и Богодуховским владыкой Никодимом. Сердечным наказом прозвучало его напутствие:

— Жизнь коротка и пробегает как мгновение. Я на Пасху буду праздновать 90-летие, а кажется, что только в двери храма вошел. Поэтому дорожите каждой минутой вашей жизни. Не теряйте на суету свое время. Каждую минуту посвящайте делу Божьему. Служите единению славянских народов — русских, украинцев, белорусов...

Уроки Переяславской Рады — бесценное наследие Украины и России. Благодаря прозорливому уму Богдана Хмельницкого, его личному мужеству, россияне и украинцы по-прежнему вместе. У нас одна праматерь Родина — Киевская Русь. И пусть свет куполов ее храмов, святость православия, оставленные в наследство нынешним поколениям восточных славян светлейшим князем Владимиром, помогают нам обрести свою уверенную дорогу в будущее.

Петр ДМИТРИЕВ
Харьков — Россось Воронежской области

ФЕСТИВАЛЬ «ВО СЛАВУ БОРИСА И ГЛЕБА»

2-й Всероссийский фестиваль русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба» пройдет традиционно, в день поминовения благоверных князей Бориса и Глеба, 6-7 августа 2011 года. Организаторы мероприятия — Союз писателей России, администрация Борисоглебского городского округа и «Фонд св. Бориса и Глеба». Одним из информационных спонсоров фестиваля является журнал «Подъём».

На фестивале пройдут конкурсы по нескольким номинациям, включая православную (религиозную) поэзию и авторскую песню.

В номинации «Поэзия» примут участие профессиональные и самодеятельные поэты от 18 лет и старше.

В номинации «Художественное чтение» прозвучат поэтические произведения или фрагменты, а также отрывки из поэтических спектаклей и композиций русских поэтов.

Участники номинации «Поэзия» представляют поэтические тексты объемом не более 150 строк на электронный адрес: poet@uborisagleba.ru, либо на электронном носителе (диск), либо в печатном виде почтовым отправлением с уведомлением.

Участники номинации «Художественное чтение» высылают видеокассеты и компактные диски работ почтовым отправлением с уведомлением.

Срок предоставления творческих работ — **до 30 июня 2011 года**.

Претенденты, прошедшие предварительный конкурсный отбор, получат официальное приглашение на участие в конкурсной программе фестиваля.

Контакты и информация в г. Борисоглебске:

397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Пролетарская, 54 «а», Оргкомитет Всероссийского фестиваля русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба».

Телефоны: 8 (47354) 5-64-05, 8-951-558-12-09 (секретариат), 8 (47354) 6-60-11 (факс).

E-mail: orgcom@uborisagleba.ru, poet@uborisagleba.ru. Сайт: www.uborisagleba.ru.



Учредитель: Управление культуры Воронежской области.

Рег. № 331 Министерства печати и информации Российской Федерации.

Рассылку журнала осуществляет цех экспедирования печати Воронежского главпочтамта: 394068, г. Воронеж, ул. Лизюкова, 2, ЦЭП.

Во всех случаях полиграфического брака в журнале обращаться в ГУП ВО «Воронежская областная типография — издательство им. Е.А. Болховитинова».

Редакция вступает в переписку только с авторами, материалы которых приняты к публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Авторы присылаемых материалов обязаны сообщить редакции: домашний адрес с почтовым индексом; день, месяц, год своего рождения; паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; банковские реквизиты (название местного банка) СБ РФ: корсчет, БИК, расчетный счет, ИНН; в назначении платежа указывается номер филиала и лицевой счет клиента.

Редакция убедительно просит авторов присылать электронную версию своих произведений с обязательной распечаткой текста. Рукописи без распечатки не принимаются. Параметры набора: 14-й кегль через 1,5 интервала, отчетливо читаемый.

Корректор Кобелева Л.В.
Художник Зибров Ю.А.
Компьютерная верстка Вовчаренко И.К.

Адрес редакции: 394036, г. Воронеж, пр. Революции, 3а.
Телефоны: директор-главный редактор — 253-14-50, ответственный секретарь, отдел поэзии — 253-11-28, отдел прозы — 253-14-09, производственный отдел — 253-11-34, бухгалтерия — 253-13-77.
Факс: 253-11-34.
Электронная почта: podiem1@box.vsi.ru, podiem@mail.ru
Сетевая версия журнала «Подъём»: <http://www.podiem.vsi.ru>
Электронный архив журнала с №1, 2001 г. по №6, 2008 г.: <http://www.pereplet.ru/podiem>

Сдано в набор 06.04.11. Подписано в печать 19.04.11. Формат 70x100 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,2.
Перспективный тираж 3000 экз. Заказ 768.

Отпечатано с готового оригинал-макета в ГУП ВО
«Воронежская областная типография —
издательство им. Е.А. Болховитинова»:
394071, Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73а.